

НОВЫЙ
Журнал

73

THE NEW
REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly (March, June, Sept., Dec.) 4 issue at New York, N. Y., for October 1, 1962.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112 St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was:

(This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1160.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 17th day of September, 1962, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Commission Expires March 30, 1963.

**THE
NEW REVIEW**
Новый Журнал



Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцать второй год издания

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, September 1963
Quarterly, No. 73
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price \$9. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Ив. Бунин</i> — «Сон Пресвятыя Богородицы»	5
<i>Вл. Злобин</i> — Стихи	7
<i>Г. Газданов</i> — Письма Иванова	8
<i>Юрий Иваск</i> — Афон	32
<i>Евг. Замятин</i> — Африканский гость, пьеса	38
<i>Яков Бергер</i> — Стихи	96
<i>Алла Кторова</i> — Лицо Жар-Птицы	99
<i>Игорь Северянин</i> — Стихи	121
<i>Роман Гуль</i> — Ценные книги	122
<i>Дм. Чижевский</i> — О поэзии футуризма	132
<i>Алексис Раннит</i> — Мария Ундер	170
<i>Мария Ундер</i> — Стихотворения, перевод Л. Алексеевой и И. Северянина	178
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Ив. Манухин</i> — Революция	184
<i>А. Белобородов</i> — В Академии Художеств	197
<i>И. Ильин</i> — Омск, Директория, Колчак	216
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Н. Валентинов</i> — О людях революционного подполья	244
<i>Ю. Гринфельд</i> — Произвол работодателей в СССР	259
<i>Т. Троянов</i> — Коллективный договор в СССР	278
<i>Н. С. Тимашев</i> — Новое в антирелигиозной политике	287
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>Питирим Сорокин</i> — N. Timasheff, The Sociology of Luigi Sturzo. <i>Д. Анин</i> — R. Abramovitch, The Soviet Revolution. <i>Вяч. Завалишин</i> — Е. Замятин. Повести и рассказы. <i>Б.</i> — Марковцы в боях и походах за Россию. <i>Ю. Иваск</i> — В. Дукельский — Послания	292

«СОН ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ»

Зимняя ночь, непроглядная тьма и вьюга в поле, жаркая изба постоянного двора при большой дороге, — на нарах спят мужики обозники, на мокрой гниющей на земляном полу соломе лежат две овцы, поросенок и телушка. Висячая над столом лампочка притушена, едва светит и воняет керосином, в избе стоит ровный храп, вокруг избы шумит и снегом бьется в окошко буря. Лежу на лавке под образами, закрывая глаза, стараюсь заснуть, и вдруг слышу звонкий шопот:

— А Сон Пресвятыя Богородицы ты знаешь?

В ответ детское бормотанье:

— Я спать хочу...

Это спрашивает мальчик, отвечает девочка, дети вдового хозяина постоянного двора, лежащие на печи, над нарами.

— Нет, ты не спи, ты погоди, послушай, — быстрым шепотом просит мальчик.

И спеша, восторженной скороговоркой, без передышки, начинает:

— В Вифлееме иудейском спала почивала Пресвятыя Мати Богородица приде к Ней Иисусе Христе и рече к Ней о Мати Моя возлюбленная и рече к Нему Пресвятыя Мати Богородица со слезами...

Дикая снежная Русь, бесконечная вьюжная ночь... Как попал сюда Вифлеем иудейский? Какой ангел занес в эту избу «Сон Пресвятыя Богородицы» и поразил им эту детскую душу?

Ив. Бунин

Этот рассказ И. А. Бунина прислан нам Л. Ф. Зуровым. РЕД.

На полях рукописи — около абзаца «В Вифлееме иудейском...» — И. А. Бунин написал: «Не надо ни одного знака препинания». Правил этот рассказ он во время болезни. *Л. Зуров.*

П Р О Г У Л К А

Надев пальто и палку взяв,
Гулять выходит кошкодав.
Часы на башне полночь бьют,
У стойки негры пиво пьют.
Но важен, как испанский граф.
Обходит площадь кошкодав.
Луна повисла над прудом.
На пустыре веселый дом.
Собаки лают: гав, гав, гав.
Их не боится кошкодав.
И не для них он приберег
С начинкой сладкий пирожок
Ему ль не знать собачий нрав!
Но любит кошек кошкодав.
А дальше... дальше, как всегда,
Он ждет на берегу пруда.
Потом, до вечера проспав,
Всю ночь гуляет кошкодав.

* * *

Пленительность смертельной красоты
И непорочность юного томленья,
Как страсти ядовитые цветы,
Волнуют вновь мое воображенье.

Еще поет свирель, еще луна
Преображает темные просторы,
Еще из гипнотического сна
Я в беспредельность устремляю взоры.

Но где-то, за великою рекой,
Где ветер свищет и поют сирены,
Уже нарушен царственный покой
Неуловимой радостью измены.

LES CLOCHARDS

У них — свой мир. Своя весна.
Своя любовь. Свое смирение.
Своя грошевая луна
И смерть своя и воскресенье.

Они идут своим путем
И мы понять их не могли бы.
А мы для них, как за стеклом,
В большом аквариуме рыбы.

Но иногда, в столетье раз,
Найдя вневременную точку,
Пронизывает рыбий глаз
Их каменную оболочку.

* * *

Зевают львы, гуляют дачники,
От пирамид ложится тень.
В арифметическом задачнике
Журчит вода, цветет сирень.

Неравномерно наполняются
Бассейны лунною рудой.
Павлин в дельфина превращается,
Паук становится звездой.

А босяки и математики
Сидят в тюрьме и видят сон,
Что оловянные солдатики
Цветочный пьют одеколон.

Вл. Злобин

ПИСЬМА ИВАНОВА

Всякий раз, когда я встречал Николая Францевича, что случалось каждые две-три недели, у меня всегда было впечатление, что это человек и по своему типу и по своей манере говорить и по тому, как он одевался, и по всему его поведению, был живым анахронизмом, в самом, впрочем положительном смысле этого слова. Казалось что он, родившийся и выросший в эпоху Российской империи, остался таким, каким он был в те времена и тот факт, что императорская Россия давно ушла в далекое прошлое, никак не отразился на нем. По убеждениям, впрочем, он не был консерватором, избегал говорить о политике, читал современных авторов, посещал выставки современной живописи, слушал музыку современных композиторов и его взгляды на все это отличались несколько подчеркнутым академизмом. — Конечно, не может быть ничего более примитивного, на первый взгляд, чем некоторые произведения так называемой абстрактной живописи, но сами по себе поиски новой формы в искусстве — вещь совершенно естественная. Это же относится к современной музыке, которая нередко нам режет слух. Может быть, мы присутствуем при каком-то перерождении вкуса, изменении темпа, каком-то, если хотите, биологическом потрясении, проявления которого иногда принимают форму, которая нам кажется спорной, что бы не сказать неприемлемой. Но смена стилей в исторической перспективе есть явление, в конце концов, не только неизбежное, но и законное.

Николай Францевич возникал в моей памяти, как персонаж из какой-то ненаписанной книги, как образ, явно соз-

данный чьим-то воображением, кем-то подробно обрисованный, но в который неизвестному автору не удалось вдохнуть подлинную жизнь, отчего этот герой казался несколько искусственным, условным и незаконченным в том смысле, что ему нехватало той бытовой убедительности, которая была у любой прачки и любого бухгалтера. Я не могу сказать, чем объяснялось это впечатление, от которого мне было трудно отделаться, тем более, что в Николае Францевиче не было ничего неправдоподобного. Мне всегда казалось, что он чего-то не договаривает или что-то скрывает, хотя скрывать ему как будто было нечего. Ни о ком так часто не говорили слова «кажется», как о нем. — Он кажется, из какой-то очень северной губернии. — Он кажется, жил одно время на Ближнем востоке. — Он кажется был женат. — Он кажется в свое время был состоятельным человеком. — Он кажется пишет какие-то статьи по экономическим вопросам. — Он кажется, кончил университет за границей.

Николай Францевич иногда приглашал к себе друзей, — трех-четыре человек и угощал их очень хорошим обедом. У него была довольно просторная квартира в одном из тихих районов Парижа, на правом берегу Сены. На стенах висели картины, чаще всего изображавшие парусные суда на море и пляжи с пальмами, а центральное место занимала прекрасно сделанная копия горящего фрегата Тарнера. В одном из углов главной комнаты, возвышалась витая колонна темного дерева; на ней под стеклянным колоколом стояли часы, у которых вместо маятника вращалось взад и вперед нечто вроде медного, сверкающего флюгера. В кабинете Николая Францевича были шкафы с книгами разного содержания. Один из них был отведен путешествиям — Марко Поло, Ливингстон, Стэнли, Пржевальский и сочинения каких-то мало известных авторов, которые в средние века забирались в дебри далеких стран, и книги по зоологии, биологии, истории культуры. В другом шкафу были французские авторы, — Сен Симон, Босюэ, Ларошфуко, Монтэнь, Паскаль, Декарт. Были в его квартире бронзовые статуэтки, в их числе непонятно почему попав-

ший туда какой-то низколобый человек с генеральскими эполетами.

К столу у Николая Францевича подавала молчаливая женщина средних лет, с полными губами и темными глазами на очень бледном лице с особенным выражением неподвижной печали. Она всегда ходила в черном платье и вид у нее был такой, точно она только что вернулась с похорон. Когда я однажды спросил Николая Францевича о ней, он ответил, что она итальянка, что итальянки очень любят черный цвет, и что она ходит в черном потому, что недавно в Сицилии умер один из ее двоюродных братьев, которого она знала ребенком и которого не видела двадцать лет. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила громко; она отвечала почти беззвучно шевеля своими полными, красными губами, создававшими впечатление контраста с этим черным платьем, печальным, бледным лицом и всем ее траурным видом.

Точно так же, как Николай Францевич не менял ни своих привычек, ни своей манеры одеваться, точно также казалось — опять-таки именно казалось — что годы проходили для него бесследно. Он был все таким же: густые, седые волосы, глубокие морщины на лбу, выцветшие глаза. Я не мог себе его представить молодым. — Это понятно, — сказал мне один из наших общих друзей, — он никогда и не был молод. Просто в один прекрасный день, где-то в довоенном Петербурге, хорошо одетый человек средних лет снял квартиру и поселился в ней и это, собственно, и было появлением на свет Николая Францевича, которого какая-то небесная сила сбросила на нашу землю в совершенно готовом виде, как парашютиста в полном боевом снаряжении.

Во всяком случае я знал Николая Францевича много лет, и в то время как окружающие его люди старели, лысели, болели и умирали, он оставался таким же, каким был тогда, когда я его встретил первый раз. Правда, у него не было никаких разрушительных страстей, которые могли бы способствовать его преждевременному увяданию, — он не

пил, не проводил бессонных ночей за карточным столом, не знал, казалось, опустошающих сердечных увлечений, а просто хорошо жил, вкусно ел, вставал утром, принимал ванну, гулял по Булонскому лесу, беседовал с друзьями, лето проводил в Швейцарии или на Ривьере, а в октябре месяце, когда в Париже начинали идти осенние дожди, он опять возвращался в свою квартиру и снова безмолвная и бесшумная женщина в траурном платье заботилась о нем, чтобы у него было всё, вплоть быть-может, до тех утешений эмоционального характера, склонность к которым у нее выдавали ее выразительные губы и темные глаза, таившие в себе возможность какого-то другого выражения, которого, впрочем, никто из нас, никогда у нее не видал.

Николай Францевич был прекрасным собеседником, одним из лучших, каких мне приходилось встречать. Я не помню, чтобы он с кем-нибудь спорил, и когда я ему об этом как-то заметил, он сказал:

— Видите ли, мой друг, я полагаю, что спорить, это занятие бесполезное. Я разговариваю, скажем, с таким-то человеком. Что меня интересует? То, что он думает и то, как он думает. Моя задача, задача всякого собеседника, помочь ему выразить свои мысли и ознакомиться с ними. Я бы даже сказал, что чем меньше они совпадают с моими собственными взглядами, тем это для меня интереснее. Намерение, которое мне совершенно чуждо, это попытаться убедить моего собеседника в необходимости думать так, как думаю я. И если вы доведете это до логического завершения, то вы увидите, что достижение такой цели привело бы к тому, что этот человек стал бы повторять ваши слова, и беседа потеряла бы всякий интерес. Потому что интерес начинается там, где начинается разница между людьми и их взглядами.

Николай Францевич не был иногда лишен, несмотря на то, что он никого ни в чем не хотел убеждать, — не был лишен некоторых дидактических побуждений. Читал он очень много, книги самого разного содержания, вплоть до модных романов. О литературе он говорил очень охотно.

— Человеческая жизнь бедна, огромное большинство людей не умеет видеть то, что происходит вокруг них, и так называемый жизненный опыт состоит чаще всего из нескольких десятков несложных выводов. Но очень многим людям, то-есть, так называемым читателям, свойственно постоянное желание чего-то, чего они в своей жизни не находят, какого-то другого понимания, каких-то других возможностей. У них нет воображения для того, чтобы представить себе это без посторонней помощи. Вот, собственно говоря, главная raison d'être литературы и искусства, но особенно литературы. А потом, знаете, у некоторых народов есть профессиональные плакальщицы. Их роль заключается в том, чтобы заменять людей, которые не умеют соответствующим образом выражать свои чувства, в данном случае горе — оттого, что умер близкий им человек. И вот плакальщицы, которые покойного в глаза не видали и не имеют о нем представления, за соответствующее вознаграждение рыдают над ним так, как этого не могут делать ни сыновья, ни жены. И есть целая категория писателей, которая выполняет, примерно, такие же функции по отношению к читателям. Таким, например, в русской литературе был Некрасов. Это, конечно, только часть литературы, но часть довольно важная.

Насколько я помню, Николай Францевич не состоял ни в одном профессиональном объединении, но очень часто бывал на обедах, которые устраивались по случаю празднования стольких-то лет такой-то деятельности такого-то человека. Речей он не произносил, но внимательно слушал все, что говорилось, даже записывал что-то в блок-нот и вообще проявлял всегда необыкновенную любознательность. Его интересовало, почему Иван Петрович стал присяжным поверенным, а Петр Иванович доктором, что определило их призвание и когда это произошло. Он так же внимательно читал газеты, делал из них вырезки — такой-то необыкновенный случай, история такого-то преступления, мемуары знаменитых людей. В личном общении Николай Францевич был чрезвычайно любезен, говорил всем приятные вещи, обо всех отзывался с неизменной

благожелательностью и со стороны получалось впечатление, что он живет в идиллическом мире, состоящем из хороших и приятных людей, его многочисленных знакомых.

Он не любил одного, — чтобы к нему приходили без предупреждения. Те кто этого не знал и кто хотел навестить его, не сговорившись с ним заранее, никогда не заставали его дома, хотя нередко случалось, что в тот день, когда его не было, и в тот час, когда к нему кто-то пришел и на звонок никто не отвечал, — что Николай Францевич именно в это время разговаривал с кем-то по телефону и должен был быть дома. Одно время распространился слух о том, что Николай Францевич не такой, каким он кажется, кто то даже говорил, что он имеет отношение к «интелидженс сервис». Но это было настолько неправдоподобно, что даже те, кто это повторял, в это сами не верили. К тому же были люди, которые знали Николая Францевича еще по России, хотя все они были значительно старше его и приближались к тому возрасту, когда недостоверность их воспоминаний была столь же понятна, сколь простительна. Один из таких людей, бывший сенатор Трифонов, благообразнейший седобородый старик, с лицом, перерезанным глубокими морщинами самых разных линий, — вертикальными, горизонтальными, полукруглыми — рассказывал о том, что у Николая Францевича был в молодости роман с какой-то знаменитой артисткой, которая бросила из-за него сцену, и покончила жизнь самоубийством. Но бывший сенатор Трифонов рассказал эту историю только один раз и когда его однажды попросили повторить ее, он уже не мог сделать того усилия памяти, которое было для этого необходимо. Вскоре после этого он умер, заснув и не проснувшись, в зимнюю ночь, в Париже, в тридцатых годах этого столетия, лишив нас всех возможности когда либо узнать, существовала ли где-нибудь, кроме его слабеющей памяти или слабеющего воображения, эта неизвестная и знаменитая артистка, покончившая жизнь самоубийством из-за Николая Францевича.

А Николай Францевич продолжал жить все в той же

квартире, на тихой улице, где было так мало движения, что сквозь мостовую в некоторых местах проростала зеленая трава. Под карнизы домов этой улицы постоянно садились и оттуда постоянно вылетали голуби, всегда стояла тишина и только иногда из какой-нибудь квартиры вдруг раздавался звук рояля. Но в девять часов вечера все замирало и шаги редких прохожих были слышны с необыкновенной отчетливостью. Именно эта улица, казалось, особенно подходила для Николая Францевича; там можно было прожить много лет, не зная ни о Елисейских Полях, ни о Больших Бульварах, ни о Монмартре, — так, как люди живут в Тамбове, Вологде или Авиньоне, читая на ночь Плутарха или Боссюэ, думая о тщете всего существующего, в состоянии неподвижной созерцательности, удела немногих, счастливых по-своему людей.

Казалось несомненным, что Николай Францевич принадлежал к их числу, и что все его предрасполагало именно к этому. Но то, чего никогда никто не знал, это был вопрос о том, на какие доходы существовал Николай Францевич. Он нигде не служил и нигде не работал. У него не было никакого состояния и когда он появился в Париже, много лет тому назад, то по свидетельству тех, кто его хорошо знал тогда, у него не было денег и он первое время жестоко нуждался, перенося лишения с тем достоинством, которое его никогда не покидало. Он не мог, с другой стороны, составить себе состояние в Париже, так как не занимался никакими делами. Никакого наследства он тоже не получал, — впрочем, у него, как-будто, не было даже родственников за границей. В том, что он не занимался нелегальной деятельностью и в том, что ему никогда не угрожало судебное преследование, сомнений быть не могло.

Я встретил его как-то, однажды, поздним вечером, на ужине, который устраивал союз иностранных журналистов в Париже, куда я попал случайно, соблазнившись уговорами одного из моих знакомых, сотрудника австрийских и швейцарских газет, который проводил большую часть своего вре-

мени в многочисленных барах и ресторанах, так что было непонятно, когда он мог заниматься своей работой. Ужин был очень неплохой, но к сожалению с многочисленными речами, которые произносились на разных языках и содержание которых было всегда приблизительно одинаковым: — «мы живем в грозное время и та ответственность, которую мы несем перед нашими читателями, требует от нас»... «общественное мнение не может оставаться равнодушным»... «в то время, как угроза диктатуры нависла над Европой»... «мы не можем допустить чтобы»...

Перед этим было выпито много вина, за вином следовал коньяк, и мой знакомый, с которым я пришел, успел за очень короткое время выпить такое же количество вина и коньяку, которое его коллеги выпили за весь вечер, пришел в необыкновенное возбуждение, аплодировал ораторам и в отуманенном его воображении возникла целая система каких-то фантастических представлений, неверных и расплывчатых, как быстро потерявшие свою определенность контуры его коллег, как качающийся ряд их черных смокингов над белой скатертью стола, покрытой бледно-красными пятнами расплескавшегося вина. И над этим волнистым и движущимся видением с необыкновенной и пьяной убедительностью звучали слова об ответственности и о невозможности допустить, — хотя в действительности, не было ни этой ответственности, ни возможности или невозможности что бы то ни было допустить или не допустить; но на некоторое время не только моему знакомому, но и его коллегам стало казаться, что судьба мира зависит от того, что они напишут или чего они не напишут в своих статьях. Было ясно, что эта странная аберрация была вызвана несколькими причинами, которым трудно было бы найти точное объяснение: тем или иным возрастом вина или коньяка определявшим неуловимые изменения в его действии, той или иной степенью временной атрофии аналитических способностей; но тому, кто оставался трезв, все это казалось явным отказом от элементарной и очевидной логики. К счастью, трезвых

людей там было мало и все, что они могли бы сказать, показалось бы неубедительным для тех, кто говорил о долге и ответственности.

Я ушел с этого ужина одновременно с Николаем Францевичем, который как всегда, пил со вкусом, но немного. Была зимняя ночь с особенным парижским холодным туманом, в котором призрачно возникали мутные световые пятна фонарей.

Он сказал, что любит иногда гулять по пустынному ночному городу. Я ответил, что разделяю это пристрастие и мы пошли пешком по направлению к Сене. В зимнем тумане, который то сгушался местами, то редел, перед нами возникали и скрывались несравненные перспективы парижских улиц. В этом неверном освещении, в этом смещении тумана и мутного сияния фонарей, Николай Францевич, в его черном пальто, белом шелковом шарфе, с котелком на голове, казался мне в ту ночь еще менее убедительным, чем обычно. Он был среднего роста, довольно плотным человеком и был, на первый взгляд, таким же, как тысячи и тысячи его современников. И все-таки я никогда не мог избавиться от впечатления, что в нем было что-то недовоплощенное и почти призрачное. Я спросил, как его здоровье, хотя за много лет знакомства с ним я что-то не помнил, чтобы он когда-либо был болен. Он ответил, что в его возрасте всегда бывают некоторые недомогания, но пока они не принимают катастрофического характера... Как всех здоровых людей, его эта тема явно не интересовала. Затем он сказал, что вообще то, как человек живет или что он делает, это ему самому чаще всего неинтересно.

— Извольте ли видеть, — сказал он, — я убежден, что каждому или почти каждому человеку интересно не то, как он живет, а то, как он хотел бы или должен был бы жить. Многие люди, как вы знаете, видят себя не такими, какими их видят другие. Огромное большинство знает, или предполагает, что знает, несколько истин. Во-первых, что они не такие, как все это думают, во-вторых, что они живут не

так, как должны были бы жить, в силу целого ряда случайностей, потому что неблагоприятные обстоятельства заставляют их вести именно такое существование. В-третьих, что они заслуживают лучшей участи, чем та, которая выпала на их долю. И наконец еще одно, быть-может самое важное: множеству людей тесно в тех условиях, которые определяют их существование. Их душа, их разум требуют чего-то другого, так, точно каждому из них нужно было бы прожить несколько жизней, а не одну.

— А не кажется ли вам, Николай Францевич, — сказал я — что если это действительно так, то это какая-то явная аберрация, как та, при которой мы с вами только что присутствовали? В данном случае речь шла, как вы помните, об ответственности, которая будто бы лежит на тех людях, которые сегодня произносили патетические тирады об этом и о которой у них представление если не совершенно фантастическое, то очень преувеличенное, мягко говоря?

— Всякое представление, выходящее за какие-то очень узкие бытовые пределы, может быть аберрацией. Даже такие понятия примитивного порядка — с точки зрения человека, настроенного философски, — как прогресс или демократия — разве это не аберрация? Однако из-за них погибли миллионы людей. Это в конце концов неважно — аберрация это или нет. Это ощущение, чувство, потребность. И если бы этого не было, если бы у людей не было потребности изменить свою жизнь, то не было бы того, что мы называем историей культуры.

В эту зимнюю ночь улицы Парижа были пустыни. Из тумана, который расстилался перед нами, появились и исчезли фигуры двух полицейских, совершавших свой обход и Николай Францевич сказал, что это почему-то напомнило ему «ночную стражу», хотя как будто бы ничего общего со знаменитой картиной Рембрандта в появлении этих полицейских не было. Затем из того же тумана выплыла фигура нищего бродяги, кутавшегося в порванное пальто и волочившего с шаркающим звуком ноги, в стоптанных башмаках, в ко-

торых не было шнурков. Когда это шарканье, похожее на короткие и сухие всхлипыванья, удалилось, Николай Францевич сказал:

— Вот вам еще одна жертва аберрации: это человек, который мог бы оставаться батраком где-нибудь в Оверни или Нормандии, каменщиком, мусорщиком, рабочим, или шахтером и которому тоже была тесна его жизнь.

Затем Николай Францевич сказал, что иногда, — очень редко, впрочем, вот в такие зимние ночи, как теперь, — Париж вдруг начинал ему напоминать Петербург.

— Заметьте, что эти города совершенно непохожи. Но это несущественно. Вот вы испытываете какое-то ощущение, которое трудно определить и оно вызывает произвольное впечатление сходства, которого в действительности нет. И в эту минуту вы отдаете себе отчет в том, что время, годы, расстояние, — всё это понятия чрезвычайно условные и изменчивые. Время идет само собой, мы живем сами собой, до тех пор пока какая-то механическая сила не восстановит календарной истины. А в общем времени нет. Есть воспоминания, есть воображение, есть погружение в прошлое, боязнь будущего, но мы называем все это так, — прошлое, будущее, настоящее, — я думаю только потому, что не даем себе труда задуматься над этим и понять, что все это только ощущения.

Мы шли по набережной Сены. В ночном тумане река была не видна и мне все больше и больше начинало казаться, что рядом со мной идет призрачный человек, которого, может быть никогда не существовало и никогда, явственнее, чем в эту ночь, Николай Францевич не казался мне таким далеким от этой действительности, в которой мы с ним жили и вне которой я его не знал.

На пустынных Елисейских полях мы с ним расстались, он сел в такси и уехал домой. Я представил себе, как он вернулся в свою квартиру, зажег свет в комнате, где безмолвно и постоянно пылал догорающий фрегат Тарнера, по-

том лег в кровать и погрузился в то небытие, из которого он вновь появлялся на следующее утро.

Через некоторое время, когда я в числе других, был приглашен опять на ужин к Николаю Францевичу он предстал перед нами таким, каким мы всегда его знали, — неизменно любезным, исключительно тактичным и прекрасным хозяином. Служанка со своим траурным видом и полными красными губами на бледном лице, подавала устрицы, Николай Францевич разливал белое вино, время текло незаметно, за тугими занавесками окон был зимний холодный вечер. А за столом опять возник Петербург, о котором Николай Францевич говорил много и охотно: музыкальная драма, имена знаменитых артистов и артисток, стихи Блока, концерты Гофмана, Нева, неизбежные цитаты из «Медного Всадника». Во всем этом была успокоительная призрачность, торжество воспоминаний и воображения — и мне казалось в тот вечер, что Николай Францевич с такой же легкостью мог перенестись в другую страну и другую эпоху. Мы впервые оценили в нем необыкновенного рассказчика — до сих пор он нам казался только собеседником. Когда мы расстались с ним, была уже поздняя ночь.

Через несколько дней после этого один из моих друзей, с которым мы ужинали у Николая Францевича, сказал мне:

— Я сохранил приятнейшее воспоминание об этом вечере. Но вам не показалось, что в нем было что-то странное?

— Странное, нет. Но я не знал, что наш друг такой прекрасный рассказчик.

— Вам не показалось, что в этих рассказах, несмотря на бесспорное их мастерство, было что-то фальшивое, что-то недостоверное?

— Нет, я думаю, что всё, о чем он рассказывал, происходило именно так, как он говорил.

— Я в этом не сомневаюсь. Но вы знаете, какое у меня было впечатление? Что Николай Францевич никогда не жил в Петербурге, никогда не видел этого города, но прекрасно

изучил его историю, его быт, все имена, все события, — всё, и точно читал нам отрывки из книги, которую он об этом написал.

— Написал хорошо, во всяком случае.

— Несомненно. Кроме того, он в конце концов действительно петербуржец и все-таки покойный сенатор Трифонов его знал именно по Петербургу. Но что вы хотите, не верю я этому человеку.

И он пустился в длинные и сумбурные объяснения, явно неубедительные, но в которых парадоксальным образом было что-то, против чего было трудно спорить. И под конец разговора мне стало казаться, что действительно, в один прекрасный день мы опять придем к Николаю Францевичу, но его не окажется дома и потом выяснится, что в этом здании, где он жил много лет, никогда не было ни его квартиры, ни его самого и что это все — пылающий фрегат в его гостиной, его служанка, тяжелая мебель, его ужины и рассказы, — все это только возникло в моем воображении, в зимнюю ночь, в Париже, смешавшись с туманом и вкусом устриц и вина.

Всё это происходило до войны, в те времена, которые потом стали казаться нам идиллическими, и которые погрузились в такую глубину прошлого, как эпоха последних лет Российской Империи. Но и после войны все шло как всегда: та же квартира, тот же фрегат, та же безмолвная служанка, на которой тоже, казалось, никогда не отразилось время. Казалось, что никакой ход истории не мог ничего изменить в облике Николая Францевича, неубедительном и несокрушимом. Несмотря на преклонный возраст, он сохранил исключительное здоровье и прекрасный аппетит и никогда, казалось, не болел. Но за много лет моего знакомства с Николаем Францевичем я ни разу не видел, чтобы он смеялся. Жизнь его шла как будто без каких бы то ни было затруднений, трагедий в ней, казалось бы, не было и не могло быть. Но иногда

он вдруг начинал казаться мне похожим на человека, которому что-то тягостное мешало жить с той безмятежной легкостью, которая должна была бы быть его уделом — так, точно в его безоблачном существовании что-то было не так, как нужно, было какое-то сознание вины, какое-то постоянное сожаление. Вероятнее всего, — думал я — в действительности не было ни этой вины, ни этого сожаления, представлений столь же произвольных, как представление о мнимой невещественности его положительной жизни.

Затем наступило время, когда мне приходилось надолго уезжать из Парижа, и я гораздо реже видел Николая Францевича. Так прошло еще несколько лет, в течение которых его образ жизни не изменился, как мне об этом писали мои друзья. Но однажды днем мне позвонили по телефону и сообщили, что Николай Францевич умер.

Накануне этого дня мои друзья ужинали у него и по их словам, никто из них не мог бы и подумать, что они видят его в последний раз. Все было так же, как всегда, он так же прекрасно принимал своих гостей, ел с таким же аппетитом, был так же любезен и мил, и, казалось совершенно здоров. На следующий день он встал в десятом часу утра, служанка наполнила ему ванну, он погрузился в воду, затем она услышала звук, похожий на короткое всхлипыванье, — вошла в ванную и нашла его мертвым. Потом было отпевание, церковь, панихида и Николая Францевича похоронили на одном из парижских кладбищ и через некоторое время на его могиле уже лежала мраморная плита с надписью — «здесь покойся» . . .

Так кончилась долгая жизнь Николай Францевича, почтенного и уважаемого человека, жившего в хорошей квартире, путешествовавшего за границу, читавшего Декарта и Боссюэ, прекрасного собеседника и хозяина, не знавшего в течение долгих лет ни забот, ни нужды, оставившего по за-

вещанию своей верной служанке хорошую квартиру, прекрасную мебель, и как это выяснилось несколько позже, некоторую сумму денег. Думая о смерти Николая Францевича, я вспомнил речь, которую на его похоронах произнес один из наших общих друзей.

«— Господа, мы хороним нашего многолетнего друга, — он был одним из редких людей, о которых никто не мог сказать ничего отрицательного и которого никто ни в чем не мог упрекнуть. Он был живым воплощением всего, что мы считаем положительными началами в нашей жизни. У каждого человека в прошлом есть поступки, о которых он потом жалеет, есть случаи, когда он действовал не так, как следовало, — такова, в конце концов человеческая природа. Николай Францевич был счастливым исключением из этого правила: никогда ни одного отрицательного поступка, никогда никакой недоброжелательности по отношению к кому бы то ни было».

Наш общий друг, произносивший эту речь, в свое время кончил московский университет по юридическому факультету. Жизнь его за границей, однако, сложилась так, что ему никогда не пришлось заниматься адвокатской практикой, его деятельность проходила главным образом на бирже, хотя призвание его было несомненно другим и, как он нам признавался, в своем воображении он нередко видел себя в суде, выигрывавшим сложные дела, добивающимся оправдания обвиняемых и произносящим речи, построенные с безупречной и неопровержимой логикой. Он был полон этих произнесенных речей — и вот теперь на похоронах Николая Францевича он говорил так, точно защищал память покойного от каких то воображаемых обвинений.

«Николай Францевич не был ни общественным деятелем, ни артистом в какой бы то ни было области, ни автором каких бы то ни было книг или теорий. Но круг его интересов был чрезвычайно широк. Его можно было встретить во всех музеях Европы. Его можно было застать за чтением

современных авторов или блаженного Августина и ни одно явление культуры не проходило мимо его пристального и одновременно благожелательного внимания. И в этом огромном количестве разных вещей Николай Францевич всегда находил свой собственный путь, свою собственную систему взглядов на жизнь и на то, как следует жить, — систему, которую я определил бы, как торжество положительной морали.

Было в нем еще нечто, отличавшее его от всех нас. Он стоял выше личных счетов, мелких практических интересов, которые нередко отравляют нашу жизнь. Он стоял как бы в стороне от бытовых недоразумений, от того, что мы, вульгарно выражаясь, называем будничной прозой существования. Он был лишен честолюбия, он никогда не стремился ни занять чье-то место, ни навязать кому-то свои взгляды, и я не представляю себе, чтобы Николай Францевич мог быть кому-либо чем-то обязан. Беседа с ним всегда была интересной и плодотворной — он принадлежал к числу тех, которые ничего не берут у других, но которые охотно делятся со всеми своим исключительным богатством мыслей и соображений. Его личная судьба сложилась так, что в жизни его не было, насколько мы знаем, ни трагедий, ни испытаний. Но те кому они выпали на долю, могли всегда рассчитывать на его понимание и сочувствие. Он был человеком редкой независимости и чувство собственного достоинства не покидало его ни при каких обстоятельствах. И если бы он попал в трудные условия, — чего, к счастью, в его жизни не случилось, — это чувство независимости и собственного достоинства не покинуло бы его — и он остался бы таким, каким он останется в нашей памяти — благожелательным, культурным, умным, прямым и честным человеком, — соединение качеств достаточно редкое, и которое особенно следует подчеркнуть, говоря о покойном. Он был христианином — и если представить себе, что и для него наступит день страшного суда, то он предстанет перед этим судом с чистой душой и чистым сердцем и судьи увидят, что он прожил свою жизнь, не совершив ни одного

отрицательного поступка, никого не обманув, никого не обидев и стараясь понять тех, кто имел счастье, как мы все, быть его другом и благодарным его современником.»

Через несколько дней после похорон Николая Францевича, вечером, когда я сидел у себя дома, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку, и услышал неясный женский голос, который очень быстро что-то говорил по-французски, но с таким волнением и таким акцентом, что я сначала никак не мог понять в чем дело и решил, что моя собеседница ошиблась номером. Потом я все-таки понял: звонила экономка Николая Францевича, которая сказала, что она очень хотела бы меня повидать. Я назначил ей свидание на следующее утро.

Она пришла — в своем черном траурном платье, такая же бледная, как всегда, и уставив на меня свои неподвижные глаза, объяснила, что она не знает как быть, и что именно следует предпринять, чтобы получить имущество, которое Николай Францевич оставил ей в наследство. Она показала мне его завещание, засвидетельствованное у нотариуса. В завещании было кратко сказано, что, все, что принадлежало Николаю Францевичу, он оставляет ей. Я объяснил итальянке, что по-моему, никаких трудностей у нее не будет и что ей надо обратиться к этому же нотариусу. Она поблагодарила меня и потом сказала:

— У него осталось много бумаг на иностранном языке, я не понимаю, что там написано и не знаю, что с ними делать. Может быть вы посмотрите, что это за бумаги?

— Хорошо, сказал я. — Если они носят личный характер, то я читать их не буду и проще всего будет их уничтожить.

После этого мы отправились на квартиру Николая Францевича, — на ту тихую улицу, где он прожил столько лет. Так же, как и раньше, бурно зеленели деревья, наверху бы-

ло такое же синее небо, но мне показалось, что в этом успокоительном пейзаже — два ряда высоких домов, деревья, небо, — в этом воздухе теперь шли медленные волны далекой и созерцательной печали, которой не было ни на этой улице, ни в этом воздухе, до тех пор, пока Николай Францевич был жив. Мы подымались на второй этаж, итальянка шла передо мной и я невольно заметил ту упругую легкость, с которой ее ноги преодолевали ленивые, не крутые ступени мраморной лестницы. Сколько ей могло быть лет, этой женщине? Сорок? сорок пять?

Ящики огромного письменного стола Николая Францевича были наполнены папками с письмами, которых оказалось очень много. Все письма были написаны по-английски и все они были адресованы некоему Иванову, жившему на улице Муфтар, — далеко от того района, где находилась квартира Николая Францевича. К каждому из этих писем была приложена копия письма самого Иванова. Его письма были адресованы разным благотворительным обществам и некоторым частным лицам, всегда в далеких странах, преимущественно в Америке, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. Я взял одно из них — на многих страницах. В этом письме, отправленном по частному адресу в Калифорнию, Иванов писал:

«До самого последнего времени я считал свое положение безнадежным и поэтому принял решение больше не беспокоить вас никакими просьбами. Я давно примирился со своей участью и с жестокостью судьбы, которая сделала так, что моя жена, которая могла бы мне помочь, лишена этой возможности, так как она после менингита, который едва не стоил ей жизни, почти совершенно ослепла. Я представляю себе ту холодную тьму, в которую она теперь погружена, в этой нашей бедной квартире, где стоит давно потухшая печь, — потому что у нас нет денег на уголь. Мне иногда кажется, что я мог бы перевернуть мир, если бы мне вернули мои силы. Но я продолжаю быть парализованным — и до самого последнего времени мне казалось, что я в сущности давно лежу в могиле, — с той разницей между моим трупом и тру-

лами тех, кого хоронят на кладбище, что у меня открыты глаза и что судьба отняла у меня все, кроме способности страдать и видеть страдания этой бедной слепой женщины, — которую я помню молодой, смеющейся, полной сил и надежд на лучшее будущее. Мне кажется в такие минуты, что настоящая смерть в тысячу раз лучше, в тысячу раз легче, в тысячу раз достойнее, чем то судорожное подобие существования которое я веду теперь.

Простите меня за то, что я пишу вам обо всем этом. Но вы столько для меня сделали, я стольким вам обязан, что отделенный от вас огромным расстоянием, я считаю вас моим далеким другом — и я пишу вам, как другу. Но знаете ли вы, что это первое письмо, которое я пишу сам? До сих пор я диктовал свои письма, так как рука мне не повиновалась. И вот, несколько дней тому назад, я вдруг заметил, что я могу двигать правой рукой. Это было ощущение такой необыкновенной силы, это показалось мне таким чудом, что когда я коснулся этой воскреснувшей рукой своего лица, оно было мокро от счастливых слез, которых я не чувствовал. Доктор мне сказал, что может быть, это только начало, что в дальнейшем я буду двигать и левой рукой — и кто знает, может быть, через некоторое время я вновь стану таким, каким был много лет тому назад, до того, как меня разбил паралич. То есть значит, я опять буду в состоянии работать — и когда я думаю об этом, мне становится трудно дышать от волнения».

Дальше шло подробное описание жизни Иванова, в которое он время от времени вставлял соображения другого порядка.

«Я иногда готов смеяться над самим собой, потому что мне всегда была свойственна наивная и идиллическая мечта, утопическое видение такого мира, в котором не было бы ни бедности, ни страданий, ни зависти, мира, который был бы построен на огромной и сложной системе гармонического и счастливого равновесия. Но я отвлекся от того, что хотел вам сказать. Если жизнь есть движение, то до самого последнего времени, я был вправе считать себя мертвым».

Это длинное письмо было написано с бесконечными отступлениями и представляло собой многословную просьбу о помощи деньгами. К копии этого письма была приколота бумага: «ответ на 29/11. Калифорния, 16/12, чек № 437».

Другое письмо было адресовано в Мельбурн. В нем Иванов писал, что он вернулся из санатории и что он снова у себя дома: узкая железная кровать, холодная сырость маленькой комнаты, тот же низкий потолок, свод которого иногда напоминает ему изгиб могильного склепа.

Дальше было сказано: «Я вынужден много времени проводить лежа на постели, так как у меня нет сил ни на что другое. Я думаю о разных вещах в эти долгие часы. И первая моя мысль, это обращение к Богу и благодарность за то, что я один и что та медленная смерть, в атмосфере которой я живу все эти долгие годы, никому не причинит никакого вреда. В конце концов, что произойдет от того, что мир не услышит тех симфоний, которые возникают в моем воображении и звуки которых сопровождают меня повсюду? После моей смерти скажут, что вот, умер человек, который считал себя композитором и который не написал ничего. И кто, в конце концов, будет знать, что весь этот звуковой океан, который окружает меня, возник именно тогда, когда неумолимая болезнь лишила меня возможности записать эти симфонии и удержать это стремительное движение звуков, вне которого я не представляю себе жизни?»

На этот раз Иванов был композитором, медленно умиравшим от чахотки, и которому врачи сказали, что усиленное питание и поездка в Приморские Альпы, могут его спасти. Но на это нужны средства. Композитор задавал себе вопрос: имеет ли он моральное право обращаться к кому бы то ни было с просьбой о помощи? Ему казалось, что он может написать такие вещи, которые никто до него не писал. Но может быть это была просто иллюзия, может быть у него не было никакого музыкального дарования? Затем шли рассуждения о природе творчества. «Может быть симфонии Бетховена существовали до того, как он появился на свет. И та осо-

бенность, которую мы называем гением, — и которую мы не можем назвать иначе, — заключается в том, что он был единственным человеком в мире, который слышал эти звуки, то-есть ту музыку, которой кроме него не слышал никто. И вопрос, который при этом возникает, таков: создал ли он эти бессмертные симфонии, создал ли он этот неповторимый звуковой мир — или он только слышал и записал для всех то, что всегда было? И если это так, то может быть, и я услышу те звуки, которых в силу миллиардов и миллиардов случайностей, не знает никто, кроме меня?»

Я просидел над архивом Иванова несколько часов. Меня не могло не удивить разнообразие тех бытовых подробностей, которые он приводил в своих письмах. В некоторых случаях он был одиноким человеком. В других случаях речь шла о тяжелой болезни его жены. Но независимо от того, упоминалось ли о семье или нет, он сам всегда был тяжело болен.

«Я знаю, что я постепенно слепну и ничто этого остановить не может. И когда мои глаза перестанут видеть, я унесу с собой это зрительное воспоминание о мире, который теперь постепенно тускнеет и скрывается от моего напряженного взгляда. Я больше не буду видеть, но я не забуду никогда этих контуров, которые я видел столько лет, этого движения линий, этой игры световых отблесков на море, этих неуловимых переходов от голубого к синему и от зеленого к голубому, за которыми я следил с палубы корабля в океане. Я знаю, что то время, которое мне еще остается прожить, я буду слышать бесчисленные звуки во тьме, но в этом мире я буду чувствовать себя чужим — и я с трудом представляю себе, как я привыкну к этой ослепшей вселенной — без света, без солнца, без сумерек, без ночи?»

В другом письме Иванов, недавно попавший, по его словам, под автомобиль, писал:

«То, что я чаще всего испытываю, это боль в пальцах правой ноги, — ощущение, которое доказывает мне одну истину, которой я раньше не подозревал. Мы считаем — и я всегда думал, — что воображение, это результат умственной деятель-

ности. Говоря «воображение», я хочу сказать — представление о том, чего в действительности нет и то, что вы, англичане называете *fiction*, слово трудно переводимое на другие языки. И вот теперь я убедился, что это не так. Наша мускульная и нервная система, — эта неодухотворенная, казалось бы, совокупность тканей и узлов, тоже обладает воображением. Потому что чем другим, как не воображением мускулов и нервов можно объяснить это ощущение в пальцах ампутированной ноги?»

«Я думаю о другом. Какая странная профессия — фабрикант искусственных ног и рук и какая странная отрасль промышленности!»

Содержание этого письма, такого же длинного, как остальные, сводилось к тому, что Иванову необходимо купить искусственную ногу и что у него на это нет денег. Все его письма, впрочем, всегда содержали просьбу о помощи, — но никогда эта просьба не была выражена прямо. Каждое письмо, это был рассказ и все они были написаны в таком тоне, точно Иванов обращается к людям, которые не могут его не понять, которые вместе с ним склонны рассуждать о превратностях судьбы, и о печальной участи их корреспондента. Почти в каждом письме Иванов задавал себе вопрос — имеет ли он, в сущности, моральное право, просить кого бы то ни было о помощи? Но этот вопрос носил часто риторический характер.

Среди тех, кому Иванов посылал свои письма, были, судя по всему, самые разнообразные люди, что было видно по содержанию этих писем. Нельзя было не удивиться разнообразию тем, которые обсуждал Иванов — в зависимости от того, кому было написано письмо. Он писал об экономической эволюции мира, о перерождении форм капитализма, о политике, о будущем Франции и ее историческом прошлом, о западной культуре. Были письма, в которых речь шла о последних веках Византии, о живописи, о литературе — и во всем этом у Иванова были необыкновенные познания. Но особенно патетический тон был характерен для тех писем, которые посыла-

лись людям духовного звания и где речь шла о религии. С одним и тем же неизменным вдохновением Иванов писал о католицизме — «в конце концов, история христианства есть история католической церкви, что бы ни говорили об этом те или иные люди, каковы бы ни были ужасы инквизиции, исчезнувшие, растворенные в неизменном и постоянном Возрождении христианской веры в несравненном сиянии Спасителя», о лютеранстве, — «только Лютер, только он, понял опасность окостенения христианства, оцепенения и неподвижности его образов, и без него мы не знали бы, что такое настоящая вера», о буддизме — «если мы совершенно объективно должны констатировать, что основное отличие монотеистической религии от разных видов языческих верований, примеры которых нам дают в частности Эллада и Рим, — заключается в том, что язычеству чуждо созерцание, вне которого мы не можем себе представить монотеизма, то религия, в которой главную роль играл этот торжественный акт созерцания, это конечно буддизм». И к каждому письму была приложена коротенькая лента бумаги с датой его отправки, получения ответа и чека.

Я просидел несколько часов над этими письмами. В каждом из них Иванов менялся: после архитектора появлялся инженер, после инженера бывший преподаватель истории. Я читал и думал о том, какие мучительные усилия воображения были нужны автору этих писем. После этого, конечно, не оставалось больше сомнений в том, откуда Николай Францевич брал средства на жизнь: вторая квартира в бедном районе Парижа, фальшивые бумаги на имя Иванова, которого никогда не существовало и упорный, многолетний труд. Итальянка несколько раз входила в кабинет, где я сидел, и потом уходила. Я ей сказал под конец, ничего не объясняя, что эти письма она может уничтожить, попрощался и поехал домой.

Был летний вечер, я сидел в своем кресле и думал о том, что я только что узнал. То, что никакого Иванова никогда не было, казалось мне, в конце концов, не таким важным. Не так уж важно было и то, что Николай Францевич зарабатывал

деньги именно таким способом. Самое важное было другое: то, что Николая Францевича, того каким мы все его знали и помнили, — тоже не было, несмотря на обманчивую его вещественность, — квартира, обеды и итальянка. Та изменчивость форм, в которой проходило его существование, то неправдоподобное множество превращений, о котором свидетельствовали его письма, всё это были, быть-может, его судорожные и безуспешные попытки воплощения, бесплодное стремление найти свое место в мире, которое, в силу неизвестных причин было давно потеряно, как воспоминание о прошлом, которого не могли восстановить никакие усилия памяти и воображения. А кроме того никакая созерцательная философия и назидательное чтение Боссюэ и Декарта не могли спасти Николая Францевича — в той мере в какой он существовал, — от этой постоянной лжи, от сознания своей тягостной вины перед доверчивыми людьми, которым он писал свои письма и к которым он обращался во имя тех положительных принципов, которых его жизнь была жестоким и непоправимым отрицанием. Все было ложью и химерой — и его философия и его жизнь и эпистолярная литература Иванова, всё было неверно и обманчиво, вплоть до календарной даты его похорон, потому что Николай Францевич, которого я знал столько лет, и в реальность которого я не мог поверить до конца, растворился и исчез в той пустой могиле, куда был опущен его пустой гроб, не тогда, когда была произнесена речь о несуществующих заслугах этого несуществовавшего человека, а несколькими днями позже, в тот летний вечер, когда я вернулся домой после чтения писем Иванова.

А Ф О Н

(1963—1963)

1

Сияя и голубея,
И милуя и маня,
Полуденная Эгея
Усыновила меня.
Соленая, голубая,
Уносит уже волна,
Песчаная, золотая
Полоска едва видна.
Но черное — голубому
Сиянию — вопреки:
Свой путь совершают к дому
Суровые клубуки.
Из зарослей Византия —
Зеленые купола,
Серебряные витии —
Взыграли колокола.

2

Вы тысячелетье пели,
Что воску сожгли, свечей!
Бессонных сколько ночей!
Не сходятся параллели
Ни помыслов, ни речей,
Но сходятся песнопенья,

Молитвенные уста,
И светится пустота,
Под утро самозабвенье,
Сияние, высота.
Мариино это братство,
Мариины все они,
И искони Ей сродни,
Мариино это царство,
Заутренние огни.
Сияние голубое —
Её
— всего голубей,
Эгеи и всех морей,
Небесное, не морское,
И братия служит Ей.

3

Барбунья, каламараки
И раки — разная снедь,
В особенности же враки —
Такие милые ведь!
Кто пьёт и кто запивает
И бродит *кто* по ночам:
— Поверите ли, бывает,
— И даже игумен сам...
Вечерние посиделки:
— Тогда я был Иванов,
— И после той перестрелки
— Мы, значит, вошли во Львов.
О том, как в Девятисотом —
— Приехамши на Афон,
— Болел, обливаясь потом,
— Не помню я — сколько дён!
В Тринадцатом имясловов

Волнение:

«имя чьё?»

— Под стражею пустословов

—Спровадили:

мужичьё!

4

Невидимые дзитаки,
Полуденные, звенят —
Зеленые забияки,
Звенигород, Звениград!
Зеленое, золотое,
Земной полуденный рай,
Пока не вышел из строя,
Позванивая, играй!

5

А в два часа пополуночи
Заутреннее ббомм-ббомм!
Вздыхаючи и грохочучи
Раскатывается гром.
И разверзаются сумерки,
И отзывается кровь,
Мы давеча в мире умерли,
А нынче воскресли вновь!
Таинственное зияние,
Уже поются псалмы,
Мигающее сияние,
Вздымающиеся мы...
Короткая очень утренья,
Каких-нибудь три часа,
На голос, не внешний, — внутренний —
Нездешние голоса.
Блистанье золотое,

Синеющий фимиам,
И черное в голубое
Впадает:

 не здесь, а там,
А солнце, алея — в храм.

6

Тот юноша синеглазый,
На послухе, в клубучке,
Я видел его три раза,
Высокий и налегке...
Что струнка или же стрелка,
Отточенная сейчас;
Я знаю, в раю — в горелки
Сыграю с ним — не раз!
У греческого игумна
Я только что сел на стул,
И Коста туда бесшумно
С подносами проскользнул.
Опущенные ресницы,
Несказанные слова,
И всё-таки мне приснится
Опасная синева —
Нечистая, — ну, и что же,
Всё Божия красота,
У ангелов та же — строже,
Небесная чистота.
А вечером по походке
Я в церкви его узнал,
Под утро — на утлой лодке —
Я видел — он уезжал.

7

К полудню, изнемогая,
Являя плачевный вид,
И на бок с мула сползая,
Я въехал в заглохший скит.
Уже воссели под сенью —
Широкошумный каштан,
И я наслаждался ленью,
Опорожняя стакан.
Какие странные речи
И странный какой язык,
Невиданного предтечи
Оливково-смуглый лик.
— Не бойтесь: смерти стерти
— Уже ничего невмочь...
— Вы на слово мне поверьте,
— И только кажется — ночь...
— Свивается вся стихия,
— Какая голубизна,
— Из Галилеи Мария:
— За Сыном идет Она.
Я видел того Сербина —
Его голубиную синь,
Во имя Матери Сына,
Во веки веков, аминь.

8

Древнейшая наша вера,
Вселенская, и одна,
И сфера, и стратосфера,
Незамкнутая она.
И наше исповедание —
Одно и без изменения:

Пасхальное ликование,
Прощение, воскресение.
Прославится Ей на Конго
И на Голубой реке,
На Суматре и на Тонга,
На аравийском песке.
Уже раздается голос,
Вещающий не спеша:
— Греми по-гречески, логос,
— По-русски шепни, душа!
Ликуя, звеня латынью,
Уже отозвался Рим,
Уже Марииной синью
Окрашивается мир.

Юрий Иваск

АФРИКАНСКИЙ ГОСТЬ

Невероятное происшествие в 3-х часах

Действующие лица:

М а л а ф е й И о н ы ч, бывший дьякон, а ныне заведующий брачным столом в уездном городе для записи гражданского брака. Все еще никак не может привыкнуть к своему преображению, чувствует себя как Венера, вышедшая из воды, пытается прикрыть наготу куцыми полами пиджака и куцыми словечками.

К а п т о л и н а П а л н а, его супруга, бывшая дьяконица. Губы — как «архиерейский кусочек». Мозги — тоже куриные.

Л ю б а — их дочь. С точки зрения наследственности — явление необычайное. Хороша так, что даже автор опасается пристально ее разглядывать и описывать. Пение предпочитает разговору.

В и т ь к а Ж у д р а, рыж, быстр, вихраст и остр. В другие века из него бы вышел Тиль Уленшпигель, в наше время он будет неугомонным строителем, для чего, впрочем, ему надо поступать в Высшую Техническую Школу.

Д о к т о р, громаден, все в нем неповоротливо и лениво, за исключением мозгов. Глаза у него — какого бы они ни были цвета — все равно голубые, как полагается у мечтателей.

И л ь я, сын своего отца — доктора, — и приятель Жудры. Всегда и все говорит увесисто и серьезно, и потому что бы он не говорил — ему нельзя не верить.

Ч у п ы т о в, уездная власть, бывший литейщик. Своего положения немного стесняется.

К а з и м и р К а з и м и р о в и ч П р е в о с х о д н ы й, его секретарь. Не стесняется.

С о с у л и н, из Москвы, поэт. Запряжен в огромные американские очки. Очки — главная часть его организма, все остальное мало заметно.

Д а р ь я, геркулесиха, исполняющая обязанности домработницы у дьякона.

У н т е р И в а н ы ч, по паспорту Гунтер Иоганн, случайно застрявший в городке военнопленный. Обучает граждан музыке и сам обучается русскому языку.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь, очень странный.

ЧАС ПЕРВЫЙ

Палисадник перед домом Малафей Ионыча — рядом с церковью. В доме открыты окна.

М а л а ф е й И о н ы ч (один за столиком перед окном. Пьет квас и записывает в ЗАГС-овую книгу). Мулюкин, Иван Петров... тридцати двух лет... И Окомелкина, Марья... лет... лет... девятнадцати. Первым браком. Серёжечкин... Федор Матвеев... двадцати двух лет... (В церкви звон. Малафей Ионыч начинает креститься — услышал фырканье подошедшего Жудры, испуганно отдергивает руку). Кто... кто это? А-а, это ты! Ну?

Ж у д р а. Та-ак-с, Малафей Ионыч... Помоля Богу вас.

М а л а ф е й И о н ы ч. Стыдно! Стыдно! Да. Стыдно.

Ж у д р а. Кому?

М а л а ф е й И о н ы ч. Тебе. Бога нет, пора бы знать — на двенадцатом году революции...

Ж у д р а. Ловко обернул... отец дьякон!

М а л а ф е й И о н ы ч. Ты какое... ты какое имеешь право? Какой я тебе дьякон?

Ж у д р а. Ну — бывший дьякон. Раньше в церкви венчали, а теперь — в ЗАГС-е, только и всего.

М а л а ф е й И о н ы ч. Ты у меня... ты у меня... узнаешь! Я... я... я... тебя (Сдерживаясь) Ты зачем пришел?

Нет, ты скажи, зачем ты пришел? Ты чего потерял тут? Тебе чего надо?

Жудра. Люба ваша дома?

Малафей Ионыч. Нету.

Жудра. Я сейчас вернусь — передайте ей.

Малафей Ионыч. Передам... как же. Обязательно! Только у меня и делов. *(Жудра уходит. Малафей Ионыч продолжает записывать)* Ч-чорт рыжий... двадцати двух лет, Федор... Стерва! Храмихина, Татьяна Тимофеевна — двадцать лет... *(Входит Дарья. Ей:)* Ну, чего еще?

Дарья. Записка тебе какая-то.

Малафей Ионыч *(берет, читает)* Госп... Господи! Сам товарищ Чупятов! Да ты что же — ты что же мне раньше не дала? Тетеха!

Дарья. Да ты раньше-то после обеда два часа дрыхнул.

Малафей Ионыч. «Дрыхнул»! Деревеньщина. Беги сейчас же к Унтеру Иванычу.

Дарья. Это к пленному, что ли? К немцу?

Малафей Ионыч. Да, да. Скажи, что мол просят прийти, да скорее. Как можно скорее. Сию же минуту! Слышишь?

Дарья. Это что же: опять они с Любашей песни играть будут?

Малафей Ионыч. Да, да: песни... Иди, не разговаривай *(Дарья уходит, Малафей Ионыч еще раз перечитывает записку)*. Господи! Капа! Капа! Капитолина!

Каптолина Пална *(в окне с зеркалом, с щипцами — завивается)*. Ну? чего?

Малафей Ионыч *(задыхаясь)*. Капа... вот записка... от Чупятовского секретаря...

Каптолина Пална. Ой! От товарища Превосходного? *(Завивка идет ударным темпом)*.

Малафей Ионыч. Да, да. Они сейчас придут к нам — Любу слушать. И товарищ Превосходный, и товарищ Чупятов... ты слышишь? В первый раз ко мне — сам

товарищ Чупятков! Господи! И еще этот с ним... Московский... Сосулин...

Каптолина Пална. Который — стихи пишет?

Малафей Ионыч. Да... ты понимаешь? Ведь, может, нынче вечером — и Любкина, и наша судьба решится. Может, вся биография нашей жизни — сразу вот этак... вот — вверх... фонтаном! Господи! Любка... Любке-то сказать. Где она?

Каптолина Пална. Вот-ще! Я почему знаю.

Малафей Ионыч. «Я почему знаю»... Вот ты за ней не глядишь, она с этим с рыжим — Витькой — якшается. А разве ей Витька пара? Да ведь такая дочь, как Люба наша — это от Бога нам данный капитал... Понимаешь? Капитал!

Каптолина Пална. Ну, да — это который Маркса, толстый. Я им молоко закрываю.

Малафей Ионыч. Дура! Да брось ты завиваться — мозги себе завей лучше. Тут надо скорей — всю программу, по пунктам, а она завивается.

Каптолина Пална. Какую еще программу?

Малафей Ионыч. Насчет Любки — вот какую... Слушай. Товарищ Чупятков — человек женатый, тут уж — аминь, ныне и присно...

Каптолина Пална. Ну да.

Малафей Ионыч. Стало быть, первый пункт производственной программы — товарищ Превосходный. Секретарь — самого! Господи! Ты подумай. Нет... ты подумай!

Каптолина Пална. Ой, спалила! Вот теперь опять от меня будет курицей пахнуть!

Малафей Ионыч. Дальше: товарищ Сосулин, называемая свободная профессия, то-есть, им разрешено зарабатывать свободно хоть по тыще рублей в месяц. По тыще в месяц — понимаешь?

Каптолина Пална. Я месяц во сне видала — будто он с неба свалился — и прямо мне вот сюда, на живот. Холоднющий — страсть!

М а л а ф е й И о н ы ч. Ну как — ну как с тобой разговаривать? Дура, наказание Божие! Иди скорей — стол накрывай. Сахар к чаю накопи кусочками помельче — советскими. И разных твоих вареньев и пирогов, — никаких, чтобы этих предрассудков не было! Слышишь? Да Любку мне пошли — сейчас же.

*(Каптолина Пална уходит от окна. Слышен ее голос:
«Любка, Любка! Тебя отец кличет»).*

Л ю б а *(входит)*. Зачем звали?

М а л а ф е й И о н ы ч. Вот что, Люба. Я — верный сын революции. Ты — моя дочь. Стало быть...

Л ю б а. Стало быть, я — внучка революции.

М а л а ф е й И о н ы ч. Я с тобой говорю серьезно. Я стою на прочной материалистической платформе и никакого идеализма у себя в доме не допущу — так и знай.

Л ю б а. Какой там еще идеализм?

М а л а ф е й И о н ы ч. А очень простой. Ты — с твоей наружностью, с твоим голосом — интересуешься каким-то там Витькой. Это — глупый, нерасчетливый идеализм. Да.

Л ю б а. Насчет Витьки можете не разоряться. Это мое частное дело.

М а л а ф е й И о н ы ч. Теперь частных делов нету — все общее. Поэтому — слушай. Сейчас сюда придут: тов. Превосходный, тов. Чупятов, тов. Сосулин. Твоя ударная задача — тов. Превосходный, не он, так — Сосулин. Но чтобы у меня этого Витьку — ты из головы выкинула. Слышишь?

Л ю б а. Нет, не выкину — потому, что я... потому что он меня...

М а л а ф е й И о н ы ч. Вот-вот-вот! Я так и думал:

Л ю б а. Ну и думайте — а мы уже обдумали. Мы осенью — вместе с ним в Москву поедем, я — в консерваторию, а он в инженерное...

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет, ты с ним не поедешь.

Люба. А я говорю — поеду! Нынче не царский режим, запрещать не имеее права!

Малафей Ионыч. Да разве я запрещаю? Разве я запрещаю? Я только ставлю тебе голый факт. Например: деньги у тебя есть? Нету. Документы твои где? Вот они, у меня. Путевку в ВУЗ кто дает? Товарищ Превосходный. Вот я с ним поговорю — посмотрим, как он даст тебе или Витьке, посмотрим!

Люба. Это называется отец! Вы не отец, а наоборот.

Малафей Ионыч. Это что же такое означает? Даже непонятно.

Каптолина Пална *(уже во всей красоте — из окна)*. Малафей Ионыч! Любка! Подите, стол расставьте.

Малафей Ионыч. А сама — что: не можешь? Руки отсохли?

Каптолина Пална. Вот-ще! Не видишь — я одета. Что ж мне — платье сымать?

Малафей Ионыч. Ах ты, Господи... Ну, идем, идем...

(Малафей Ионыч и Люба уходят в дом. Каптолина Пална в окне с зеркалом. Входит Превосходный).

Каптолина Пална. Ах! Товарищ Превосходный!

Превосходный. Каптолина Пална... коханая! *(целует ей руку, держит не отпуская)*. Ах, хорошо, знаете! Это же погода!

Каптолина Пална. А у нас нынче кошка око- тилась.

Превосходный. Что — кошка! Вот вы это, действительно... *(гладит ее руку)*.

Каптолина Пална. Скептик! Противный! *(Превосходный целует ее руку около локтя)*. Не смейте!

Превосходный. А почему вчера — можно было, а сегодня — не можно?

Каптолина Пална. Вот-ще! Не имеете права... Увидят.

Превосходный. Ну, тогда скажите: когда сегодня и где — так чтобы, знаете, приватно?

Каптолина Пална *(Вздыхая)*. Ах, не говорите вы мне таких изменностей!

Превосходный. Ну, я вас прошу!

Каптолина Пална. Ш-ш-ш... Идут, сюда, к нам.

Превосходный. Так это же мой Чупятов и доктор, он, знаете, завел про свою биологию, так что вы уже имеете доклад на час и можете спокойно не волноваться.

Каптолина Пална. Оставьте руку... нахал! Приходите на балкон — когда Люба запоет. *(Исчезает. Выходит из-за угла Жудра; похоже, что он слышал конец сцены)*.

Превосходный. А-а, молодая смена, здравствуйте!

Жудра. Здравствуйте... *(Пауза. Глядит в глаза Превосходному)*. Та-ак, значит... Н-да...

Превосходный. То-есть? Что вы хотите сказать?

Жудра. Я? Ничего. Значит Любу пришли послушать?

Превосходный. А что такого? Я давно хотел. Это же, знаете, голос, который вы редко имеете даже в Москве.

Жудра. А вот насчет Москвы — это я к вам завтра зайду.

Превосходный. А скажите, дорогой мой товарищ, зачем?

Жудра. А вы мне путевку в ВУЗ напишите — вот зачем.

Превосходный. Ну, это, знаете, зависит. Там, знаете, в вашей анкеточке есть пунктик.

Жудра. Вы бросьте дегтем брызгаться! Я говорю: напишите.

Превосходный. Ну, хорошо, хорошо, напишу. Не волнуйтесь, смена.

Жудра. Если смена — так не вам (*Уходит*).

Превосходный. (*Один, вслед Жудре*). Мальчишка! Лайдак!..

Сосулин. (*Входит, очки в руках, протирает их шелковым платочком. Превосходному — шурясь*): А-а, это вы? Ну, да: я слышал ваш голос — вы разговаривали с этим... с товарищем Превосходным. Очень рад, очень рад. Я давно хотел установить смычку.... э-э-э... с молодежью от станка.

Превосходный (*фыркает, зажимает рот*).

Сосулин. Мы, поэты, должны увидеть все происходящее, так сказать, через ваши молодые очки...

Превосходный. Я вам на то скажу — вы лучше себе наденьте свои очки.

Сосулин (*надев очки*). Фу... простите, Казимир Казимирович. Вы знаете — когда я без очков... Я думал, что это опять он — это рыжая шпана... Ну, я очень рад, очень рад. Я давно хотел с вами... а то прямо не с кем, кругом какие-то монстры, фантастика! Этот доктор — по-моему, сумасшедший. Эта Каптолина — как ее, — прямо кретинка...

Превосходный. Я извиняюсь! Позвольте! Кретинка...

Сосулин. То-есть, конечно, условная... Понимаете — условная: если взять ваш высокий — я скажу, исключительный интеллект — и рядом ее...

Превосходный. Ну, да — я вас уже понимаю...

Сосулин. Или, например, ваш интеллект — и рядом Чупятов...

Превосходный. Чупятов! Это же бывший простой литейщик — что вы хотите? Я за него всё пишу, он, знаете, без меня так, ровно без какого-нибудь органа. А ешьли между нами, приватнэ, так я вам скажу про него... (*Входит Чупятов и доктор. Превосходный — восторженно*). И он — как раз здесь! А мы, тов. Чупятов, именно, знаете, о вас говорили. Я говорю: что делает с людьми

наша революция! Давно ли на заводе вы отливали эти самые... онки...

Ч у п я т о в. Ожоки! Ожоки... неграмотный!

П р е в о с х о д н ы й. Ну да: шоки. А теперь строите новую жизнь. Это же знаете, цуь особливого!

С о с у л и н. Дорогой, товарищ Чупятов — я буду писать о вас, как о выдающемся деятеле нашей провинции...

Ч у п я т о в. Да будет вам! Чего зря вола вертеть? Ну, какой я там выдающийся... Вы лучше послушайте, что вот он говорит *(на доктора)*. Так как, товарищ доктор, как ты это назвал-то?

Д о к т о р. Биологический... ин-тер-нацио-наль. Интернационал, граждане, да!

М а л а ф е й И о н ы ч *(выскочил из дома — подхватывает)*: «Это будет последний...»

Ч у п я т о в. Да постой ты, Малафей Ионыч! Ну к чему же это — к чему? Надо время знать.

М а л а ф е й И о н ы ч. Товарищ... дорогой товарищ Чупятов! Извиняюсь: не могу! Как услышу — так душа сама автоматически поет...

Ч у п я т о в. Ну какая там душа!

М а л а ф е й И о н ы ч. То-есть нет... Товарищ Чупятов — это я только так... Вы же меня знаете... Господи! Я же с корнем отрекся — я же отрекся от всех предрасудков. Я же в кружке...

Ч у п я т о в. Да знаю, знаю! Погоди ты... *(На Доктора)*. Дай ему сказать. Так в чем же дело, ну?

Д о к т о р. Дело — очень простое. С уничтожением национальных перегородок — человечество помолодеет, возродится — биологически возродится, да. И очень понятно — почему. До сих пор — за малыми исключениями — в браках соединялись особы одной и той же нации, одной и той же крови. И отсюда — вырождение. Меньшее, чем если брак происходит в пределах одного рода или одной семьи — но все-таки вырождение. А вот если нашу русскую кровь вкатить, скажем, в испанцев, а французов подогреть неграми, а англичан — японцами — вот это пойдет поколение... Такие будут головы, такая будет энергия, что через двадцать лет всё перевернут... Да, что там!

(Во время этого биологического трактата входит Жудра. Превосходный, Малафей Ионыч и Сосулин — как собаки на стойке: ждуг, что скажет Чупятов)

Чупятов. Ишь ты! С виду оно — будто чепуховина...

Малафей Ионыч. Верно! Спасибо... Спасибо, тов. Чупятов!

Превосходный. Ну да: это же глупство!

Сосулин. Фантастика!

Чупятов. А вспоминаю я, как бывало в шахту к чугуну какого-нибудь там марганцу или силицию сыпануть — и выйдет сталь первый сорт...

Доктор. Так, так, Чупятов ухватил самую суть!

Чупятов. Вот. И выходит не чепуха — а напротив.

Малафей Ионыч. Именно: напротив: Спасибо, товарищ Чупятов!

Сосулин. Фантастически-гениально.

Превосходный. Ну, да — это же поворот!

Жудра *(Превосходному)*. А вы железных петухов видели?

Превосходный. Что такое? Каких железных петухов?

Жудра. А на крышах — вот у них поворот на сто процентов: куда ветер дует — туда и они.

Доктор. Вот. А если никаких предрассудков не пугаться — так надо сделать опыт, о которым я думаю уже десять лет. И я его сделаю — лопну, сделаю!

Чупятов. Ну-ка, ну, громыхни, тов. доктор! Какой опыт?

Доктор. Скрещение человека с обезьяной.

(Все глядят на Чупятова, он начинает улыбаться все шире).

Малафей Ионыч. Ой, уморил! Хи-хи-хи!

Превосходный. Хе-хе-хе!

Сосулин. Ха-ха-ха! С обезьяной!

Ж уд р а Над кем, гражданин, смеетесь?

Д о к т о р. Ничего, пусть: наукой установлено, что от смеха для организма большая польза. Только тут смешного ничего нет. Англичанин Мак-Грэггер уже составил словарь языка обезьян. Через год, а может и раньше, все поймут, что это — люди... (к группе, где Малафеем Ионыч, Превосходный и Сосулин) такие же, как вы.

П р е в о с х о д н ы й. Извиняюсь!

С о с у л и н. Позвольте...

Ч у п я т о в. А может и верно, а? Наука — она дойдет.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, дойдет же, ясно как день!

С о с у л и н. Гениально! Я пишу на эту тему пьесу... в стихах.. И посвящаю вам, тов. Чупятов — можно?

Ч у п я т о в. Да бросьте вы — при чем я?

Ж уд р а. А вы свою обезьянью пьесу — лучше ему... или вот ему посвятите (на Малафея Ионыча и на Превосходного)... А то — самому себе: тоже подходяще...

П р е в о с х о д н ы й. Ну, знаете... як пана бога кохам — я вам это припомню!

Л ю б а (выходит). Унтера Иваныча тут нету?

Ч у п я т о в. А, певунья, здравствуй! Ну, что ж, скоро? А то мы уж заждались.

Л ю б а. Да вот, как только Унтер Иваныч... без него аккомпанировать некому.

П р е в о с х о д н ы й. Товарищ Люба — вашу лапочку!

С о с у л и н. (пожимая руку Любе декламирует):

Конец Государственной Думе,

Октябрь сошел к нам с небес.

На меня вы взглянули — я умер,

Коснулись рукой — я воскрес...

Я воскрес, да. Это из моих революционных стихов — вы, Люба, их читали?

Л ю б а. Нет, я покойников не люблю.

Ч у п я т о в (хохочет). Здорово! Как говорится: девка я-те-дам!

П р е в о с х о д н ы й. Да, это я вам скажу — не девушка, а прямо сахар-рафинад по первой категории.

Ж у д р а. А, может, вам этот сахар по пайку не полагается.

Ч у п я т о в. Ой молодцы ребята! Ой, языкастые! (хохочет, Сосулин и Малафей Ионыч подхохатывают).

С о с у л и н. «По пайку не полагается»... Гениально! Я это запишу — вы разрешите, тов. Чупятов?

Ч у п я т о в. А при чем тут я?

П р е в о с х о д н ы й. Ну да? Что тут смешного? И почему именно мне не полагается? (Жудре): вы думаете, что вам как раз полагается, да? Так вы сначала спросите так называемого отца.

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет-нет-нет... я что! (На Чупятова); Вот, можно — сказать, отче наш, в руки его передаю Любочку. Как он прикажет...

Ч у п я т о в. Да что это ты, Малафей Ионыч, «прикажет-прикажет»! Не в такое время живем. Кого девушка сама выберет, — за того и отдавай.

С о с у л и н. Вот она народная мудрость! Гениально!

Ч у п я т о в. А то вот доктора спроси — как по его надо, с точки биологии.

Д о к т о р. Ну, если с этой точки зрения — так конечно: соединять в пары людей одной национальности — грубая ошибка.

М а л а ф е й И о н ы ч. Спасибо, тов. доктор! Я всегда в одну ногу с наукой.

П р е в о с х о д н ы й. (Жудре). Что? Я же вам говорил, что вы ей не пара — и даже, знаете, научно.

Ж у д р а. Ну, это без дураков! Мы с Любой осенью едем в Москву, а вы научно — катитесь ливерной, вот что.

П р е в о с х о д н ы й. Слушайте — это вы мне — ливерной?

Ж у д р а. Вам — ливерной, да.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, так я вам скажу, что вы не поедете.

Жудра. То-есть, это как же? Вы же сами полчаса назад обещали путевку дать.

Превосходный. Ну, и что с этого? Это обещание надо понимать диалектически, да.

Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Превосходный, спасибо.

Жудра. А по-нашему, по-комсомольски, этакие вот диалектики — называются трепачи.

Люба. Витя... Витя... Оставь... не связывайся.

Превосходный. Ах, та-ак? Я из-ви-ня-юсь! Малафей Ионыч!

Малафей Ионыч. Здесь! Слушаю, товарищ Превосходный!

Превосходный. Имейте в виду, что вы допускаете к себе в дом...

Малафей Ионыч. Да... Слушаю...

Превосходный. ...бывшего меньшевика, да.

Малафей Ионыч. Как, тов. Превосходный... Госпо...да я...

Превосходный. Да. Согласно его собственноручной анкете за время февральской революции он записался в партию меньшевиков.

Чупятков: Да бу-удет вам! Ведь ему же тогда двенадцать годов было.

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятков, ваши слова для меня, как библ... как Бебеля, или, например, Ласся...

Чупятков (*конфузясь*). А, ну тебя... Что это ты в самом деле... Какой я... (*Махнув рукой, закуривает, уходит за угол*).

Малафей Ионыч. Нет, тут уж я — автоматически. Чтобы я в мою пролетарскую семью допустил гидру — нет, это аминь, ныне и присно и во веки веков.

Жудра. Благословите, отец дьякон.

Люба. Витя — не надо! Слышишь?

Малафей Ионыч (*Жудре*). Прошу вас, как бывшего социал-предателя... и нахала... оставить этот честный советский дом и больше сюда не возвращаться! да-с!

Ж уд р а. С удовольствием! Меня от вас тошнит.

Л ю б а. Витя, стой... Как же я... как же мы...

Ж уд р а. Не робей, Люба! Так или эдак, а мы с тобой... *(тихо ей)*: Вечером, в саду — ладно?

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет, насчет Любы, это теперь уж выкусите, вот... *(показывает фигу)*. Да-с, гражданин гидра!

Ж у р д а. Что-о?

У н т е р И в а н ы ч *(входит. В восторге)*. Ну-у... Какой я ловил шюка! Вот: колоссаль! Я ее тасковал-тасковал... и потом эйн! Вы понимаете? *(Молчанье. Оглядывается)*. Что? Почему здесь... такой, как это, — молчание?

Ж уд р а. Молчание — именно! Молчалины — да! Хорошо сказал немец! *(Уходит)*.

У н т е р И в а н ы ч *(растерянно)*. Боже ты мое... Что такой?

М а л а ф е й И о н ы ч. Ничего, ничего. Он ушел — и теперь все слава Бог... бок, ой!

Ч у п я т о в *(подходя)*. Что это — что с тобой?

М а л а ф е й И о н ы ч. Бок... Ничего, прошло... Это... это у меня наследственное...

Ч у п я т о в. Скажи, пожалуйста! А-а, и Унтер Ивановыч тут? Стало быть, все в сборе?

М а л а ф е й И о н ы ч. Все, все, тов. Чупятов. Сейчас, сейчас, сию минуту начнем. Пожалте. Тут у нас ступенечки — позвольте, я вам... *(Поддерживает под локоть)*.

Ч у п я т о в. А, ну тебя! Что я — архиерей, что ли? *(Уходит в дом)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Превосходный... позвольте вам...

П р е в о с х о д н ы й. Э-э... спасибо, спасибо!

М а л а ф е й И о н ы ч. Так... Еще одна, еще... *(Поддерживая, поднимает свою руку все выше)*. Извиняюсь: вся рука вышла-с. Товарищ доктор!

Д о к т о р *(просыпаясь от биологических размышлений)*. Кто это? Ах, вы... Ну?

М а л а ф е й И о н ы ч. Вы что же не идете?

Д о к т о р. Я — потом. Докурю вот.

М а л а ф е й И о н ы ч. — Товарищ Сосулин. Люба!

С о с у л и н. Иду... *(Ни с места — упорно смотрит на Любу).*

Л ю б а. Ну? Чего уставились? Дайте пройти.

С о с у л и н *(декламирует):*

Товарищ, гляди зорко в оба:

Враг прикинулся другом — не верь!

Маруся, я твой до гроба —

Открой мне сердце и дверь.

Это из моего цикла «Привет революции и Марусе».

Л ю б а. Протрите очки: я не Маруся *(уходит в дом).*

С о с у л и н. Все равно... Люба... Люба, постойте же!
(Идет за ней).

Ж у д р а *(входит с телеграмщиком).* Ну да: вот он здесь. Доктор, распишитесь: телеграмма вам.

Д о к т о р. Ага! Спасибо... *(Телеграмщик уходит. Доктор распечатывает телеграмму и держит ее, не читая — не в силах вырваться из объятий биологии).*

Ж у д р а. Ну, знаете... наклали вы мне с биологией с этой вашей.

Д о к т о р. А что?

Ж у д р а. А то, что я ее люблю — понимаете?

Д о к т о р. Я тоже люблю. Вот именно: люблю.

Ж у д р а. Как? Вы? Любу?

Д о к т о р. Какую, чорт, Любу! Биологию.

Ж у д р а. А я — Любу. И вы мне со своими фантазиями свинью подложили. Тоже... ляпнул: «соединить людей одной национальности — грубая ошибка»... Додумался!

Д о к т о р. Да, ведь это я так — теоретически.

Ж у д р а. Да, вы — теоретически, а мне ваша теория вышла — дышлом.

Д о к т о р. Фу, ч-чорт... действительно — неладно получилось. Ты не сердись — ей-Богу, я тебя люблю не мень-

ше, чем своего Ильюшку. Может, как-нибудь уладится, а? Ты придумай, скажи мне — я все сделаю.

Жудра. Да, уж будьте покойны — придумаю: у меня мячик работает... получше вашего.

Доктор. Ну так идем скорей — пока не начали.

Жудра. Ах ты... да я не могу туда!

Доктор. Почему?

Жудра. «Почему»! Потому что меня Малафей из дому выгнал — при вас же это было!

Доктор. Фу, чорт... действительно! Ну, я один пойду... *(Засовывает телеграмму в карман)*.

Жудра. Ну... разява биологическая! Да вы телеграмму-то прочтите.

Доктор. Да, верно: телеграмма: *(Читает. Потом — задыхаясь)*: Витька! Нынче какой день?

Жудра. Четверг.

Доктор. Четвергъ? Ой... Бежим сломя голову! Скорей!

Жудра. Куда?

Доктор. На вокзал... Ур-ра!

Жудра. Вы что... Это самое — окончательно?

Доктор. Что — окончательно?

Жудра. Свихнулись.

Доктор. Да ты пойми: это от Илюшки, от студента моего — заграничное плавание кончил, вечером здесь будет.

Жудра. Но-о? Илюшка? Это — в самый раз, кстати. Вы ему скажите — как только морду умоет, чтобы сейчас же ко мне сюда бежал.

Доктор. Да не один он — вот дело в чем: не один!

Жудра. Как — не один?

Доктор. Ты слушай... чорт рыжий — ты слушай! *(Читает телеграмму)*: Встречай четверг приеду с африканским гостем... ты по-ни-ма-ешь?

Жудра. Хоть убей — не понимаю.

Доктор (поет, приплясывая). С аф-ри-кан-ским гостем! С аф-ри-кан-ским гостем!

Малафей Ионыч (выбегая из дома). Товарищ доктор! Товарищ доктор!

Сосулин (выбегая). Что такое?

Превосходный (в окне). Он уже пляшет.

Каптолина Пална. (в окне). Потеха! (Хочет).

Доктор. С аф-ри-кан-ским гостем! С аф-ри-кан-ским гостем! (Жудры около него уже нет — он нырнул за угол).

Малафей Ионыч (подбегает к доктору, хватая его). Доктор... доктор...

Доктор. С афри-кан...

Малафей Ионыч. Ш-ш-ш! Ради Хри... Ведь товарищ Чупятов — он не может... Да скажите же — что случилось — что с вами?

Доктор. Телеграмма — вот. Мой Илья приехал. И с ним — африканский гость... Бегу на вокзал. Прощайте. (Убегает).

Сосулин. Доктор — пляшет, какой-то африканский гость. Прямо, как во сне.

Превосходный (Малафею Ионычу). Что же это значит?

Малафей Ионыч. У него, изволите ли, сын по корабельной части, так что у них летом плавание — как бы даже по заграничным местам.

Превосходный. Это, знаете, я уже знаю. Но что такое — африканский гость?

Малафей Ионыч. Не понимаю. Премудрость — или... ум за разум... В твердую почву — не могу вам сказать.

Сосулин. Фантастика!

Каптолина Пална. (радостно). Ой... а может они, которые в Африке, голые ходят?

Малафей Ионыч. Капа... Капа!

Превосходный. Поезд — уже через час, и тогда мы все сами увидим.

Каптолина Пална. А дети от них — тоже черные, или, может, какие пестренькие? Ой, вот интересно!

Малафей Ионыч. Капа! Капа!

Превосходный. Но это же у нас может быть событие! И даже — в масштабе!

Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Превосходный! Именно — в масштабе!

Превосходный. Ну да... *(Из дома слышно: рояль и пение)*. Уже слышите?

Сосулин. Это из «Аиды»... Тоже как раз африканская... Ш-ш-ш *(Идет в дом на цыпочках, за ним бежит Малафей Ионыч, Превосходный и Каптолина Пална — тоже уходят)*.

З а н а в е с

ЧАС ВТОРОЙ

Столовая в доме Малафея Ионыча. Прямо — дверь в залу, там — пение. Другая, застекленная, дверь — на балкон, оттуда ступеньки вниз, в сад. Возле балкона — три дерева, под одним из них, скорчившись, сидит Жудра.

Дарья. *(выходит на балкон — стряхнуть скатерть, заслушалась пения и заводит сама)*:

Хорошо тому на свете жить,
У кого нету стыда в глазах,
У кого нету и совести.
Хорошо тому на свете жить,
У кого...

Жудра *(привстав)*. Это ты — правильно. А мне тут — сиди.

Дарья. Ой-о! Кто-й-то? Кто-й-то?

Жудра. Ш-ш-ш, Даша, не кричи. Это я.

Д а р ь я. Ой, Витька окаянный... Напугал — прямо не передохну. Да ты что же тут сидишь, как воришка? В дом-то чего не идешь?

Ж у д р а. С Малафеем разругался — вдрызг... Из-за Любы.

Д а р ь я. Ах, батюшка ты мой! Так, может, Любе чего передать? Ты скажи, я для тебя все сделаю.

Ж у д р а. Спасибо тебе, Дашенька: я знаю, ты все сделаешь, да вот я то не знаю еще, что делать. Еще пока не придумал.

Д а р ь я. Ну, жди, думай.

Ж у д р а. Эх, жизнь наша — копейка! А еще того хуже, когда и копейки в кармане нету. Были бы деньги, сели бы мы с Любой в поезд — и ищи ветра в поле.

Д а р ь я (*конфиденциально*). А у дьякона — полено.

Ж у д р а. Какое полено?

Д а р ь я. А такое — сберегательная касса: нутро пустое — и все деньгами набито — чтоб в случае обыска не нашли.

Ж у д р а. Ну, так этих денег ты из него и поленом не вышибешь.

Д а р ь я (*вертя могучим кулаком*). Я-то? Не вышибу? (*уходит*).

И л ь я (*появляется около балкона. Приглядываясь, тихо*): Витька, Витька!

Ж у д р а. Илья! Ну, наконец-то! А папашка твой что же?

И л ь я. После придет.

Ж у д р а (*хохочет*).

И л ь я. Ты чего?

Ж у д р а. Вспомнил, как папашка твой тут отплясывал, когда телеграмма твоя пришла... Потеха! Все выскочили... Да, кстати, про какого еще ты там африканского гостя в телеграмме писал? Как про него услышали — так прямо у всех мозги набекрень: никто ничего не понимает, переполошились.... Что это — негр, что ли?

И л ь я. А-а, зацепило! Я тебе сейчас про негра расскажу. Иду я, понимаешь, в Порт-Саиде по набережной и вижу: толпа, в середине негр, а с ним рядом...

(Дверь из зала в столовую открывается, в столовую на цыпочках выходит Малафей Ионыч).

М а л а ф е й И о н ы ч *(тихо)*. Дашка, Дашка!

Ж у д р а *(Илье)*. Ш-ш-ш!

М а л а ф е й И о н ы ч. Ах ты, Господи! Ничего не готово! Да что ж это такое?

И л ь я *(тихо Жудре)*. Пойдем подальше — там я тебе доскажу *(Уходят)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Дашка! Дашка!

(Музыка в зале прекратилась, оттуда выходит Чупятov, за ним остальные).

Ч у п я т о в. Ну, спасибо, Любаша! Ай, молодец-девушка, ай, молодец! Ну, этакий клад тут нельзя держать, это — народное достояние. Обязательно ее в Москву учиться отправим.

Л ю б а. Товарищ Чупятov, я хочу сказать, я не могу одна...

М а л а ф е й И о н ы ч *(перебивает)*. Ты — не одна: я тут, можно сказать — на страже. Товарищ Чупятov... дорогой товарищ Чупятov! Позволю себе, что если бы это было мрачное время царизма, так я бы вам — прямо в ножки! Но так как мы избавились от этого наследия, то разрешите пожать вашу руку помощи.

Ч у п я т о в. Да ну тебя... При чем — я? Ты лучше Унтера Иваныча благодари — он ее обучил-то.

М а л а ф е й И о н ы ч. Дорогой германский товарищ, позвольте вас... *(Лобызает)*.

У н т е р И в а н ы ч. Данке. *(Отплевывается, вытирается)*. Но это антигигиенично.

Ч у п я т о в *(Унтеру Иванычу)*. Ну, еще чего нам споете?

П р е в о с х о д н ы й. Вот, например, есть композитор товарищ Глинкин: вы Глинкина можете?

У н т е р И в а н ы ч. О, да, я могу... Но я не могу: майнэ фрау — моя жена — в ожидании...

Ч у п я т о в. Ну? Опять — младенец?

Унтер И в а н ы ч. Это — я, я. Она меня дома в ожидании, и я боюсь: у нее голос очень военный как у валторн.

Ч у п я т о в. Ничего, обойдется. Поиграй, поиграй нам еще... В кои-то веки!

М а л а ф е й И о н ы ч. Унтер И в а н ы ч, кто вас просит — кто вас просит-то, вы подумайте! Да если бы меня... да я бы не то что в валторну — в эту самую... в флейту бы влез бы...

Ч у п я т о в. Да будет тебе! Ну, что это, ей Богу! *(идет в залу, Малафей Ионыч — за ним)*.

Л ю б а *(Сосулину)*. Ну? Чего вы на меня очки пялите? Что вы мне хотели сказать?

С о с у л и н. Только четыре строчки. Вы поймете... *(Декламирует)*:

Вперед! За мною! Вперед!
Передо мною ты одна,
Пересохли губы и рот —
Жажду выпить чашу до дна...

Л ю б а. Вы что — чаю хотите?

С о с у л и н *(растерянно)*. Чаю? Да... То-есть, нет, что я! Нет!

Л ю б а. Ну, так в чем дело, говорите... А то «да», «нет»... Терпеть не могу!

С о с у л и н. Я... тут мешают, я — потом... Когда вы еще споете — я буду вас ждать на балконе. Вы придете? Люба — я умоляю вас? *(Подходит Превосходный — Сосулин тотчас же уходит в залу)*.

П р е в о с х о д н ы й. Люба, я еще не успел... я хотел бы сказать вам за ваше пенье — широкое русское мерси. И ежели между нами приватнэ, то вы есть единственное пятно... э-э-э... в нашей дыре.

Л ю б а. Пятно — в дыре? Благодарю вас... товарищ Глинкин.

П р е в о с х о д н ы й. Глинкин? А почему — Глинкин, когда я имею свою фамилие и даже очень хорошее, и оно подойдет к вам, як по выкройке.

Люба. Нет, мне ваша выкройка что-то не нравится. *(Уходит)*.

Каптолина Пална *(Подходит к Превосходному)*. Вы это чего же это, а?

Превосходный. Что — что же?

Каптолина Пална. Будто из товарищей, а поступаете, как буржуй!

Превосходный. Кто? Я?

Каптолина Пална. А то кто же? Я вам вот так глазом сделала, чтобы вы на балкон шли, а вы как колода, ни с места.

Превосходный. Це такое — колода? А ежели я не видел, как вы мне сделали тым глазом.

Каптолина Пална. Вот-ще: не видел! Ну, так теперь глядите: как только Любка распоеется — чтоб у меня сейчас на балкон шли!

Превосходный. Ну хорошо, хорошо... Не волнуйтесь. Я приду — як Бога кохам, приду.

Каптолина Пална. Ну, если только вы... *(Увидев вошедшего Илью)*: Ой; какой сурприз! Ильюша!

Илья. Я, здравствуйте.

Превосходный. А-а, пан студент! Вернулся?

Каптолина Пална. Ильюша... да как же это вы? Из самой заграницы? И... и ничего? ?

Илья. Ничего, как видите.

Каптолина Пална. Ой, Малафей! Товарищ Чупятов! Глядите, глядите! Тут — из заграницы... из настоящей!

(Малафей Ионыч, Люба, Сосулин, Унтер Иваныч — выбегают из залы к Илье).

Люба. Ильюша, голубчик!

Чупятов. А-а, мореплаватель!

Малафей Ионыч. Илья Петрович, наш дорогой красный студент!

Сосулин. Позвольте: это, значит, была ваша телеграмма — африканский гость и так далее?

Илья. Да, моя.

Превосходный. И це оно, то-есть, — африканский... гость?

Чупят ов. Да, загнул загадку — ну-ка, разгадавай.

Малафей Ионыч. Спасибо, тов. Чупят ов! Спасибо, тов. Превосходный!

Илья. Африканский гость? А вот сейчас увидите.

Превосходный. Как?

Сосулин. Где?

Илья. Он сейчас придет сюда.

Малафей Ионыч. Сюда?

Унтер Иваныч. Боже ты мое!

Сосулин. Фантастика!

Илья. Да... почти что.

Каптолина Пална. А он из товарищей — или настоящий кавалер?

Малафей Ионыч (*тихо, но свирепо*). Молчи... дура!

Сосулин. Позвольте: все-таки — кто же он?

Илья. Он? Да видите... как бы это сказать...

Превосходный. Я уже знаю: делегат.

Илья. Вроде.

Превосходный. Ну, ясно, как день. Негр — или какого-либо другого цвета.

Каптолина Пална. Негр? Ой, вот интересно!

Малафей Ионыч. И... он — сюда, ко мне? Делегат? Ой, Госп... то-есть, я хочу... Тов. Чупят ов — делегат! Можно сказать, черная жертва империализма. Да это же... Капа! Капа!

Чупят ов. Да постой, не лотоши. (*Илье*): В чем дело?

Илья. Как раз по этому делу — мне надо вам два слова сказать... по секрету.

Чупят ов. Ладно.

П р е в о с х о д н ы й *(обиженно)*. Ну, ежели вы хотите приватнэ — то я могу уйти.

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Превосходный — извиняюсь! Товарищи, товарищи, позвольте вам — сюда!

(Чупятов и Илья отходят в сторону. Остальные разговаривают взволнованным шопотом).

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Превосходный... делегат, а? Да ведь этого негра прямо Бог послал, то есть — Бог, конечно, с маленькой буквы, с маленькой буквы...

П р е в о с х о д н ы й. Ну, хотя бы с маленькой, но с того может быть большой профит.

М а л а ф е й И о н ы ч. Ну да! Тов. Сосулин, если статейку в Москву — в «Известия», а? Что, мол, такого-то числа состоялось чествование жертвы империализма в доме у бывшего... то-есть, у меня...

С о с у л и н. Сейчас, сейчас... Пойдите *(Начинает декламировать)*:

Привет тебе от нас, как брату!

Я тоже негром был когда-то,

Теперь я стал.... *(Запнулся. К окружающим)*: Ну, скорей — кем? Кем?

К а п т о л и н а П а л н а. Арапом?

М а л а ф е й И о н ы ч *(ей)*. Молчи! Товарищи, я не могу, я волнуюсь. *(Не в силах выдержать больше — на цыпочках подходит к Чупятову и Илье)*. Товарищи.

И л ь я *(к нему)*. Сейчас, сейчас. *(Шопотом кончает свой разговор с Чупятовым)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Тов. Чупятов... я не могу, я волнуюсь. Вы, можно сказать, отче наш... Может, какие-нибудь директивочки от вас, — как и что. Ведь случай-то, можно сказать, непредусмотренный... африканский... Ведь, негр... товарищи.

Ч у п я т о в *(неопределенно)*. Да... Это надо учитывать...

П р е в о с х о д н ы й. Я на то скажу вам: даже — в масштабе, ежели то-есть делегат.

Илья. Да... Советую...

Малафей Ионыч. Да что, что советуете-то? Илья Петрович, дорогой — вы скажите: может, он что-нибудь любит эдакое... или вообще.

Илья (на Любу). Вот.

Малафей Ионыч (радостно). Ну-у? Так это мы...

Илья. То-есть, — пение, музыку. Так что, по моему, продолжайте концерт. А потом чего-нибудь слегка — тут (показывает на стол) — вот и всё.

Малафей Ионыч. Госп... да это я... да мы — в лепешку! Капа... Капа... Она сейчас тут приготовит...

Чупят ов. Вот это хорошо, что у тебя жена работающая. А то у других кухарки, горничные... ну, не глядел бы!

Малафей Ионыч. Истинно: прямо глядеть тошно! У нас тов. Чупят ов, этого и в заводе нету, мы — по-пролетарски... Ну, Унтер Иваныч, Люба — начинайте, начинайте, а то ведь он, гость-то, каждую минуту может, а мы тут стоим... Я не могу — я волнуюсь.

Чупят ов. Постой, дай докурим. Вот студент нам еще что-нибудь расскажет.

Превосходный (Илье). Да, я вас прошу — про-вентилируйте нам в международном масштабе, як там у вас, в загранице.

Илья. События там, — совершенно невероятные, особенно в английских колониях, в Африке. Понимаете: в Гвинее — восстание негров...

Малафей Ионыч. Негров? Дак ведь наш гость-то как раз...

Илья. Да, и туземный батальон отказался стрелять...

Малафей Ионыч. Товарищ Чупят ов... ура! Я не могу... Резолюцию!

Сосулин. Товарищ Чупят ов — я предлагаю — срочные стихи.

Превосходный. Нет, нет, резолюцию!

Илья. Не торопитесь: самое замечательное дальше. Понимаете... Да нет: я лучше вам прямо из газеты переведу... *(Вынимает английскую газету и делает вид, что переводит)*. Вот... «отказались стрелять. И тогда против восставших английским губернатором были брошены до тех пор невиданные части...»

Превосходный. Слушайте, слушайте!

Сосулин. Я протестую — от лица пролетариата...

Чупятов. Да погодите вы! Дайте закончить.

Илья. *(продолжает)* «Это были прекрасно обученные и вооруженные карабинами... человекообразные обезьяны...»

Унтер Иванныч. Боже ты мое!

Илья *(продолжает)*. «Но даже и они отказались и бросили оружие — все как один...»

Малафей Ионыч. Ура!

Превосходный. Ну да — ура.

Сосулин. Позвольте... что же это? Выходит — они совершенно, как люди... то-есть, как я?

Илья. Да, как вы.

Сосулин. Фантастика!

Илья. Пожалуйста — вот вам газета: вы же, наверно, английский знаете?

Сосулин. Отчасти... да... *(берет газету, растерянно смотрит)*. Да, действительно...

Каптолина Пална *(услышала шаги — кто-то поднимается из сада на балкон)*. Ой... идет! Идет!

Малафей Ионыч. Кто? Он? Африканский... *(кидается к балкону, свалка в дверях)*.

Сосулин. Пустите... пустите меня! Я — корреспондент.

Превосходный. Нет, извиняюсь, я! Как секретарь...

Каптолина Пална. Я — дама, а вы на меня прёте... тоже кавалер!

Малафей Ионыч *(увидел на балконе Дарью, торопливо закрывает дверь)*. Товарищи, это не он, это не он! Ей-Богу, не он! Это — не негр.

Чупятов. А кто же?

Малафей Ионыч. Это... так, одна... моя дальняя... то-есть, вообще женщина...

Чупятов. А-а... ну, ладно... *(бросая папиросу)*. Что ж, Унтер Иваныч, пора начинать. *(Идет в залу)*.

Малафей Ионыч *(вслед)*. Истинно: пора... спасибо, тов. Чупятов *(приоткрыв дверь на балкон, где Дарья начинает развешивать белье)*. Дашка, дура... спятила? Белье развешивать! Уходи отсюда... слышишь? *(Закрыв дверь — сладко)*. Тов. Превосходный... осмелюсь... тов. Сосулин, дорогой наш поэт! Люба! Люба! Да что же ты, что же ты не идешь? Иди же. Я не могу — я волнуюсь... ведь он каждую минуту может... Люба!

Люба *(Илья что-то шепчет ей)*. Да иду, иду. *(Уходит в залу вместе с Ильей)*.

Малафей Ионыч. Капа, слушай: пока она петь будет — ты тут все приготовь... Да поскорее. Господи, ведь каждую минуту может... Ведь делегат — понимаешь?

Каптолина Пална. Вот-ще: приготовь! Очень надо! А Дашка на что?

Малафей Ионыч. Дура! Ты слышала, что товарищ Чупятов про кухарок говорил? Да после этого Дашку обнаружить — разве это мысленное дело?

Каптолина Пална. А может у меня свои дела — поважнее? Вот-ще! *(Вильнув хвостом, уплывает в залу)*.

Малафей Ионыч. Дура! Владычица! Что же теперь? Мать пресвятая... Дарья! Дашка! Дашка! *(Выбегает)*.

(Возле балкона появляется доктор и Жудра — с каким-то свертком в руках).

Доктор. Ну, ладно, жди тут пока. Я пойду туда. *(Поднимается на балкон и в столовую)*.

(Жудра садится под балконом)

Илья *(Выйдя из залы навстречу доктору)*. Ты один? А что же — африканский гость? Пожалует или раздумал?

Д о к т о р. Придет, придет, только попозже, когда пение кончится.

И л ь я. Ага! Ну, стало быть — скоро: там уже Аида африканская при последнем издыхании, — слышишь?
(Идут в залу).

(В столовую входит Малафей Ионыч вместе с Дарьей, опасливо прикрывает дверь в залу, тянет Дарью к балконной двери).

М а л а ф е й И о н ы ч (Дарье). Так — поняла? Ножи, вилки, которые попроче — кухонные.

Д а р ь я. Кухонные — так кухонные: мне — наплевать, дело твое... (Хочет уйти).

М а л а ф е й И о н ы ч. Да нет, ты постой. Понимаешь: гости... это самое... нынче — особенные. Надо, понимаешь, чтобы ты как-нибудь... не ты, а как бы... это самое...

Д а р ь я. Ты — не ты... Говори уж, чего кругом ходишь, как кот.

М а л а ф е й И о н ы ч (как в воду). Ну... одним словом... ты мне — тетка.

(Жудра фыркает).

Д а р ь я. Тетка-а? Кто? Я? Тебе?

М а л а ф е й И о н ы ч. Ах, ты, Господи... Да некогда мне с тобой! Говорю — тетка, стало быть — тетка. Что я, — даром деньги тебе плачу?

Д а р ь я. Нашел дуру! Это чтобы я у тебя за десять целковых в месяц и в кухарках, и в тетках служила?

М а л а ф е й И о н ы ч. Дашка, Бог с тобой: какая же это служба — тетка? Только одно уважение. Чай, например, подашь и сама садись с нами, пей. И разговаривай — вообще, как тетке полагается. Да ты женщина умная, мне тебя не учить.

Д а р ь я. Умная — умная, а все-таки в союз сбегаю, спрошу, почем в месяц за тетку полагается.

М а л а ф е й И о н ы ч. Дарья Матвеевна, голубушка — да зачем же в союз? Я и сам давно хотел тебе прибавить... Ну, двенадцать целковых в месяц — по рукам, а?

Д а р ь я. Не-ет, меньше, как за пять в тетки не пойду... сраму то одного по нынешним временам: дьяконова тетка! *(Уходит)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Дарья Мат... Ах, ты чортова... *(Открывается дверь из залы, высовывается тов. Чупятов)*. Ой, товарищ Чупятов, это я волнуюсь... *(Чупятов манит его пальцем)*. Сейчас, сейчас, сейчас...

(На цыпочках проходит в залу. Из залы выплывает Каптолина Пална, за нею Превосходный. Жудра быстро взбирается на дерево и дальнейшее наблюдает оттуда).

П р е в о с х о д н ы й. *(Увлекая Каптолину Палну в неосвещенный угол балкона)*. Сюда! Сюда! Здесь будет удобнее.

К а п т о л и н а П а л н а. Ой, там темно!

П р е в о с х о д н ы й. То как раз есть удобно для личной жизни. А мы с вами, конечно, за свободную личную жизнь, ктура есть завоевание нашей революции — и никакой другой революции нам даже не надо.

К а п т о л и н а П а л н а. Ну, да! *(Пауза)*. А к нам нынче трубочист приходил.

П р е в о с х о д н ы й. *(Удивленно)*. То-есть... для чего вдруг трубочист?

К а п т о л и н а П а л н а. Известно для чего: трубы чистить. Весь в саже. Вот бы ни за что не поцеловала!

П р е в о с х о д н ы й. А ежели, не трубочист, а я — Казимир Превосходный — так что?

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Очень мне надо вас целовать! Это не полагается, чтоб дама...

П р е в о с х о д н ы й. Але я же не дама? И значит, я — могу? Да?

К а п т о л и н а П а л н а. Какой нахал! Конечно. *(Поцелуй)*. Ах, как я люблю с вами обращаться!

П р е в о с х о д н ы й. Ну, я прошу вас: еще один.... як пана Бога кохам — один!

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! За кого вы меня принимаете? *(Пауза)*. А у меня тут — родинка.

Превосходный. Где? Здесь? Да... это знаете, родинка... это даже есть целая родина.

Жудра *(не выдержав, фыркает)*.

Каптолина Пална. Ой... кто, кто это, кто это там?

Превосходный *(вскакивает, заглядывает через перила вниз, возвращается)*. Глупство! Никого... или кто-нибудь в виде птицы. *(Возобновляет охоту за родинкой)*. Извиняюсь... здесь? Нет?

Каптолина Пална. Ой... а если там есть кто-нибудь? Я же слышала. А если там Чупятов?

Превосходный. Пфе. Це такое Чупятов?.. извиняюсь: здесь, да? — Некультурная личность, и ежели приватнэ — мне на подобных с высокого дерева плевать.

Каптолина Пална. Ш-ш-ш! Что вы, что вы?

Превосходный. Я же вам говорю, что никого, и никто не может нас слушать.

Жудра *(тихо, но очень раздельно)*. А вдруг?

Каптолина Пална. Ой! Ой!

Превосходный. Це, це такого? *(Сбегает с балкона, ищет. Вернувшись)*. Никого, то был какой-нибудь звук природы.

Каптолина Пална. Вот-ще — природы! Я же слышала: он сказал — «а вдруг». У меня даже пульс начался.

Превосходный. Извиняюсь, где? Тут?

Каптолина Пална. Нет-нет-нет! Пустите. Идемте отсюда, я боюсь.

Превосходный. А-а! Хорошо, хорошо... Идем. *(Уходят. В столовой во время этой сцены Дарья накрывает на стол. В зале — соло на рояле Унтера Иваныча. Люба входит в столовую. Жудра увидел — спрыгивает с дерева и — в окно. Женщины вскрикивают)*.

Люба. Ой, Витька! Ой, Витька... ты?

Дарья. Чорт окаянный! Ты меня до родимчика доведешь!

Люба. А мне Илья говорил... где же Африканский гость?

Жудра. Через пять минут будет. Ты смотри в него не влюбись...

Люба. То-есть, это в кого — в него? *(Хохочет)*.

(Из залы выскакивает Сосулин, от волнения, как всегда — снял и шелковым платочком протирает очки. Жудра присел сзади Дарьи, она прикрывает его платьем).

Сосулин. Любовь Малафеевна... Люба! Вы на балконе? Да?

Люба. Нет. Там у нас лягушки прыгают... противные. Да если вы еще...

Сосулин. *(Бросив очки на стол, подходит к Любе, взял ее руку обеими своими)*. Люба, если вы... если вы не пойдете, я... я не знаю, что сделаю!

Люба. Я знаю, прочтете свои стихи...

Сосулин. Люба, — я не шучу.

Жудра *(проскочил под столом и уже из-за спины Сосулина кивает Любе, чтобы она согласилась)*.

Люба. Не шутите? Ну, хорошо, идите — я сейчас к вам выйду.

Жудра. *(Из под стола, хватая очки Сосулина)*.

Сосулин. Где... где мои очки? Где? Я же сейчас, сейчас их здесь бросил.

Люба. Да идите же скорей! Пока там играют.... А то сейчас выйдут.

Сосулин. А, чорт, ну, все равно...

(Выходит на балкон. Жудра выталкивает туда Дарью. Сам выскакивает через окно, взбирается на дерево и исчезает. Люба остается в столовой, у балконной двери).

Сосулин *(вышедшей на балкон Дарье — шопотом)*. Наконец-то! Это — вы?

Дарья *(тихо)*. Ну, я.

С о с у л и н. Я вас не вижу, но все равно: ваш голос все время звучит во мне... Да, да, во мне. У меня есть четыре строчки — вот:

Твой голос — голос восстаний,
Кровь бунтует во мне, кипит.
Революции день настанет —
Ты будешь моей Лилит...

Лилит-Лилит-Лилит! *(На коленях)*.

Д а р ь я. Ой, да встань! Что это ты — что это ты... спятил?

С о с у л и н. Повтори, повтори еще! Боже мой... ты сказала мне «ты» — да?

Д а р ь я. Ну, да: сказала.

С о с у л и н. Милая... ты-ты-ты! Ты не знала — ты не знала! А я давно не спускаю с тебя глаз — я слежу за каждым твоим движением... Что же ты молчишь? Милая, милая... что же ты молчишь? Ну, скажи: ведь ты согласна... Да? Да?

Д а р ь я. Чего согласна-то?

С о с у л и н. Ну, конечно — быть моей женой... ты согласна, да?

Д а р ь я. Да ну ладно, что ли...

С о с у л и н. Ты... Ты! *(Обнимает Дарью — Люба задыхается от неслышного смеха)*.

Л ю б а *(выходит на балкон)*. Ну, поздравляю вас, Сосулин, поздравляю. Я так за вас рада.

С о с у л и н. Кто это? Что такое? Где... где мои очки? Где очки?

(Двери зала открываются, из зала выходит Чупятов).

Л ю б а. Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов! Подите сюда скорей!

Ч у п я т о в. В чем дело?

Л ю б а. Поздравьте их: он только что ей сделал предложение.

Ч у п я т о в. Но-о? (*Сосулину*). Это, брат, здорово! Вот теперь вижу — ты действительно не на словах только. А то ведь нынче всяких много: строит из себя этакое... пролетарского, а сам шелковым платочком нос зажимает...

С о с у л и н (*торопливо прячет платок*). Где... где мои очка?

Л ю б а. Вот... они на столе были, вы их ведь под салфетку засунули.

С о с у л и н (*надев очки, в ужасе смотрит на Дарью*). Вы? Я... я... нет! Это же...

Ч у п я т о в. Ну, ничего, нечего конфузиться. Поздравляю. Это, брат, здóрово!

Д а р ь я (*обнимает Сосулина*). Ах ты... цыплок ты эдакий!

Ч у п я т о в. Вот это — да: это — поглядеть приятно! (*Дарье*). Вас... как звать-то?

Д а р ь я. Дарьей кличут.

Л ю б а. Она у нас пятый год живет...

Ч у п я т о в. Так, так... Она — что же у вас: вроде...

М а л а ф е й И о н ы ч (*подбегает*). Это... это, товарищ Чупятов... э-э... моя тетя.

Ч у п я т о в. Но-о? А я думал...

М а л а ф е й И о н ы ч. Она... тетя, можно сказать, от сохи... от сохи — да. Она в деревне жила...

Д а р ь я. Ну, кому тетя, а кому...

Ч у п я т о в. А я думал — прислуга.

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет, что вы, что вы, товарищ Чупятов, я не... не эксплуатирую... Она, конечно, помогает, то-сё... но это, как говорится, для семейного удовольствия. А только она — тетя, ей Богу, тетя! Тетя милая, что же ты ничего не скажешь?

Л ю б а. Это она — с радости: замуж выходит. Вот товарищ Сосулин ей предложение сделал.

(Превосходный, Каптолина Пална, Унтер Иваныч, Доктор и Илья подходят).

М а л а ф е й И о н ы ч. Пре... предложение? Ей?

К а п т о л и н а П а л н а. Кому? Дашк... *(Осеклась. Малафей Ионыч ее ущипнул).*

П р е в о с х о д н ы й. Кто? Товарищ Сосулин? Нет: Глупство!

С о с у л и н *(умоляюще)*. Люба — вы же знаете... Вы же видели, как все это...

Л ю б а. Ну, да: конечно, видела — потому и говорю.

Ч у п я т о в. Ну уж чего там: дело решенное, поздравляйте. *(Переходит с балкона в столовую, за ним — остальные).*

М а л а ф е й И о н ы ч. Спасибо, товарищ Чупятов! *(Дарье)*. Поздравляю, тетя дорогая — поздравляю!

Д а р ь я. Тетя? Ну, насчет тети — это мы еще поговорим! Ты мне сперва...

М а л а ф е й И о н ы ч *(перебивая)*. Это мы — потом, тетя, это мы потом... Поздравляю, поздравляю... Госп... товарищи! Поздравляйте! Капа! Капа!

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Чтоб я...

М а л а ф е й И о н ы ч *(тихо)*. Улыбайся, улыбайся, дура! Поздравляй, ну?

К а п т о л и н а П а л н а. Поздравляю.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, да: и я — тоже.

С о с у л и н *(поздравляющим)*. Но позвольте... я... это же очки! Господа... это же... это же фантастика!

И л ь я. Привыкайте, привыкайте, ничего!

Г о л о с з а о к н о м *(не то птичий, не то еще какой-то)*. Уй! Уй! Уй!

(Илья выглядывает за окно).

У н т е р И в а н ы ч *(Сосулину)*. Моя жена — тоже, как ваш колоссаль. Я очень рад.

М а л а ф е й И о н ы ч *(пожимая руки)*. Спасибо, спасибо. Все-таки знаете, тетя... С глубокого детства... она мне по матери.

Д а р ь я. Кто? Я? Ты это что на меня... Да чтоб я...

М а л а ф е й И о н ы ч *(перебивает)*. Тетя... тетя милая — еще раз! Ну — все, все поздравили?

И л ь я. Нет, еще не все... *(Выглянув в окно)*. Уй!

Г о л о с з а о к н о м. Уй! Уй!

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(быстро входит в столовую. Это — антропид, однако по всем видимостям, не нынче-завтра, он станет антропос-человек. На нем трусики, рыжие туфли, воротничек, галстук; остальное — заменяет шерсть)*.

К а п т о л и н а П а л н а *(вцепляясь в Превосходного)*. Ой! Ой! Ой!

Д а р ь я. Ну, и мырдишша!

(Малафей Ионыч, Превосходный, Унтер Иваныч, Сосулин — онемели).

Д о к т о р. Уважаемые товарищи! Честь имею вам представить Африканского гостя.

З а н а в е с

ЧАС ТРЕТИЙ

Балкон, три дерева. Дверь с балкона в столовую закрыта. Сквозь стекло видно: все — около Африканского гостя. Малафей Ионыч кланяется, приглашая его к столу, вдруг Африканский гость перескакивает через стол и вылетает на балкон, за ним — Илья.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(что-то бормочет невнятно, нагнувшись к Илье)*.

И л ь я. Так, так, так... Понимаю: вам жарко. Так чтобы здесь — на балконе... Еще что?

Африканский гость *(продолжает тихо бормотать что-то Илье)*.

Илья. Что? Клочек бумажки? Вот ч-чорт... Нету! *(Высунувшемуся в дверь Малафеею Ионычу)*. Да, уйдите вы!

Малафеею Ионыч. Как — уйдите? Я — можно сказать, — хозяин... Я не могу — я волнуюсь...

Илья. Да ему надо... ну, понимаете? Кусочка бумажки у вас нету?

Малафеею Ионыч. Бумажки? Сию-сию-сию минуточку! *(Открывая двери)*. Граждане... Бумажки им требуется кусочек... понимаете? Нашему дорогому гостю — бумажечки!

Сосулин. Вот... с моими стихами.

Превосходный. А у меня — даже ничем не пачканная.

Малафеею Ионыч *(передавая Илье бумагу)* может, мне... вроде... помочь им? Так это я могу, с удовольствием!

Илья. Да уйдите вы! Ну как вы можете помочь? *(Захлопывает дверь, передает Африканскому гостю карандаш)*.

(Африканский гость сбегает с балкона вниз, там пишет записку. На балкон выходит Каптолина Пална, Превосходный, Малафеею Ионыч и Доктор).

Малафеею Ионыч. Ну, что, что? Где он?

Илья. А вон там — в кустиках.

Малафеею Ионыч. Спасибо, Илья Петрович, спасибо! Мы на кустике табличку повесим, что, мол, здесь такого-то числа и года наш дорогой Африканский гость...

Илья. Это уж вы — завтра, а сейчас вот что: он просил, чтобы ужин здесь, на балконе.

Малафеею Ионыч. Госп... да хоть на крыше! Сейчас, сейчас, сейчас... *(Убегает в столовую)*.

Превосходный. А почему — на балконе?

Илья. А он, понимаете, у себя там привык на воздухе. Он говорит, что в комнате долго не может.

Превосходный. То-есть, как это — «говорит»?

Доктор. Ну, вот — опять двадцать пять! Я же объяснял, что англичане их язык уже открыли.

Илья. Ну да. И я, пока с ним ехал, подучился — почти все понимаю.

Превосходный. Извиняюсь: а он по-русски может слышать... то-есть понимать?

Каптолина Пална. *(Тихо)*. Ой... Казимир Казимирович... Я вам говорила!

Илья. Не-ет! По-русски он — ни папы, ни мамы. Это можете быть покойны.

Превосходный *(облегченно)*. Фу-у! Ну, вот это хорошо. То-есть, оно не хорошо, но принимая во внимание... э-э... например, случаи из личной жизни...

Илья *(Каптолине Палне)*. Ну, идемте: я вам помогу сюда все перетащить...

(Уходят: Илья, Каптолина Пална и Доктор. Превосходный остается. На балкон вбегает Сосулин и минутой позже снизу поднимается Африканский гость).

Сосулин *(на Африканского гостя)*. М-м-м... А он?

Превосходный. Ну, ешли между нами, приватнэ — так это не обезьяна, и даже доктор только что научно подтвердил, что он по-русски ни отца, ни мать не понимает. *(Подошедшему ближе Африканскому гостю)*. Что морда? Ну, что морда, тебе надо, ну? Брысь!

(Африканский гость отбегает, садится на перила).

Сосулин. Смотрите! А вы сказали, что он по-русски не говорит?

Превосходный. Ну, ешли я скажу кошке — брысь — так она, по вашему тоже по-русски говорит?

Сосулин. Ну, хорошо, — слушайте: я хочу... То-есть, нет, нет — не хочу, ни за что не хочу на этой самой Дарье! Это чорт знает! Я — я иду с ней в Москве по Твер-

ской, или под руку с ней вхожу в ресторан... Скандал, фантастика! Что будут говорить — вы только подумайте, вы подумайте!

Превосходный. Ну... будут говорить, что вы — лицом к деревне. Это же для вас хорошо.

Сосуллин. Позвольте, позвольте! Мои орудия производства — перо и бумага, на бумаге я готов — лицом к чему угодно. Но тут, извините: тут уже не на бумаге, это я — не могу... Ни за что! Да я просто боюсь ее! Ну, спасите меня, ну, придумайте что-нибудь, я ничего не в состоянии, — у меня сейчас голова совсем... без очков...

Превосходный. Ну, хорошо, хорошо, не волнуйтесь. Мое фамилие — Превосходный, и я за вас на все сто процентов — и вы можете спокойно не волноваться.

Сосуллин. Спасибо, спасибо вам... Я сразу почувствовал в вас что-то такое... родное...

Превосходный. Ну да: я тоже жил в Москве три недели... Это же, знаете, город... Пфа! *(Уходят)*.

(Открывается дверь на балкон, Африканский гость сбегает вниз. Входит Илья, несет стулья).

Африканский гость *(Илье)*. С-с-с! *(Илья подходит, Африканский гость сует ему в руку записку и шепчет что-то на ухо)*.

Илья. Что? А-а понял-понял: чтоб никто не видал! Ладно, будьте спокойны!

(Малафей Ионыч и Доктор вносят на балкон стол; Сосуллин и Унтер Иваныч — с блюдами. Превосходный несет стаканчики).

Малафей Ионыч. Товарищ Превосходный... да что это, что это вы! Не утруждайтесь, как же это можно!

Превосходный. Нет, почему? Хотя моя специальность умственная, но я напротив физического труда не возражаю...

(Дарья поднимается на балкон с веником).

Малафей Ионыч. Те...те-тетя!

Доктор. А-а! Товарищ невеста! Вот он, вот он, твой — вон стоит...

(У Сосулина опускаются руки, блюдо—на пол, вдребезги).

Дарья. Да ты что же это, а? В очки, как в тарантас запрөгся, а под носом не видишь? Прибирай теперь за тобой! Ну, что молчишь, полтинники свои вытаращил?

Сосулин. Я... я больше не буду... Я сам приберу...

Дарья. Пус-сти, не суйся... родимец окаянный!

Малафей Ионыч. Тетя... тетя!

Унтер Иваныч. Какой голос, очень хороший!
(Сосулину). Поздравляю.

Чупятов *(входит)*. Ну, Малафей Ионыч, уж постарайся для гостя, покажи себя... в натуральную величину.

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов, уж будьте спокойны: именно — в натуральную величину! Вот сейчас Любаша с Капой фонарики принесут, мы тут для нашего народного торжества фонарики развесим... Китайские, товарищ Чупятов! Можно сказать, против японского империализма... и вообще...

(Снизу на балкон поднимается Африканский гость).

Малафей Ионыч. Ой... вот он, вот он — дорогой наш африканский... Пожалуйста, пожалуйста! Сделайте милость! *(Кланяется Африканскому гостю, тот отвечает поклоном в пояс, Малафей Ионыч — тоже в пояс, Африканский гость в ноги, Малафей Ионыч тоже в ноги. Потом смущенно оглядывается на Чупятова).* Хи-хи-хи! Э... ты... в смысле физкультуры.

Чупятов. Н-да! Физкультура — старинная.

Африканский гость. Ррмит... клим... аррэду-эк, ррэд, уэк... И, га!

Малафей Ионыч *(Илье)*. Что-й-то... что-й-то он? А?

Илья. Он говорит, что очень доволен. Видал, говорит, таких, что редко...

М а л а ф е й И о н ы ч. Спасибо, дорогой наш... Как «спасибо» по-ихнему, Илья Петрович?

И л ь я. И, га.

М а л а ф е й И о н ы ч. Дорогой наш Африканский гость, позвольте вам от души ига...

(Входят Каптолина Пална и Люба с фонариками).

Л ю б а. Ну, кто у вас тут дежурный фонащик? Вешайте.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(Илье)*. Огег... и, заи, заи! *(тычет его в руку, в которой Илья держит записку).*

И л ь я. Дай-ка, Люба, повешу... *(Берет у нее фонари, сует ей в руку записку).*

(Люба отходит в сторону).

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(отвлекая от нее внимание остальных — Илье)*. Уй-ойо-эрро-хриа... Уэк! Уэк!

(Красноречивыми жестами демонстрирует влезание на дерево).

М а л а ф е й И о н ы ч *(Илье)*. Чего... чего это им желается. Вы нам только переведите, а мы, все, все — с удовольствием!

И л ь я. Он говорит, чтоб фонари на деревья повесить. Они у себя на деревьях сажают светляков таких... тропических...

Ч у п я т о в. О-о, вот это красота будет!

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Какой это дуррук туда полезет?

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Дырр-уэк-ифа... Пупусь! Пупусь! Пупусь! *(Взял фонарики у Ильи, сует один Превосходному, другой Малафею Ионычу, третий — Сосулину).*

П р е в о с х о д н ы й. В чем дело? Я извиняюсь!

И л ь я *(Превосходному, Малафею Ионычу и Сосулину)*. Он просит вас, вас и вас повесить их на деревьях.

М а л а ф е й И о н ы ч. Илья Петрович, Илья Петрович! Я... я боюсь! Нельзя ли как-нибудь... Увольте!

Доктор. Ну, вот. То говорил — «физкультура», «физкультура», а теперь — «увольте»!

Илья. Вы, может, за умерщвление плоти — вместе с церковниками?

Малафей Ионыч. Нет, что вы, что вы! Я... я отрекся, я — против. Я полезу. *(Уныло)*. С удовольствием.

Превосходный. Ну, а я так извиняюсь: я не полезу. Чтобы мне для какой-то паршивой обезьяны на дерево влезать? Не-ет!

Доктор. Уж сразу и «паршивая обезьяна»! Я же говорил вам...

Превосходный. Извиняюсь: но это же низшее существо. У него же шерсть... всюду.

Чупятов. Шерсть! Ты на шерсть не гляди: может, он под шерстью — не хуже кого другого. Этак и негр, что он весь черный, так тоже, по-твоему низшее?

Малафей Ионыч. Спасибо, товарищ Чупятов, спасибо! Верно! Ручку позвольте!

Превосходный. Товарищ Чупятов, я уже отмежевался от своих слов, и я согласен на дерево.

Илья *(Сосулину)*. А вы?

Сосулин. Я... я...

Дарья *(грозно)*. Ле-езь! Слышишь?

Сосулин *(поспешно)*. Я — куда хотите... куда хотите...

Илья. Bravo! Итак, открывается первая в нашем городе олимпиада. Товарищи-атлеты — слушай команду! Раз... Два... Три!

(Олимпиада началась, три атлета, кряхтя и охая, лезут на деревья).

Доктор. Так-так-так, граждане! Работай, работай!

Каптолина Пална. Ой... Казимир Казимирыч, там гвоздь! Гвоздь! Напоретесь!

Дарья *(Сосулину у которого ничего не выходит)*. Лезь, лезь, паралик, лезь!

Сосулин (*лезет снова, с отчаянием, опять сорвался, очки упали, он наступил на них ногой*). Очки! Я... я теперь ничего не могу... Я пропал...

Малафей Ионыч. Ой... Ой... Госп... Ой!

Доктор. Вали-вали-вали! Немного осталось!

Малафей Ионыч. (*Наверху дерева, нацепив фонарь*). Ф-фу! (*Крестится*).

Африканский гость (*показывая на него*). Ар-рру-ру-ру. (*Хохочет по-обезьяньи*).

Доктор. Вот оно, когда выскочило настоящее-то! Ха-ха-ха!

Чупятков. Э-э, брат. Что же это ты? А?

Малафей Ионыч (*сверху*). Товарищ Чупятков... товарищ Чупятков... Я же это — антирелигиозно... ну, вот ей Бо... Ой, бок прокололо! Товарищ Чупятков, это же я — для смеху, как бы в виде театра... Вот же... вот же... вы же смеетесь. И дорогой наш... африканский — смеется... Спасибо... спасибо... (*Быстро спускается*).

Превосходный (*тоже повесил фонарь, спускается, с опаской поглядывая вниз*). Ой! (*Задел за гвоздь треск разорванной материи*). Что это такое? Вы слышали? Что это такое? (*соскакивает*).

Каптолина Пална. Я вам говорила: гвоздь... Вот штанами и пострадали.

Дарья. Располосовал-то! Батюшки!.. ой (*Хохочет*).

Африканский гость. Уи! Уи! Уи! (*Дергает оторванный лоскут*).

Превосходный. Нахал! Пся крив! Я тебя сейчас...

Илья. Перевести?

Превосходный. Нет-нет, это я — не для перевода, это я так — приватнэ... Не переводите.

Люба. Ой, я лопну от смеха — я не могу больше, я не могу. (*Вытаскивает платок — вытереть глаза, из кармана выпадает записка, Превосходный ее поднимает. Тихо — ему*). Отдайте... отдайте сейчас же! Не смейте читать! Слышите?

Превосходный *(быстро пробежав записку, тихо Любе)*. А-а... То вот как? *(Прячет записку)*. Ну, теперь он у меня уже тут... *(Похлопывает себя по карману)*.

Каптолина Пална *(подходит)*. Ничего, ничего, дайте я вам булавочкой заколю. Это даже хорошо: это к мальчику.

Превосходный. То-есть, как — к мальчику?

Каптолина Пална. Ну да: брюки разорвать — это, говорят, мальчик родится.

Люба. Казимир Казимирович!

Каптолина Пална *(занятая реконструкцией брюк, Любе)*. Вот-ще! Пусти! Уходи отсюда, слышишь?

Превосходный *(Любе, ядовито)*. Мне даже неловко, знаете... Вы же девушка, а это — брюки... Вам лучше уйти.

Люба *(проходя мимо Ильи)*. Илюша. *(Спускается с балкона, Илья — за ней)*.

Илья. Ну, Люба. Что же ты молчишь? Что случилось?

Люба. Дура! Дура! Сама — своими руками!

Илья. Да что такое?

Люба. Записка...

Илья. Ну?

Люба. Я ее выронила. Превосходный... она у Превосходного. Он ее прочитал...

Илья. Эх, ты: все провалила! Теперь он нам покажет! Хоть бы успеть деньги из папаши твоего вытянуть — на билет в Москву.

Люба. Да, как же, вытащить из него!

Илья. А вот мы на этот счет с Дарьей поговорим. Пошли-ка ее ко мне... Не надо, не надо: вон она сама идет... *(Дарья появляется с самоваром. На балконе в это время заканчиваются приготовления: зажигаются фонари, ставятся на стол блюда. Африканский гость всюду — первый активист)*.

Малафей Ионыч *(с балкона)*. Люба! Илья Петрович! Да где же вы там? Идите.

Люба. Сейчас... *(Поднимается на балкон, Илья что-то тихо говорит Дарье).*

Малафей Ионыч. Унтер Иваныч! А вы — что же? Вот стульчик, стульчик для вас...

Унтер Иваныч. Нет-нет! Я — нет!

Малафей Ионыч. Что вы, что вы, Унтер Иваныч! Вы, можно сказать... музыкальный вождь — без вас никак нельзя.

Унтер Иваныч. Я поздний — боюсь моя жена сегодня очень неудобренная.

Малафей Ионыч. Как, как? Жена — неудобренная? Хи-хи-хи!

Превосходный. Хо-хо-хо!

Чупятов. Нехорошо, товарищи. Что это, в самом деле! Напали на немца...

Малафей Ионыч. Товарищи, стыдно! Да как же это можно, а? Это называется антисемитизм против немцев. Я протестую! Я... *(Дарья приносит самовар).* Те... тетя дорогая! Вот спасибо! Ты садись с нами, тетя, садись. *(Чупятову)* Она — сядет, она сейчас сядет... Тетя!

Дарья. Тетя? Ну, это мы еще поглядим!

Малафей Ионыч. То-есть... че... чего поглядим?

Дарья. Знаю я тебя! Наобещаешь, а потом... Вот как возьму сейчас при всех...

Малафей Ионыч *(торопливо)*. Нет-нет, тетя... я сам возьму, ты не беспокойся. *(Вскакивает)*. Товарищ Чупятов, — она, понимаете... У ней — это самое... нерв расстроен... Я — сейчас. Тетя — на минутку! *(Гостям)*. Я — сейчас, сейчас. *(Сбегает с балкона, Дарья идет за ним, оба скрываются за углом дома).*

(Каптолина Пална разливает чай).

Превосходный. Да-да-да, товарищ Любочка, да. Теперь вы у меня — тут! *(Похлопывает себя по карману слева. Тихо)*: Но мы с вами можем сговориться, и ешли, например, вы зайдете ко мне завтра домой... при-

ватнэ... *(Берет ее руку, Люба вырывает, вскакивает из-за стола).*

Африканский гость *(наблюдавший эту сцену, хватаяет со стула гитару, дает ее Илье).* Тырр-мзэт-уи, мзэт-уи... Уэк!

Илья. Он — насчет музыки. Как, граждане?

Чупятов. Об чем речь? Работай!

(Илья наигрывает и что-то тихо говорит Африканскому гостю. Из-за угла выходит Дарья, за нею — Малафей Ионыч).

Малафей Ионыч. Дарья... Дарья Матвеевна! Тетя дорогая, разве я отказываю? Господи...

Дарья. А не отказывайся — так плати мне сейчас за тетю за год вперед. По пять рублей в месяц — это выходит шестьдесят.

Малафей Ионыч. Шесть червонцев? Сейчас? Ах, ты мерзав...

Дарья. Ну, ладно! Ты у меня родишь ежа против шерсти! Вот как выложу сейчас при всех, как ты меня в тетки нанимал...

Малафей Ионыч. Те... тетя дорогая! Ради Хри... Тетя — я согласен.

Дарья. Ну, давай.

Малафей Ионыч *(отсчитывает, дает Дарье деньги).* Вот...

Дарья *(взглянув).* Три.. Так. Еще три давай. Поживей, племянничек, поживей!

Малафей Ионыч. На! Сстер...

Дарья *(грозно).* Што-о?

Малафей Ионыч. Стер... Стерпеть все надо, все — стерпеть... Христос терпел — и нам велел.

Дарья. Ну, то-то! Терпи!

(Малафей Ионыч уходит на балкон. Дарья пересчитывает деньги).

Илья *(с балкона).* Тетя Даша, где же ты застряла? Тут без тебя жених соскучился... *(сбегает вниз к Дарье).*

Сосулин (*Вскакивает*). Нет-нет. Я... я... не соскучился.

Дарья (*сует деньги, Илье*). Выручила. На, отдай Витьке... Ой, была потеха!

Илья. Спасибо тебе, Дашенька. Век не забудем (*идут на балкон*).

Чупятков (*навстречу Малафею Ионычу*). Что-й-те ты, Малафей Ионыч, будто расстроен чем-то, а?

Малафей Ионыч. Нет, что вы, товарищ Чупятков! Как можно... гости... Гости такие дорогие... семья... (*Дарье, поднимающейся на балкон*). Тетя дорогая... (*Сви-репо*). Садись.

Дарья (*усаживается рядом с Сосулиным*). Спасибо, племяш драгоценный, спасибо. Ну-ка, положи мне варенья-то. Клади, клади еще — не стесняйся! Та-ак!

(*Сосулин, озираясь, тихонько отодвигает свой стул, чтобы удрать*).

Африканский гость (*вырастает перед ним*). Огег... ддраша-дрраи. И, уи, уи, И, уи!

Дарья (*Сосулину*). Женишек! Куда? Куда ты?

Сосулин. Я в па... в пальто... Платок в пальто... У меня... н-насморк хронический...

Дарья (*могучим объятием пригвозждает его к стулу*).. Сиди, сиди, сопливенький ты мой! Я тебе нос утру, миленечек — я утру! (*Ситцевым платком вытирает Сосулину нос*).

Илья. Счастливец!

Каптолина Пална. Казимир Казимирыч, а при социализме насморк будет или нет?

Малафей Ионыч (*поспешно ее перебивает*). Капа... Капа... Ты угощай, угощай лучше. Гость-то... гость-то наш дорогой африканский... Илья Петрович, да усадите вы его! (*Африканский гость прыгает в кресло рядом с Любой, Малафеем Ионычем — ему*): Ой! Хвостик свой не прищемите! Хвост... Хвост, говорю!

Африканский гость. Хх-вост... ррр-уик!

М а л а ф е й И о н ы ч *(в восторге)*. Гос... граждане! Товарищ Чупятов! Доктор! Да он слова произносит! Наши! А? Так мы же его по-нашему выучим!

Д о к т о р. И очень просто. Пройдет какой-нибудь год, два и все поймут...

М а л а ф е й И о н ы ч. Да нет, что — год! Мы — сейчас... Ну-ка Х-вост. Ну? Х-вост.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Ррр... ост.

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет-нет: ...Х-вост.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Ррр... х-вост. Пррро-хвост. Прррохвост.

И л ь я. Очень интересно выходит. Ну-ка еще попробуйте.

М а л а ф е й И о н ы ч. Нет, что уж их затруднять... пускай уж они покушают сперва... Товарищ Сосулин, будьте настолько... около вас рачки — передайте им.

С о с у л и н. Что? Ах, да... рак. Вот... *(Передает)*.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Ррр-рак. Урр... дд... рак. Дуррррррак. *(Тычет рака Превосходному)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Слышали? Слышали? Замечательно!

П р е в о с х о д н ы й. Ну, ешьли так, так уж довольно. Я скажу, что ничего замечательного нет, и я имею на то факт... Тут *(похлопывая себя по карману слева, что в равной мере может быть отнесено, как к спрятанной записке, так и к Превосходному — его сердцу)*.

М а л а ф е й И о н ы ч. Товарищ Превосходный... что такое? Какой факт? Госп...

П р е в о с х о д н ы й *(На Любу)*. То пока есть еще наша тайна, хотя, я разумею, мы с ней уже сговорились.

М а л а ф е й И о н ы ч. Так, значит, вы с ней... Госп...да я! Товарищ Превосходный... спасибо! Товарищ Превосходный, дорогой — век за вас буду... это самое...

Л ю б а *(Превосходному)*. Слушайте... Если только вы...

Превосходный. Для вас, товарищ Любочка, могу и подождать, ешлы вы имсете уже рыбку на крючке, то разве надо спешить?

Унтер Иванныч. О, да! Ман мус долго тасковать, тасковать, а потом — эйн!

Превосходный. Ну, да. И ежели еще такая превосходная рыбка... *(На Любу)*.

Люба *(молча вскакивает и бежит вниз с балкона)*.

Малафей Ионыч. Хи-хи-хи! Законфузилась! Ничего, привыкнет.

Африканский гость. Ллю... Ллю... Арр-уан! Уаи! *(Догнав Любу на ступеньках, хватает ее и несет ее на балкон)*. Аррр-уаи! Уаи!

Чупятов. Малафей Ионыч, ты гляди, гляди.

Доктор. Темперамент — африканский, очень понятно.

Малафей Ионыч *(поглядывая на Чупятова, неопределенно)*. Н-да... можно сказать действительно.

Сосулин *(вскакивает)*. Я не могу! Я с ума сойду!

Дарья *(сажает его)*. С чего хочешь сходи, а с места не сойдешь, не-ет!

Сосулин *(Малафею Ионычу и Каптолине Палне)*. Как вы можете? Какая-то образаина... обнимает вашу дочь, а вы...

Доктор. Позвольте: «образина»! Вы можете прочитать в последних английских работах...

Илья *(потрясая газетой)*. Ну, да вот: вы же сами читали. А как нас в Одессе... Да что — в Одессе! Вот он завтра со мной в Москву поедет — по приглашению разных научных обществ.

Чупятов. А что же — и поедет. Это уж я ему устрою. Денег-то на билет хватит?

Илья. Да ему только захотеть — денег у него прямо... килограммы будут. Да, Малафей Ионыч: килограммы!

Унтер Изаныч. Боже ты мое!

М а л а ф е й И о н ы ч. Так... так, значит, он... так это же выходит...

А ф р и к а н с к и й г о с т ь (*неожиданно обнимает и целует Любу*).

Л ю б а. Ой!

Д о к т о р. Да, конечно, выходит — ты гляди, гляди. (*На Любу и Африканского гостя*).

М а л а ф е й И о н ы ч. То-есть, вы хотите сказать... это самое...

Д о к т о р. Во-во-во! Это самое. А для науки-то... Да для науки тут, может, может прямо революция будет!

Ч у п я т о в. Наука — это первое дело. Верно, товарищ доктор.

И л ь я. И вот что еще учтите: если вы, Малафей Ионыч, согласитесь — так ведь про вас вся Москва заговорит, вы сразу — взлетите!

М а л а ф е й И о н ы ч (*охорашивается*). Да уж... я бы это самое — конечно... в натуральную величину.

Д о к т о р. Ну, так отдавай за него Любу — чего ж долго думать.

М а л а ф е й И о н ы ч (*косясь на Чупятова*). Да я... собственно...

Ч у п я т о в. А что, Малафей Ионыч, правда, а?

М а л а ф е й И о н ы ч. Товарищ Чупятов, да если вы только... Да... Да я — с радостью! Для науки-то? Госп... Да наука для меня — вроде рели... ре... рельсы по которым мы, как один... до последней капли...

Ч у п я т о в. А особенно, если на этих рельсах — денег килограммы... а?

М а л а ф е й И о н ы ч (*увлекшись*). Да... килограммы. Килограммы... а?

К а п т о л и н а П а л н а. Ну, а я несогласна.

М а л а ф е й И о н ы ч. Капа... Капа!

К а п т о л и н а П а л н а. Вот-ще! Чтоб я свою дочь за какую-то... (*Щипок Малафея Ионыча*). Я... я сама.

Д о к т о р. Что — сама?

Каптолина Пална. Ну... для науки. Очень даже интересно.

Доктор. А это уж надо его спросить *(на Африканского гостя)*, как он. Ну-ка, Илья!

Илья *(Африканскому гостю)*. Арр-кап-тырр-лю... Уэк? Уэк?

Африканский гость. Пакк-уги, га! Пфу! Пфу! *(Плюет)*.

Каптолина Пална. Нахал животный! Казимир Казимирыч, какой же вы кавалер? Вашу даму обчихали, а вы — как колода!

Превосходный *(встает)*. Ну, знаете, это уж слишком черезчур. Довольно! Гэть! Я вам сейчас, уважаемое собрание, все объясню... *(Вытаскивает записку)*. Вы имеете здесь документ...

Чупятов. Да, постой ты, секретарь. Документы — потом. Сядь. Сядь, говорю!

Превосходный *(садится)*. Слушаюсь, товарищ Чупятов. Я могу и потом. И в самый последний момент — это, знаете, будет даже интересней — так, ровно как в театре. *(Африканскому гостю)*. Что на то скажете, молодой человек?

Африканский гость. Ига! Барр-анга! Гррымз-обупфф-тырр... Уэк! Уэккх-ли!

Илья *(Превосходному)*. Он очень благодарен и говорит, что у него был дядя, как две капли воды похожий на вас.

Африканский гость *(на Любу)*. Арр-уэк-лю... их. Гог!

Илья. Он хочет, чтобы спросили Любу, как она сама — согласна за него или нет.

Малафей Ионыч *(предостерегающе)*. Люба!

Люба. Ну, конечно... *(Африканский гость дергает ее за рукав)*. Конечно — не согласна. Я обещала Витьке... Жудре.

М а л а ф е й И о н ы ч. Ну, не-ет! Насчет Жудры — это уж позволю себе... нюанс из трех пальцев. (*Показывает фигу*). Да-с!

А ф р и к а н с к и й г о с т ь (*свирепо*). Прррр-ембрррр-уэк-ать! Ать!

И л ь я. Это он, извиняюсь, Витьку... последними обезьяньими словами кроет.

М а л а ф е й И о н ы ч (*Любе*). Вот видишь, видишь! И он тоже — как я — сразу раскусил, что это за птица такая — Жудра... Ну, Люба, я тебя прошу — для науки. Для науки, Любаша!

Д а р ь я. Так, так, племяшь! Проси, проси, кланяйся! С о с у л и н. Нет! Нет! Люба!

Л ю б а (*Малафеею Ионычу*). Так ты настаиваешь, чтоб я согласилась?

М а л а ф е й И о н ы ч. Я тебя кратко прошу... можно сказать, как старший отец.

Л ю б а. Ну, хорошо: для науки — я согласна.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Урр-уи! Уи! Уи!

И л ь я. Молодец, Люба! Выдержала экзамен!

Ч у п я т о в. Ну, Малафей Ионыч, куй железо пока горячо. Загсовая книга у тебя, кажись, тут, дома?

М а л а ф е й И о н ы ч. Как же, как же товарищ Чупятов, дома. Я и дома, можно сказать, сверхурочно... в поте лица своего, как заповедал нам Госп... наш вождь...

Ч у п я т о в. Какой вождь?

М а л а ф е й И о н ы ч. Э-э... как его...

Ч у п я т о в. Ладно: некогда — потом вспомнишь. Неси скорей книгу — сразу две пары и запишешь... по конвейеру.

М а л а ф е й И о н ы ч. Слушаюсь, товарищ Чупятов! Сейчас-сейчас-сейчас. (*Уходит*).

Д о к т о р. Вот это я понимаю! Это — ударная система! Ну, ребята, целуйтесь!

(*Люба и Африканский гость целуются*).

Унтер И в а н ы ч. Хии! Хии! Хии!

И л ь я. Ур-ур-а!

П р е в о с х о д н ы й. Ну, знаете, это ваше ура вы еще подождите, да. Еще неизвестно, ура или напротив не ура...

Д о к т о р. Обе... обе пары! Товарищ Сосулин, поэт — вы что же нахохлились? Пора бы вам...

С о с у л и н. Да, пора! Довольно. *(Декламирует)*:

Расправлю могучие плечи —
Как Разин, как Пугачев...

Д а р ь я *(чуть надавила — он плюхнулся на стул)*. Сиди уж... цыплок недосиженный. Туда-а же: Пугачев!

С о с у л и н. Товарищ Превосходный... товарищ Превосходный — вы же мне обещали!

П р е в о с х о д н ы й. Один момент — один момент, уважаемый — и, як пана бога кохам, вы увидите, что такое есть Казимир Превосходный. Моя бомбочка — еще тут. *(На карман)*.

К а п т о л и н а П а л н а *(показывает на Африканского гостя)*. Ой, Казимир Казимирыч... как он на вас смотрит. У меня опять даже пульс начался.

П р е в о с х о д н ы й. Где... где — пульс?

М а л а ф е й И о н ы ч *(входит с книгой. Служебным тоном)*. Прошу граждан соблюдать тишину... *(Сосулину)* и на столах не разлагаться... гражданин! Будьте любезны. Граждане, вступающие в брак, прошу предъявить ваши документы.

Ч у п я т о в. Да ну тебя! Ты еще у своей дочери будешь спрашивать — чья она дочь. Записывай, не трать время зря.

М а л а ф е й И о н ы ч. Слушаюсь, товарищ Чупятков. *(Записывает)*. Любовь Малафеевна... двадцати двух... дочь... м-м-м... Так. А-а... а как же у них-то? *(на Африканского гостя)*.

П р е в о с х о д н ы й. Да-да-да! Ваш документ, пан, ваш документ! Ага-а! вам не по нраву?

С о с у л и н. Ага-а!

Л ю б а. Илюша! Илюша! Скорей же... что-нибудь...

(Пауза. Доктор и Илья совещаются шепотом).

Д о к т о р. Я удостоверяю его личность.

И л ь я. Я — тоже.

Ч у п я т о в. Правильно! Закон! Удостоверения двух граждан по нашему закону довольно.

М а л а ф е й И о н ы ч. Спасибо, товарищ Чупятков! *(Любе и Африканскому гостю)*. Бракосочетающиеся, распишитесь потом здесь *(показывает место в книге)*. Следующие! *(робко)*: Те... тетя... *(Чупяткову)* э... это тетя... я знаю, я знаю. *(Торопливо записывает)*. Дарья... Матвеевна... тридцати...

Д а р ь я *(быстро села на пол, разулась, извлекла из башмака документ — и на стол)*. Вот! На тебе!

М а л а ф е й И о н ы ч. Да нет, тетя... за... зачем же... Я и так... я и так...

Д а р ь я. Чего там — так! Я не какая-нибудь половинкина дочь и не буржуйка, я не боюсь!

Ч у п я т о в *(через плечо Малафея Ионыча взглянул на документы)*. Э-э! Расчетная книжка?

М а л а ф е й И о н ы ч *(торопливо пряча книжку)*. Э... это, товарищ Чупятков, не по тете расчетная... это по ихней другой специальности... Я... я уже записал, теперь вот их надо... *(На Сосулина)* они волнуются...

И л ь я *(вместе с Африканским гостем держит вырывающегося Сосулина)*. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, товарищ!

С о с у л и н. Пус... Пустите!

М а л а ф е й И о н ы ч. Прошу соблюдать тишину. Ваш документ, гражданин.

С о с у л и н. Он... д-д-дома... Пустите!

М а л а ф е й И о н ы ч. Тогда будьте добры — устные... ваше социальное положение? Родители?

С о с у л и н. Родители?

М а л а ф е й И о н ы ч. Ну-да: родители у вас — кто были? Будьте добры.

С о с у л и н. Ро... родителей... не было.

М а л а ф е й И о н ы ч. То-есть... как не было?

С о с у л и н. Не было! Не было! Ничего не было! Пус... пустите! Товарищ Превосходный!

(У Превосходного в это время оживленный диалог шепотом с Каптолиной Палной, они переходят на другое место. Сосулин, вырвавшись, тычется в пустой угол, потом кидается к Чупятову).

С о с у л и н *(Чупятову — тихо)*. Товарищ Превосходный... я не хочу! Вы же мне обещали! Я не хочу!

Ч у п я т о в. Что такое? Что — не хочу?

С о с у л и н. На какой-то мужичке! Это же чорт знает! Мой отец был в Сенате, а я... Нет, это же немыслимо! Фантастика, чепуха.... тут все с ума сошли — вся Россия с ума сошла...

Ч у п я т о в. Вот ка-ак?

С о с у л и н. Только вам... только вам это говорю... вы же понимаете. Вы же мне обещали. Ведь вам только два слова сказать этому самому типу... Чупятову...

Ч у п я т о в. А я этот самый тип и есть.

С о с у л и н *(В ужасе)*. В-в-вы? Чу... Чу...

Ч у п я т о в. Я.

С о с у л и н. Э... это не вы.

Ч у п я т о в. Нет, я — это я. А вот вы — действительно не вы.

С о с у л и н. То-есть... как?

Ч у п я т о в. Так. Хорош... революционный! Редиска ты — да еще трухлявая. Нам, брат, таких не надо.

С о с у л и н. А-а-ай! *(Присев, как заяц, опрорхивает и убегает вниз с балкона, исчез)*.

Д а р ь я *(вслед)*. Погоди, погоди... жених!

И л ь я. А-лля-ля-ля!

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Рру-рру-рру!

У н т е р И в а н ы ч *(когда хохот затих — Чупятову)*. Русский — странны. Варум — почему вы звал его редия? Редия — это вкусны, а он — невкусны.

Ч у п я т о в. Да уж, это верно, что невкусный.

У н т е р И в а н ы ч. О да! Пфуй!

Ч у п я т о в. Вот именно. Ну, одна пара еще осталась. Расписывайтесь скорей — и конец.

Д о к т о р. Конец благополучный, вот это я люблю.

П р е в о с х о д н ы й. Ну, знаете — благополучный. Пхэ! Это мы еще посмотрим!

К а п т о л и н а П а л н а. Казимир Казимирыч... я боюсь, у меня пульс...

И л ь я. Товарищ Превосходный, да будет вам бузить.

П р е в о с х о д н ы й. Нет, извиняюсь: я должен сказать... Уважаемое собрание, это же все — фигли-мигли, это — комедия. И я имею документ, ктуры, я сейчас вам покажу, наконец, объявлю... *(Вынимает записку, секунду медлит, ухмыляясь)*.

(Люба судорожно ухватилась за Илью).

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(подойдя к Превосходному)*. Аррр-у... Аррр-у.... А вдруг?

П р е в о с х о д н ы й *(обалдев)*. Что?

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(очень ясно)*. А вдруг?

Ч у п я т о в. Ну, какой там еще документ! В чем дело?

П р е в о с х о д н ы й *(растерянно)*. Я... я не знаю... Я — ничего...

А ф р и к а н с к и й г о с т ь *(подбегает к Малафею Ионычу, нагибается к нему — явно сейчас заговорит)*.

К а п т о л и н а П а л н а. Казимир Казимирыч... Казимир Казимирыч... Не надо!

П р е в о с х о д н ы й. Малафей Ионыч... я — ничего. Я — ничего. Як пана бога кохам, ничего!

М а л а ф е й И о н ы ч. Что ничего? Дорогой товарищ Превосходный... Капа... Что такое?

Ч у п я т о в (*Превосходному*). Ну, давай, давай сюда документ твой.

П р е в о с х о д н ы й. Э-э-это не документ... Это бе-бе-белье...

Ч у п я т о в. Да что ты говоришь? Какое белье?

П р е в о с х о д н ы й. Это... это есть счет от прачки... Хе-хе-хе! Это я, извиняюсь, пошутил... як пана бога кохам.

М а л а ф е й И о н ы ч. Хи-хи-хи... Спасибо, товарищ Превосходный!

Л ю б а. Ну, знете, за такие шутки...

П р е в о с х о д н ы й. Хе-хе-хе... Товарищ Любочка... Это же я — для волнения, как в театре... И вы же все равно имеете благополучное окончание, вам же только расписаться вашим фамилием...

М а л а ф е й И о н ы ч. Пожалуйста, пожалуйста, граждане — прошу расписаться. Вот тут... (*Люба расписывается*). А... а... как же они? (*на Африканского гостя*). Могут... это самое?

И л ь я. О чем речь? Конечно — могут. Я же его научил.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь. Н,га! Н,га! (*Пожимает руку Илье, расписывается в книге и быстро ее захлопывает*).

М а л а ф е й И о н ы ч. Позвольте, позвольте...

И л ь я. Чего там ! Готово! Музыку... Унтер Иваныч! Просим!

У н т е р И в а н ы ч. О да! Браутмарш. (*Уходит. Слышен марш*).

Д о к т о р. Ну, Малафей Ионыч, поздравляю: сделал — своими руками: это — зять, да! Это же — не какой-нибудь Жудра.

М а л а ф е й И о н ы ч. Жудра... Жудра — тьфу, вот что! Спасибо вам, товарищ доктор.

А ф р и к а н с к и й г о с т ь (*тоже жмет руку доктору*). Н-га! Н-га! Н-га!

Доктор. Не меня — его, его благодарите (на Чупятова).

Малафей Ионыч. Товарищ Чупятов... отец родной... Не могу, волнуюсь.

Африканский гость (дергает за рукав Малафея Ионыча). Урр-бarr-барра н-га! (Бросается на пол — два-три движения — ползает на брюхе, вскакивает, опять дергает Малафея Ионыча).

Илья (Малафею Ионычу). Это он вам объясняет, что у них так благодарят, он и вас просит...

Малафей Ионыч. Да я... да с удовольствием! Товарищ Чупятов... дорогой. (Ползет на брюхе к Чупятову. Доктор, Илья, Африканский гость умирают со смеху).

Дарья. Ой, батюшки мои, на брюхе пополз! Ой, сейчас лопну.

Африканский гость. Ха-ха-ха! Не могу больше! Ой! (Сбрасывает обезьянью голову: это оказывается, конечно, Жудра).

Люба. Витька, ты негодяй, провокатор!

Чупятов (ползущему Малафею Ионычу). Тьфу, гадость какая! Да встань ты, ну? К чорту!

Малафей Ионыч (вскакивает. Увидел Жудру). Госп... Господи! Что такое? Это — ты?

Жудра. Я.

Малафей Ионыч (тыча пальцем в обезьянью шкуру). А это самое... как же?

Илья. А так, очень просто. Я отцу для опытов африканского гостя-обезьяну вез, да только в Одессе не доглядел, она советского хлеба поела — и издохла. А вот, все-таки пригодилась... (Обнимает Любу).

Малафей Ионыч. Это... это... это — нахальное жульничество! Вы, молодой человек, вы... вы — подлог, да!

Превосходный. Вот именно, подлог.

Жудра. Ну, уж коли так, так это не я, а вы, отец дьякон, живой подлог. И вы, гражданин Превосходный, тоже — подлог. И Сосулин... Ах, да: он удрал! Жалко...

М а л а ф е й И о н ы ч (*кидается к Чупятову*). Товарищ Чупятов!

П р е в о с х о д н ы й (*тоже*). Товарищ Чупятов! Товарищ Чупятов!

М а л а ф е й И о н ы ч. Да что же это? Вы же, можно сказать, отец... Вы же меня знаете... Товарищ Чупятов!

Ч у п я т о в. Да уж теперь знаю — как свои пять пальцев! Подальше от меня, подальше! Ну?

П р е в о с х о д н ы й. Но ведь я же — не он (*На Малафея Ионыча*)... Я же ваш секретарь...

Ч у п я т о в (*перебивает*). Был — секретарь. Завтра за месяц вперед получишь — катись! А ты, Жудра, за командировкой зайди — для себя и для Любы. Спасибо тебе за веселый спектакль, и — счастливого пути в Москву!

Евг. Замятин, 1929-30

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

**
*

Стюардессы, летят стюардессы
к дальним рубежам Земли,
еле удерживающие равновесие
узкокрылые журавли.

Эта странная раса птиц,
длинноногие, обреченные,
умирающие к тридцати пяти,
или прежде, едва обрученные.

Зимой и осенью пролетают,
прорезая пути в облаках,
с высокой посадкой талий,
на опасных крутых каблуках.

Стюардессы, летят стюардессы,
со звездами на крыле,
зажигающие сигареты,
пропадающие во мгле.

КОНСТРУКЦИЯ

Наметить центр тяжести
строгим прямым отвесом,
потом отойти, покуражиться,
просветить тридевятиым светом;
оценить пределы нагрузки
на каждую из несущих балок,
сжать по возможности узкими,

в соответственных интервалах;
учесть моменты времени,
излома,
полезной площади,
чтобы вынесли сопротивление,
не расселись,
держались попросту;
и свежо, как ажурные голуби,
устремленно, четко и смело —
разлетались фигурные формулы,
фермы, перила, панели;
а по жесткой конструкции радуг,
выгнутых над голубой водой,
выступали бы умницы-лады,
и раскачивались
вниз головой.

ИЗЛЕЧЕНИЕ

Сначала — жар и горение,
потом попадаем в палату,
во избежание осложнения
четкое, ясное распределение,
и всем одинаковые халаты.
Прикидываем, рассуждаем,
раскусываем друг дружку,
и потихонечку понижаем
термометры,
будто в шутку.
Потом соглашаемся, слушаем
тех, которые стали тихими,
с отличным результатом,
передумали,
глубже вникнули,
привязались и попривыкнули,
стали старшими по палатам.
И конечно встречаем насмешливо,

и скептически, — до поры до времени —
каждого вновь прибывшего
с симптомами воспаления . . .

Такому советуем, учим, тратимся, —
— все таки не чужие —
соседи, в одной палате,
и каждый свое —
отслужили.

ПИСЬМО

Аккуратный, исполнительный,
удержавшийся за честное слово,
срок на шее
и лагерь строителей,
да,
город в степи лиловой.

Новый город,
стране, народу,
где-то в укромном месте,
пишут в конверте
родители,
и опускают, вроде,
ангелу-покровителю.

— Храни тебя Бог, Петруша,
увезли в незнакомый край,
старайся,
не бей баклуши,
а мы — недолги,
на ладан уж
дышим,
да,
да ладанку-ту ладошкою
прикрывай.

Яков Бергер

ЛИЦО ЖАР-ПТИЦЫ

(Обрывки неоконченного анти-романа)

Зое, Вере, Лидочке

Из-за границы мне пришел новенький, беленький томик стихотворений Вертинского. Как это ни странно, книгу эту пропустили через цензуру. Она очень изящно издана и мне понравилась, несмотря на то, что я вполне согласна с Гоголем, что луна и все остальное, что делается в Гамбурге, обыкновенно прескверно делается...

На начальной странице была надпись от руки над первым стихотворением: «Впиши в мою тетрадку изречений...»*

Я своим красивым почерком вписала:

«Это бред. Это сон. Это снится...
Это прошлого сладкий дурман.
Это Юности Белая Птица
Улетевшая в серый туман...»

* * *

Чем больше заходит солнце, тем длиннее становится человеческая тень.

И моя сейчас — длинная, длинная, такая уродливая, черно-тощая, как Дон Базилио. Я ее считаю шагами: один, два, три... И упираюсь в стену. В Китайскую стену, около которой мы с Птицей провели почти всю свою жизнь.

* Птица обожала изречения. Уезжая летом «диким образом» в Коктебель, она бомбардировала меня письмами, в которых спрашивала: «нет ли каких новых изречений?»

Между вторым и третьим кирпичом, на микроскопическом, кривом кусочке земли слабенько колышется какая-то травка. Позвать, что ли, сюда Клавку Березкину, ботаничку из 617-ой школы да спросить ее, не подорожник ли это?

Что это тебя так волнует подорожник? Это несчастное простенькое сермяжное растение, которым интересуются одни кролики?

Англичане говорят, что если подорожник распускается у дома того, кто уехал, это значит, что хозяин никогда не вернется в свое отечество...

.

Глава VI

СИРЕНЕВЫЙ СОН

Сиреневый? А может быть просто... зайца обманчивый сон? С одним закрытым глазом и хлопающими ушами?

* * *

Это случилось как раз в тот период, когда Птицу и меня вдруг стала терзать какая-то неопределенная тоска. Целыми часами бледные, с чулками, забрызганными грязью, мы бродили по нашей любимой Ордынке и думали, чтобы сделать такого, чтобы удивить всех? Зайти в парикмахерскую и обриться на-голо? Купить себе хибару и взрастить тыкву? Или закрыть свои бледные ноги?

После распределения, в мае, когда Птице сказали, что ее, как незамужнюю, оставят без назначения, а если ей уж так невмоготу без работы, то она может ехать преподавательницей иностранного языка в Чапаевск или идти работать бортпроводницей в Гражданский Воздушный Флот (Марта Шишкина и Роза Евстигнеева работают же, а вы что за птица?), — к ней в коридоре, после того, как она в слезах вы-

скочила из кабинета директора, где происходило распределение, подошел, вышедший вслед за ней, полноватый человек с большой лысиной.

— Моя фамилия Строгов Василий Александрович, — с достоинством сказал он. — Я представитель ВОКСа. Не плачьте, товарищ. Не подписывайте никакого Чапаевска и никуда не поезжайте. Ничего вам не будет. Пугают только, что под суд отдадут. Нет такого закона. Идите работать в нашу организацию. Мне нравится ваше лицо.

Птица радостно захлопала крылышками.

— А почему же вы перед комиссией не сказали, что согласны меня взять?

— Эх, вы, ребенок. Да разве там это возможно? Начинается всякая муть. Комсомолка, скажут, не важная, общественной работы никакой не вела. Вон у нас замужних, более заслуженных, сколько без распределения осталось, а вы ее... Ни к чему это. Никому не говорите. А во второй половине августа зайдете ко мне будете оформляться.

Так Ника Жарова, по прозвищу Птица, начала работать переводчицей английского, французского и немецкого в одном из самых интересных учреждений Москвы.

Это был самый счастливый период в ее жизни. Не знаю, к добру это или нет, но именно этот период внес такой сумбур в нашу жизнь, что пришлось временно потерять ощущение даже относительного покоя...

* * *

Появились во-первых интереснейшие события, затем новые мысли и, самое главное, — самые серьезные заботы.

С раннего утра на работе Птица была бурно занята.

...Загорск, Загорск, я уже полчаса на проводе...

— Это отец Алексей? — радостно надрывалась она в телефонную трубку, когда с Загорском было, наконец, соединено, — говорит Ника Жарова... Из... Да, да...

Я сидела в углу, как пришедшая к сотруднице Жаровой «по личному делу». О том, как я была изумлена, слушая все

это, я написать не могу, так как несмотря на свою страсть ко всяким сравнениям, не могу подобрать ни одного.

— Так отец Алексей, — трясла перышками Птица, — значит у меня сегодня группа в пятнадцать человек, все американцы... Ровно в три будем у вас...

— Владя, — смущенно говорил мне пятнадцатилетний Слава, племянник знакомых, — вы не можете попросить вашу подругу одолжить у какого-нибудь американца кусочек жевательной резинки?

Рудик, товарищ Славы, подпихивал приятеля в бок.

— Нет, Славк, лучше вместо этого попросим, чтобы она нас пустила посмотреть, как эти американцы ноги на стол кладут...

Вечерами события передавались мне, Сюсе, Эмке и тете Тамарочке.

— Этот француз, который по классу «люкс». Говорит: «Боже, ну зачем нас все возят по кладбищам каких-то девушек (тут последовало душераздирающее хи-хи с нашей стороны, так как имелся в виду «некрополь» Ново-Девичьего), по каким-то древним крепостям, монастырям? Я хочу видеть живых людей, разговаривать с ними, а не с покойниками. Вот пригласите меня лучше на коктейль к себе домой...

Сюся и Тамарочка дуэтом испуганно вздрагивали.

— Да нет, говорю. Папа лежит больной, не могу. А почему вам не нравятся монастыри? Мы хотим показать иностранным гостям, что у нас свобода религии и что все, кто хочет — может...

— Свобода... Какие-то страшные юродивые в этой лавре, тоска, вонь...Ведь это настоящий четырнадцатый век. И почему это говорят «Матушка Рус?» Гораздо правильнее сказать — «Бабúшка Рус»...

Это нас доконало. По-моему именно с тех пор у меня в животе от смеха лопнула какая-то жила. Придется делать операцию.

.....

Особые мысли во всем этом сумбуре у Птицы тоже появлялись.

Однажды она мне сказала:

— Этот индусик... Писатель из Индии мне и говорит: «Вот никто из вас в Бога не верит, а все-таки, объясните же мне тогда, почему вы — чуть что «Ах, Боже мой! Ах, Господи!» Уж говорите тогда «Ах, мой Ленин! Ах мой Сталин!» В конце-концов, «Ах-х-х, мой К-к-ру-сс-с-чев».

.....

Приехали из Парижа сестры Н. Важные старушки. Дочери известного русского теоретика марксизма. Чуть ли не с самим Хрущевым им свидание устраивалось, а черную икру они за окно прятали.

Сестрички долго вглядывались в Птичино лицо, а потом вдруг заявили, что отказываются от своей старой переводчицы Дины Слобожан и хотят новую, Птицу. Только Птицу. Если это только, конечно:

Будьте любезны

Извините пожалуйста

Простите великодушно — возможно...

— Барышня умная, барышня прелестная, барышня красива-а-я, — скромно пропели они.

Георгий Пухов, переводчик маленького японца, ученого-атомника, принес в Бюро огромный пакет с надписью «Нике Жаровой».

— Моя япоша просил перед отъездом тебе передать. Что там — не знаю, не открывал.

Георгий хмыкнул.

— А между прочим, странно. Где это он тебя высмотрел? Я что-то не замечал, чтоб он хоть раз у твоего стола сидел. Ты, ведь, говорят, особенной популярностью у америкашек пользуешься...

В пакете Птица нашла заграничную сумочку с апельсинами и прекрасный... мужской свитер.

В приложенном письме было сказано:

Дорогая Ника:

Я никак не предполагал встретить в России самый чудесный японский цветок — Сиреневый сон. Этот цветок — Вы. Свитер я Вам оставляю только потому, что он немного превышает вес дозволенного мне на самолете багажа. Я был бы счастлив увидеть Вас снова, и, надеюсь, увижу.

Ваш И. Такахаши

Птица посмотрела в окно. Она была счастлива: свитер пригодится на зиму Тamarочке. Какой он мягенький! Вес не более двухсот грамм.

—Представляете, какого он мнения о нашем жизненном уровне, когда оставляет девушке-цветку! — мужской свитер, — сказал Леонид Золотарев, один из переводчиков.

— Н-н-н-е-т, не могу, не могу, — надрывался Георгий Пухов, — цветок? Никашка, ты самый прекрасный японский цветок? А про пальто он знает?

История с пальто.

В том году Птица, наконец, после восьмилетнего перерыва, сшила себе новое пальто. Отрезное в талии, из темно-синего фуле. И к нему заказала в мастерской на Столешниковом такую же шапочку. Радость от пальто была настолько безмерна, что когда я умоляла Птицу не ездить одной вечером в Тайнинку навещать заболевшую няню Катю, боясь, как бы ее там не изнасиловали, она говорила:

— Изнасилуют-то что! Вот как бы пальто не сняли!

И хоть это было похоже на известный анекдот, Птица не шутила.

Начало было точно такое же, как и у бедного Акакия Акакиевича Башмачкина. Грабитель, здоровенный белобрысый парень лет двадцати, схватил Птицу за воротник: «Снимай, а то... Только пикни...»

А конец Акакию Акакиевичу и не снился.

Птица размахнулась новеньким рукавом из материала фуле влепила грабителю в рожу такую затрещину, что он упал наземь и завыл страшным голосом.

Жертва же (Птица) изо всех сил бросилась бежать к поезду, боясь, что ее арестуют за убийство.

В этом случае, я прямо заявляю и прошу учесть: между мной и Птицей нет и не может быть ничего общего. Я бы... «Ой, миленький, ой, драгоценный, ой, все бери, только не убивай...»

Анна Давыдовна, мать нашей Эмки, прослушав всю эту историю, долго огорченно трясла головой: сначала вперед-назад, назад-вперед, а потом справа-налево, слева-направо.

— Ну, Ника, я вижу, что тебе замуж не выйти.

— Это почему же?

— Так. — Коротко отрезала Анна Давыдовна. — К тому идет. Если молодая девушка может свалить ударом с ног здорового мужчину, — это значит, что у нее тяжелая рука. А тяжелая рука бывает только у старых дев. Нет, помяни мое слово — замуж никому из вас, ни тебе, при всей твоей красоте, ни Владе, ни, тем более, Эмме моей — не выйти...

— А Владька при чем?

— Ну как это причем? Пригласили мы ее тут на днях. Было много молодых людей. Нарочно, конечно, пригласили, чтоб познакомиться. А она не успела дверь открыть — и давай горланить на весь коридор: «Где мои женихи? Где тут мои женихи?»

* * *

И все-таки, несмотря на тяжелую руку, мужской пол осаждал Птицу со всех сторон.

Высоченный чех подкараулил ее после работы, гнался до троллейбуса:

— Товарищка, товарищка...

Наверное, хотел проводить домой и по дороге объяснить «товарищке Птице» в любви.

— Друзья, — обращался Василий Александрович Стогов, начальник учреждения, к группе венгров, толпящихся около Птицыного стола, — вы можете подойти к другим переводчицам, ведь это абсолютно безразлично, кто будет вас обслуживать...

— Нет, нет, это совсем не безразлично, — вперед выступил самый высокий, самый красивый, самый знающий по-русски.

— НЭКИ ЙО АРЦА, НЭКИ ЙО АРЦА — вот почему не безразлично...

А по-венгерски это значит: «Какое хорошее лицо!»

Чтобы как-нибудь закруглить эту тему, следует сказать, что после каждого «подарка», оставленного Птице (духов «Жоли мадам», губной помады в футляре с выскакивающим зеркалом, «безразмерных» чулок и так далее), после каждого письма с иностранным штемпелем, пришедшего на имя «прекрасной переводчицы мисс Жарсон», после каждого случая, когда ей было оказано более чем «просто внимание», — она медленно вызывалась к Глав-Нач-Пупсу.

— Ну-у, так... А как его политические взгляды?

— Очень, очень хорошо отзывался о новых домах на Калужской...

— Так, так...

— Молочный автомат на улице Чехова и жареную картошку в пакетиках очень хвалил...

— Мм-ммм... Значит? Ваше личное мнение?

— Культурный со всех точек зрения.

Это последнее Птицыно заключение заносилось Пупсом в какую-то записную книжечку. Она подписывалась под сказанным. А книжечка передавалась выше — от Пупса к Пусу. По рангу.

Все эти беседы должны были, конечно, держаться Птицей в строгой тайне, но и она и другие переводчики и переводчицы рассказывали все о разговорах с Пупсами с подробностями не только друг другу, но и людям посторонним, как мне, например.

Издевались над Пупсами, и, лениво выполняя свои обязанности, описывали им, письменно и устно, свои «беседы» с иностранцами, прикивая кто во что горазд.

Кроме того, необходимо было представить и отчет о собственной персоне и ответить, обязательно в письменном виде, на следующие вопросы:

1. Кто ваши друзья? Их имена?
2. Что вы любите, чем увлекаетесь?
3. Какова ваша цель в жизни?
4. Какой ответ даете иностранцам, когда они интересуются, как вы относитесь к своей родине?

Ответы на эти интеллектуальные вопросы мы с Птицей сочиняли вместе.

Вот они:

1. Друзья мои — люди не столь активные, сколько правдивые и неприспособленцы, не потерявшие души. Их имена: Сюрмюль, Сюзанна Семеновна и Кадырова — (в девках Могилевкина) — Марианна. Больше ни с кем не дружу.

2. Больше всего люблю мармелад (как А. П. Чехов) и увлекаюсь стихотворением Гумилева «Жираф». А также природой, музыкой и тишиной.

3. Цель моей жизни — найти Соломенную сторожку.

4. Когда иностранцы меня спрашивают, как я отношусь к своей родине, я отвечаю: «Моя родина там, где проплывают самые прекрасные облака».

— Птиц, — трусила я, — а он не догадается, что мы над ним издаваемся? Особенно про сторожку, про облака...

— Нет, ни за что, — равнодушно говорила Птица. — Во-первых потому, что здесь серьезное и идиотское перемешано, а во вторых, потому, что Пупсы — все, все до одного — настоящие кретины.

Я недоверчиво засопела.

— Да, да. «Какие у него политические взгляды?» — больше ничего не знает.

Птица вдруг сказала то, о чем и я много думала сама.

— Скажу я тебе, Владька, вот что. Миллион раз мы с нашими об этом говорили. Ничего, ну ровнехонько ничего бы мы против этого учреждения не имели. Как сказал Козьма Прутков: «Полиция в жизни каждого государства есть». За границей тоже самое... Везде так, значит надо. Ничего бы мы не имели против них, если бы там приличные хотя бы лица были... А то, — какие-то уголовные хари. Посмотрела бы ты... Кепочка, татуировочка... Нет, напишу все. Не догадается.

* * *

Очень долгое время не догадывались не только Пупсы, но даже я. Как это — сама не знаю. И никто мне не верит до сих пор, что я чуть ли не год ничего не подозревала: ни тетя Тамарочка, ни Дашонка, ни писатель Осетинцев, ни американский корреспондент.

Верит одна Сюся Сюрмюль. Потому что помнит, как однажды, вместе подойдя к запертой комнате Жаровых, мы вдруг увидели заткнутый почтальоном за ручку двери голубовато-белый конвертик с сине-красными кончиками. Авио! От-ту-да!

Слово -от-ту-да- было выбито Сюсей на ее собственных зубах. Потом она схватила конвертик и начала его засовывать под дверь, чтоб не увидели соседи (особенно Рафаловская).

Ходит Птичка весело
По тропинке бедствий
Не предвидя от сего
Никаких последствий...

— Владилена! — прохрипела Сюся закончив эти к сожалению неизвестные мне стихи. — Учти! Если откроется, что она получает письма не на работу, а на домашний адрес, нам первым достанется, что не сообщили, куда надо...

Сюся в изнеможении села на соседский сундук.

— Ой, мне неважно, ой мне не хорошо, — тихо запричитала она, — губит себя человек, губит, летит, как мотылек на

огонь. Я уж не говорю о Тamarочке. Воображаю, какие Варфоломеевские, какие Вальпургиевы ночи переживает она, несчастная мать, каждый раз, когда видит эти конверты...

После этого случая я только слегка начала кое о чем догадываться...

.....
Тупупернатс, тупупернатс,

Тупупернатс, тутс-натс, тутс-натс весело напевая то-ропилась куда-то эта лукавица Птица, выбрасывая ноги вперед. А о своих странных хлопотах и таинственных делах — ни слова. Я видела, что она намеренно коснеет в индивидуализме и никому ни о чем не говорит.

• Сколько я не намекала о том, что жду, как ближайшая подруга раскрытия тайны, Птица притворялась, что она ничего не понимает.

— Сюсенька, вы что-нибудь знаете?

— А вы, Владенька, что-нибудь знаете? — Сюся обиженно отворачивалась. — Когда вам нужно спросить у портнихи, сколько она возьмет за платье, — то это делает Сюся, потому что вам «неудобно». Когда нужно умолять бандита Пимена придти чинить счетчик — это тоже делает дурочка Сюся — она смелее. А когда дело доходит до чего-то существенного, когда совет опытного человека, прошедшего сквозь огонь и воду и медные трубы может действительно пригодиться...

— Ну вы хоть пытались спрашивать ее об этом?

— Да пыталась, пыталась...

— Ну и что?

— Ничего. Делает улыбку Моны Лизы и молчит, как рыба об лед...

**
*

В эти ужасные, замусоренные дни, в Птицыной тетрадке изречений появилось еще одно:

Отказываюсь быть в бедламе нелюдей.

Из стихотворений Марины Цветаевой...

.....

Все друзья, не говоря о просто знакомых, оставили Птицу. Они боялись.

Эмка Кукуй плакалась в трубку:

— Владь, ну что ты? Да я бы для нее всё на свете, всё, что угодно. Только я боюсь. Ну разве я могу с моим пятым пунктом быть замешанной в таком деле? Мать от страха уже сейчас с ума сходит. Только потому что мы знакомы... Ведь дядю Сеню только что реабилитировали.

На Клавку Березкину я наткнулась в кафетерии гостиницы «Москва». Она, вильнув подносом и задом, хотела прошмыгнуть в зал, сделав вид, что она меня не заметила.

— Клавк! Не стыдно?

Чай на ее подносе бурно начал поливать соседний столик.

— Да что ты, Владь? Ведь папа еще не на пенсии, всё еще в милиции работает. — Клавка начала смущенно тереть янтарь, который она носила на шее от бабеда и трусливо заморгала короткими ресницами. — Передай Птичке, что я велела бабушке за нее в церкви молиться. Три рубля своих кровных ей на свечки дала. На всякий пожарный. Может по-может. . . Чем черт не шутит.

Клавка добродушно глядела на меня своими серыми, чуть выпученными глазами.

**
*

Как сначала заикалось Птицыно счастье, как не хотела или не могла разглядеть ее судьба.

— Судьба-индейка, сабля-лиходейка, — растерянно бормотала Дашонка, — если бы кто другой, я бы и слова не сказала. Ладно, плевать, а ее жалко...

— Да замолчи ты...

— Я вот тебе дам «замолчи»! Ты кому отвечаешь? Падаль.

Это было последнее ее модное ругательство, которым она поливала кого придется, а чаще всего меня.

— Сидит, как эта... А ты бы ее вместо глупостей — чай к нам пить позвала. Вместе пусть приходят. Никого я не боюсь. Чай, скажи, вместе приходите к нам пить...

Она увидела, что я еще больше насупилась и как-то жалко прибавила:

— Дашонка, скажи, мармаладу твоего любимого с полочки возьмет. Да не дешевого, развесного, а самого лучшего, в коробке, трехслойного...

После этой благодушной перебранки мы обе ужасно плакали около получаса.

Птицу посылали от Понтия к Пилату, от Пилата к Понтию.

Одни говорили:

— Господи, да разве это от меня зависит? Да если бы это от меня, так хоть сейчас! Ступай!

Другие крысились:

— Вы, гражданка (она сразу стала «гражданкой», а не «товарищем») Жарова, наверное, плохо отдаете себе отчет в том, что вы совершили... Хорошо, что сталинские времена прошли, а то... Если бы его закон и сейчас в силе был, то вам бы не поздоровилось. Это же равносильно измене родине...

Только кое-кто отваживался глядеть на Птицу сочувственно и так, что никто больше не слышал, бросить ей слова утешения, вроде:

«Держи нос по ветру!»

«Птичка, хвост трубой!»

Многие, и среди них было порядочно ее бывших друзей, сгорали от нетерпения:

— Ну, что слышно? Заберут? Или только открытый суд чести с общественным порицанием и снятием с работы?

Птица, которая в другой ситуации и сама могла бы от семи собак отгрызться, плакала жалобными, детскими слезами.

— Птиц, Птиц, умоляю, — шептала я, — не показывай им слез, отплачься дома... Ведь не все же сволочи, ведь хорошие люди тоже есть. Вон фрау Ольга, ведь какой пост занимает, а специально мне позвонила, как узнала...

Птица с надеждой раскрывала запухшие глаза.

— Велела тебе не лаяться ни с кем, а просить и плакать по-хорошему, скромно. Советовала «самому» писать...

Я лезла из кожи, чтоб наставить Нику Жарову на путь истинный.

— Просить надо, а не требовать и не ругаться. Поклонись и кошке в ножки, если придется. Ну Птичка, ну ангел, ну лапочка, ну притворись казанской сиротой...

— Герцог любил и умел падать в обморок? Так? — негодовала Птица.

Нет, к моему ужасу, она не хотела покупать свое счастье, расплачиваясь угодливыми льстивыми словами и гнусными обещаниями и продолжала отчаянно твердить:

— Нет, не говори, что есть хорошие люди, не говори. Они все, все мне теперь противны. Буквально все. «От» и «до».

Сидя в протертом кресле в комнате Жаровых я басом замоскворецкой свахи времен Островского потрясала стены ее никогда не слыханными здесь ругательствами, из которых главным было «ядренть».

Тетя Тamarочка каждый раз несчастно вскидывалась:

— Опять!

А Сюся Сюрмюль кротко ее успокаивала:

— Тamarочка! Дорогая! Ну что же можно ожидать от внучки извозчика?

**
*

Я должна поклониться тете Тamarочке и Сюсе Сюрмюль.

Тете Тamarочке за то, что она, ну вопреки абсолютно всем моим и Птицыным предположениям, повела себя по-человечески, а не по-мещански. Она изумила нас всех и прежде всего свою дочь, Птицу.

Мы ожидали слез, истерик, причитаний, вроде «я говорила, нет, если бы я не говорила! Но ведь я же...» и так далее, а она ограничилась только тем, что выучила со старинной

пластинки Вертинского «В пыльный маленький город» и постоянно напевала последние строки:

Татата-тататата-татата-тататата
В катафалке по городу вас повезли...

Сюся под секретом рассказала мне, что тетя Тamarочка заявила ей следующее:

— Передай моим, чтоб ни в коем случае не сжигали меня в крематории. Я боюсь. Я хочу быть рядом со своей мамой, на Пятницком.

Жертва, принесенная Сюсей, выразилась в том, что все эти несчастные три месяца она не красила себе ресницы, опасаясь, что краска, смешавшись со слезами, которые не переставая лились всё это время, выжжет ей глаза.

— Ой, мне нехорошо, ой, мне немножко не важно, — меланхолически причитала она, когда мы оставались с ней вдвоем, — Владя, что делать? К кому кидаться. Как их спасти?

Отец Птицы был в это время в длительной командировке.

**
*

Хотя до сих пор никто из нас толком не знает, откуда пришло спасение, — я уверена, что половина дела была провернута художницей Сюсей.

— Ой, Тamarочка, — она аккуратно прикладывала распростертые ладони пониже шеи, — ты ведь знаешь — я же только модельер и имею дело большей частью с женщинами. Ой, Тamarочка! Но я буду всем говорить, всем, Тamarочка, намекать, всем у-по-ми-нать!

Она прибежала с утра, потом исчезала, звоня на Нарышкинской каждые полчаса.

— Боже мой, я еле дышу... Есть что-нибудь утешительное? Или еще нет?

Наконец она прибежала с розовыми пылающими щеками и шепнула только одно слово:

— Выкристаллизовывается!

Это длинное слово означало то, что ее позвали. «Туда». Надо идти и работать над художественной обстановкой новой квартиры для двоюродной сестры не то Хрущевых, не то Козловых, не то Фурцевых.

— Тамарочка, успокойся. Это всё. Это почти всё. Самое главное в таком деле — это просить лично. Не волнуйся, я им там все пámороки забью. Романтические истории все любят, особенно женщины, а криминального здесь я лично ничего не вижу. Тем более политического.

Кары Кадырыч Кадыров, депутат Совета Национальностей, тещь Фаньки и муж Марианночки, энергично завертел черной арбузообразной головой.

— Буду всем говорить, что знаю ее, что девушка — вполне советский человек, что интересней ее я не видел...

Марианночка, соглашаясь с каждым словом мужа, расклевывала кудряшками.

Мордвин Иван делал по пятьдесят раз в день из бровей треугольнички:

— Это как же понять? Сначала обнадежили, а теперь издеваться? Он, значит уезжай, а она здесь живи? Ни в коем случае, ни в коем случае... Конфликтовать надо и сигнализировать наверха... Известное дело: снизу это кой-то командует. А узнай об этом деле большие люди — они самоуправцев тех по головке не погладят.

— Большие люди, — шипела Дашонка, — большие люди... Да пока до них-то доберешься, до твоих больших людей, все бока обдерешь себе... Не козленку с волком бодаться...

Но вот...

Ко мне на работу раздался телефонный звонок.

— Я. — Баритоном заявил голос фрау Ольги. — Вот как придешь ко мне, уж такую радостную новость тебе сообщу — умрешь, уснешь и проснешься вся в слезах... Говорила я — в три узла свяжусь, а для нее сделаю. Потому уж больно девка-то хороша...

— Ой, фраучка Ольгочка, да вы сейчас...

— Не телефонный разговор. Придешь.

— Ну хоть намекните, хоть...

— Придешь! — безжалостно прогремело в ответ.

А при личном свидании фрау Ольга сообщила мне именно ту новость, которую принес, пришедши на квартиру Жаровых, ерой Толька.

— Не плачьте, дурачки. Всё будет законненько, — он снял сапоги, подошел к двери, обеими лапами как можно тише щелкнул английским замком и зашептал:

— Меня и Ольгу Ивановну вызывали. Просили Никину объективную характеристику.

— Ну?

— Сказал — законно, значит законно. Так хорошо ее обрисовали — ей и не приснится.

— Думаешь, выйдет из этого дела что-нибудь?

— А то нет? Вчера Николая Константинова, опера, видел. Говорит, что вокруг этого дела шум уже начался. Говорил я — самое главное — звону побольше. Так и вышло. Вчера в Индийском посольстве прием был. Сидят, едят, да пьют. А дочь посла, индеечка молоденькая, встает, подходит к самому Хрущеву, да так прямо его об этом деле спрашивает. Почему, спрашивает, не разрешают им? Вот увидите — не сегодня завтра...

**
*

Эта зима была совсем не такой, как мы ожидали. Говорят: жаркое лето — холодная зима. Холодная зима — жди жаркого лета. Всё было наоборот. Не помню ни такого жаркого лета, ни такой теплой зимы.

.....

Кто там, в малиновом берете? Кто там, в гороховом пальто? Это я.

В совсем весенний теплый январский день, как штык, с шести вечера, с самого «того» дня, я дежурю у большого серого дома с барельефом, на котором написано:

ВСЯ НАША НАДЕЖДА ПОКОИТСЯ НА ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ САМИ СЕБЯ КОРМЯТ.

Я бываю «там» и «здесь». То, что я делаю «здесь» — я пишу, — всё, что я говорю «там» — я тоже напишу.

«Там» я говорю вот что:

— Конечно, конечно, если что подозрительное, я сообщу.
А раньше я ничего и не знала.

— Ваш отец, ведь, только что реабилитирован?

— Да я своего отца почти и не знаю совсем.

— Нет, нет, это я так. Это к данному делу не относится.
Вы у нас на самом лучшем счету...

Да, я у них на самом лучшем счету, но каждый раз, когда меня вежливенько по телефону приглашают по такому-то адресу «для беседы» с некоей заскорузлой личностью — (не знаю его фамилии, он очень неразборчиво ставит свою подпись) — мне становится коломытно и во всем теле начинается поджилкотрясение.

В такие вечера я еле плетусь домой...

Именно в это время, однажды, за спиной, я услышала:

— Не оборачивайся, Владя. Это я, Костя...

**
*

Французский солдат, переживший битву при Ватерлоо, сошел с ума. Он говорил, что в этой битве он был убит и на земле осталась только его тень. Французский солдат, убитый при Ватерлоо — это я. Мне кажется, что моя собственная тень забегает вперед меня, смотрит в лицо, ищет меня, ищет и никак не найдет...

Положила я свое сердце в тяжелую тачку — не могу сдвинуть с места.

После того, как ТУ-104 увез Птицу — я не могу спать без снотворного.

Если засыпаю — снюсь сама себе.

То вдруг слышу:

— Есть тут хозявы-то, ай нет?

В окно лезет тот мужик, который в кошмарах преследовал Анну Каренину.

Я громко кричу.

— Да я не трону, не трону. Мужика-то позови, хозяйш-ка, мужика своего, Якова Михайловича, ось у меня сломалась...

Я вижу себя женой своего дедушки, московского извоз-чика Якова Михайловича Колотушкина.

Только почему я веду разговор с ночным гостем на ан-глийском языке?

То вдруг слышу кто-то говорит:

«В долине реки Колорадо... В далекой, и чуждой и страш-ной долине реки Колорадо... Какой черт тебя туда занес? Ты боишься меня, тебе скучно... Темнокрасный кэньон, на дне его течет серая медленная река Колорадо...»

**
*

— Помните, Владенька, у вас была такая хорошенькая подружка? Всегда вы с ней вместе ходили, как шерочка с ма-шерочкой, как сиаемские близнецы. С таким странным мужским именем...

— Ника Жарова?

— Да, да. Где она теперь?

Как рассказать моему старому знакомому, кино-режиссеру Ефиму Борисовичу Геллеру всё о Птице, чтобы он не перебе-жал испуганно на другую сторону улицы или чтобы не сделал вид, что падает в обморок от удивления от того, что он уже слышал всю эту сагу, но не подозревал, что это приключилось именно с ней?

И я начинаю вяло плести ему какую-то смешную историю, зная, что он их любит и коллекционирует.

— Во-первых, девушка с мужским именем — это я сама и есть, — оживленно начинаю трещать я. — А вот вчера за-шла ко мне Марианночка, помните, с нашей старой квартиры? С ней муж ее, узбек, Кары Кадырыч... Вот он долго всё пере-бирал Никины фото, которые она мне шлет, смотрел их да и говорит... Нет, сначала языком прищелкнул, узбеки ведь всег-

да шелкают языком, да и говорит, прямо при своей жене: «Нет, я, наверное, здоров обрусел. Если бы я продолжал оставаться восточным человеком, то ни за что не отдал бы такую красавицу другой стране...»

**
*

Заходя на старую Птицыну работу, я издали замечаю престарелую гусыню тетю Машу, уборщицу, абсолютно умственно отсталую старуху.

— О-о-х, разокаянная, — пищит тетя Маша. — Обозна-тушки... Чуть сердце не замерло... О-о-xxx...

— Да что случилось?

— А то, что я на тебя подумала, что она это. Вернулась...

— Кто она?

— Да Ника. Ника Жарова. Жар-Птица. А то кто же еще? Мы садимся на диванчик в коридоре.

— Тетя Маша, я вам пирожное принесла, хотите? Эклер?

— Нельзя, пост.

— Да ладно, возьмите. Бог простит вам.

— Ну, давай. В Загорским вот уж буду — замолю.

К тете Маше я пришла специально для того, чтобы выцедить из нее последние новости и сплетни. Каждый раз ей — то банку соленых «грибков»-маслят, то огурчиков-корнишонов с пупырышками, то маленький пакетик «какавки», которое она обожает.

Подарки, продуктовая мзда, делают тетю Машу очень разговорчивой.

— Ну Строгов-то? Осуждал? Ругал ее? Угрожал? Небось теперь за свое место трясется? — спрашиваю я.

— Нет, Владь, вот я тебе скажу, — с удовольствием бормочет тетя Маша, — про себя не знаю как, а при всех не ругает. Не велели ее ругать.

— Кто не велел?

— И-эк, — говорит тетя Маша, — а то сама ты не знаешь, кто здесь кому всем что велит, а что не велит?

— Так.

— Так, да не так. Ругать, значить, не ругает, а говорит: И что это я в ней тогда на распределении нашёл? Сам не знаю. И покрасивше ее, говорит, в тысячу раз девушки были. А любовь... Да какая там любовь? Конечно, просто решила она, что ей там будет лучше, чем здесь, решила она просто устроить свою жизнь. Вот и всё.

— Да?

— Да, да. А ругать — не ругает. Даже вот что. Скажу я тебе. Сначала, как узнали мы про это дело, заколотились все. Со страху-то... Общее закрытое собрание по этому делу собирали: мы все, Строгов и еще какие-то двое мужчин в штатском. Вот один, который из них помоложе и говорит: не она, говорит товарищи, виновата, а мы все. Как это мы проглядели?

— Неужели?

— Вот как перед истинным тебе — не вру. Строгов после собрания мне и говорит: Вам, тетя Маша тоже нужно быть бдительной! Когда делать нечего, за сотрудниками надо наблюдать, кто с кем долго разговаривает, кто с кем долго беседует, кто с кем еще что... А мне-то больно наплевать...

Тетя Маша выкладывает мне всё необходимое.

— Да, сначала волновался Строгов. Первые дни-то... А потом... Сигнал ему был... Спокойнее стал. И где, говорит, только это Жарова с ним успела? И по-французски она не очень, у нее основной английский... А добра там всё одно — никакого не выйдет... Мало ли примеров...

— Да это верно, — тяну я, — а всё-таки по головке его не поглядят, что именно у него в учреждении это случилось, за место небось боится, трясется...

— Нет. Чего ему бояться, трястись? Написал оправдательный документ, а мы все подписи поставили...

.

С детства я ненавижу свой день рождения, свое тезоименитство. Рада, если его забывают знакомые. Незнакомым — не говорю. Раньше я никогда не думала о своих годах и не боялась их.

А теперь я подхожу к комоду, смотрю в старинное Дашонкино самое «правильное» зеркало и, вглядываясь в свое уже далеко «не то» лицо, — вздрагиваю от того, что приближается «круглая дата» и что мне уже скоро тридцать лет.

Смотрю на бывшую активистку тетю Машу и думаю: что будет со мною через полвека?

Закрываю глаза и вижу: черно-серый тягостный день. Церковь. Из нее выходит в рубище какая-то горбатая старуха. С мохнатыми глазами. С пучком редиски в руке.

Это я.

.....

Тетя Маша встрепенулась.

— А японец-то тот? Сиреневый сон? Помнишь? Сюда вот каждый день со своим со с переводчиком приходил? Вспомнила ведь я одну вещь, касающую.

Она приземисто хихикнула.

— Подумаешь, в Японии! Есть и у нас под Выксой такой цветок. Только не сиреневый, а лиловый сон называется. Как понюхаешь, так в сон тебя. Окли речек растет. А сам-то цвет этот маленький, да такой невидный... Глядеть не на что... Один дух от него... Один сон...

.....

(Продолжение следует)

Алла Кторова

В ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Посв. Генриху Фейшнеру

Дождь летит, студёный и ливучий,
скрыв в туман глубокую Россонь.
Слышен вязг невидимых уключин
сквозь промозглую над нею сонь.

Стала жизнь совсем на смерть похожа:
всё тщета, всё тусклость, всё обман.
Я спускаюсь к лодке, зябко ёжась,
чтобы кануть вместе с ней в туман.

И плывя извивами речными, —
затуманенными, — наугад,
вспоминать, так и не вспомнив, имя,
светом чьим когда-то был объят.

Был зажжен, восторгом осиянный,
и обманным образом сожжен,
чтоб теперь, вот в этот день туманный,
в лодке плыть, посмертный видя сон.

Игорь Северянин

Сааркюла, Эстония, 26-го октября 1938 г.

Стихотворение это, до сих пор нигде неопубликованное, получено нами из архива эстонского поэта Алексиса Раннита. Оно посвящено эстонскому композитору Генриху Фейшнеру (1910-1961), другу Игоря Северянина в последние годы его жизни. Россонь — приток реки Наровы, протекающий через рыбацью деревушку Сааркюла (по-эстонски «Островная Деревня»), в которой поэт жил с 1938 до 1941 г. РЕД.

ЦЕННЫЕ КНИГИ

Я хочу поговорить о двух ценных книгах, вышедших в русском зарубежье.

I

«Валерий Брюсов» — посмертная книга К. Мочульского, последняя в серии его монографий.* До нее — «Вл. Соловьев», «Достоевский», «Андрей Белый», «Ал. Блок». Мочульский мало писал в повременной зарубежной печати. Зато дал пять ценных монографий. Конечно, не со всеми его утверждениями должно соглашаться: в литературной критике единомыслие не требуется. Но эти работы Мочульского несомненно вошли в некий золотой фонд зарубежной русской литературы. И, конечно, они еще ценнее для советского читателя, ибо все четыре темы Мочульского, в сущности, запретные (одни больше, другие меньше). Во всяком случае запретные в той свободной и поэтому единственно ценной интерпретации, в какой даны Мочульским.

Книга о Валерии Брюсове явно не доработана, читателю виден ее документальный остов, но это и хорошо. Нет многоречивости, многорассуждения, отступлений. Поэтому книга живет и непосредственней в передаче предмета.

Валерий Брюсов — фигура большая. Мочульский прекрасно ее дал. Биография Брюсова — сложная. А после революции — не лишена и внутреннего трагизма. Положение Брюсова после октября общеизвестно: партиец, важный чиновник Наркомпроса, организатор Лито. Потом — Московский Высший Литературно-Художественный Институт имени Брюсова и прочие знаки почета. Потом — смерть и похороны под речью ком. вельмож. И вот прошло (без году) 40 лет со дня смерти Брюсова, а о нем за это время ни одной настоящей монографии, ни одной настоящей работы. Даже в рукописи оставшаяся книга стихов В. Брюсова «Девятая Камена» так и не увидела света. И в этом ничего удивительного нет.

При жизни Брюсова партия и правительство окружали его почестями, как сдавшегося в плен полководца вражеской

* К. Мочульский. Валерий Брюсов. YMCA-Press. Париж 1962.

армии; сдавшегося на милость победителей. Но и партия и Брюсов хорошо понимали, что Валерий Яковлевич — коммунист, вульгарно говоря, бутербродный. Ни вождя пролеткульта, ни искусствоведа-марксиста из него не сделать. Ведь именно Брюсов до революции определил Ленина и его партию, как «врагов искусства». А искусство для Брюсова было постижением мира «иными, не рассудочными путями», целью же творчества он провозглашал «самоудовлетворение и самопознание» поэта. Поэтому-то сорокалетнее молчание в Советском Союзе над могилой Брюсова естественно. И оно придает книге Мочульского особую ценность. Она как прорыв этого молчания о Брюсове.

Предисловием к отчетной книге дана статья В. Вейдле «Брюсов через много лет». Статья, как всегда у Вейдле, интересная, во многом меткая и правильная, но в главном с ней согласиться трудно. Вейдле признает Брюсова и большим литературным деятелем, и учителем поэтов, и исключительно образованным писателем, сыгравшим в новой русской литературе первостепенную роль. Все это верно и все это так. Но Вейдле не хочет признать Брюсова ни подлинным, ни крупным поэтом. И здесь, по-моему, В. Вейдле отходит от нелицеприятности, от возможности объективной оценки, отдаваясь личному вкусу, может быть неприязни к Брюсову и пристрастия к другим музам. Можно быть антибрюсистом. Любить музу Брюсова вовсе не обязательно. Даже трудно в наши дни. Но нельзя же — скажем шутя — признавать только Пушкина, Ходасевича и Игоря Чиннова. На русском Парнасе надо дать место и поэту Валерию Брюсову.

По Вейдле Брюсов «загипнотизировал» современников, внушив им, что «он подлинный и большой поэт». Гипноз? Гипноз, конечно, в литературе существует. Даже у нас в эмиграции были писатели, которых все весьма почитали, но не читали. Другого рода, но явление в сильной мере гипнотического характера, это — случай Евг. Евтушенко. Но Брюсов — иное. Можно признать, что когда-то Игорь Северянин «загипнотизировал» Россию, сообщив ей, что он «гений». Успех Северянина был шумно всероссийский. Но у кого? Людей искусства Северянин загипнотизировать не мог. Даже те, кто признавали его дарование, отдавали ему только то, чего он был достоин (Сологуб).

А Брюсов? Ведь если употреблять этот же термин, то Брюсов «загипнотизировал» всех поэтов-современников — Блока, Белого, Вяч. Иванова, Гумилева, Волошина, Кузмина.

«Для поэта всего важнее быть замеченным именно поэтами», писал как-то В. Вейдле в своей другой статье. Это совершенно правильно. Но почему это неприложимо к Брюсову? Белый провозглашал Брюсова первым русским поэтом. Блок писал о Брюсове восторженно. И наконец Вячеслав Иванов, признанный арбитр новой поэзии и открыватель поэтов, за-гипнотизировать которого непоэзией было, я думаю, трудно, — писал в стихах «Валерию-поэту»: — «Твой правый стих, твой стих победный!» И переписывался с Брюсовым стихами, среди которых Брюсов дал свою блестящую «Ось» («Стою и грудь склоняю косо, — Как на земле, так в небеси, — Пусть вихрятся в огне колеса — На алмазной оси!»). Нет, кроме всего прочего, Брюсов был, конечно, и подлинный поэт.

Разумеется, в свое время Брюсова переоценили. Это верно. И в литературных страстях того времени этому были причины. Но современность недолговечна. Теперь это уже плюсквамперфектум. Все те страсти давно сгорели, пепел развеян. И мы можем сейчас рассматривать наследство Брюсова беспристрастно, как с другого берега. И при такой оценке мы должны будем сказать: — Брюсов в русской литературе остается не только «былым полководцем», но и уединенным поэтом. У него есть то, что не стареет.

Что забурьянило, завалило путь к поэту Брюсову? Брюсов был отягчен многими неприятными качествами: мания грандиоза, Геростратова мания, литературный наполеонизм, бездонное властолюбие, тщеславие, нигилизм. Всё это влекло не поэта-Брюсова, а Брюсова-стихослагателя к срывам, к вульгарности тона, к саморекламе, к жажде во что бы то ни стало «испугать буржуя» и даже к откровенному безобразию и литературному хулиганству. Вспомним хотя бы пресловутое «Мы натешимся с козой», во что поверил и от чего всю жизнь никак не мог успокоиться Бунин. Все это завалило «народную тропу» к Брюсову: десять (кажется) томов полного собрания стихотворений. Прочсть их сейчас — задача почти непосильная.

Но будем и тут справедливы к Валерию Брюсову. Признаем, что, в сущности, всякое «полное собрание стихотворений» всегда, прости Господи, скучновато. Куда предпочтительней «Избранное» (умело избранное). Это и естественно. Ведь никакого поэта и прозаика Бог еще не спас от художественных неудач, творческих срывов, даже безвкусиц. Даже гениального Льва Толстого. Перечтите его описание обеда в романе «Воскресенье». И это отнюдь не единственный при-

мер в нашей литературе. Тема о художественных срывах и о их причинах в творчестве больших поэтов и прозаиков — небезинтересная тема для исследователя. Но вернемся к «полным собраниям стихотворений». Приведу некоторые примеры. Н. Клюев — своеобразный, талантливый поэт. Но его «полное собрание стихотворений» — книга удручающая. И то же будет с «полным собранием стихотворений» замечательного поэта — Марины Цветаевой. А до чего тяжело «полное собрание стихотворений» такого прекрасного поэта как Александр Блок. Не говорю уж о кирпичях Вл. Маяковского, чье избранное все же великолепно. Из-за панического страха перед литературным четвертованием меня нашими охранителями заветов, я не называю имен корифеев. Но все же признаюсь, что даже из любимой «книжки небольшой» Тютчева мне хотелось бы удалить всё, незаслуженно окружающее его вселенскую лирику. Небольшие молитвенники лучше и нужнее «полных собраний молитвословий».

В случае Брюсова все это еще разительней. С Брюсовым читателю надо быть очень начеку, чтоб не поддаться трагедии перехода количества в качество. Ведь говоря, что Брюсов не поэт, В. Вейдле не сказал нового. Это давно говорили на обоих флангах литературы многие отрицатели Брюсова — от Айхенвальда до футуристов. Общеизвестна фраза Айхенвальда о Брюсове, как о «преодоленной бездарности». И, как очень часто бывает, — в литературных кругах (и вокруг их) давно создан этот тоже своеобразный «гипноз». «Брюсов не поэт» — с чужого голоса стали повторять поэты, написавшие полтора стишка двусмысленной ценности. И это считается «хорошим тоном». Причем у этого тона есть и вариации: «Некрасов не поэт», «Вяч. Иванов не поэт», «Гиппиус не поэт», «Бунин не поэт», «Бальмонт не поэт» и т. д.

Приведу брюсовские строки:

Ранняя осень любви умирающей.
Тайно люблю золотые цвета
Осени ранней, любви умирающей.
Ветви прозрачны, аллея пуста,
В сини бледнеющей, веющей, тающей,
Странная тишь, красота, чистота.

Думаю, что пухлый том «Силуэтов русских писателей» трудолюбивейшего, милейшего Юлия Исаевича Айхенвальда

на весах истории, на весах искусства едва ли перетянет даже эти брюсовские несколько строк, взятые наугад.

Как было бы хорошо к сорокалетию со дня смерти Брюсова выпустить в эмиграции его «Избранное». Это было бы нечто вроде модных теперь «посмертных реабилитаций». С такой «реабилитацией», кажется, согласен Г. Адамович. (Кстати, в поэзии самого Адамовича есть нечто отдаленно брюсовское: некая риторичность в выражении чувств). Недавно говоря о Брюсове, Г. Адамович предложил считать у Брюсова прекрасными стихов 50-60. Г. Адамович не хотел, вероятно, раздражать наших антибрюсистов. Я думаю, прекрасных стихов у Брюсова можно найти втрое, вчетверо больше. От знаменитых ранних «Тень несозданных созданий» до неожиданных, поздних:

Я больше дольних смут не вижу,
Ничьих восторгов не делю.
Я никого не ненавижу
И — странно мыслить: не люблю.

В «Избранного Брюсова», чтобы сделать его очень «брюсовским», кроме лирики, конечно, должны войти и прогремевшие в свое время (пусть одряхлевшие, и все же пророческие) «Грядущие гунны», и нашумевший «Конь блед.». И даже торжественная брюсовская медь русской латыни — стихи на исторические темы. Конечно, эту брюсовскую «латынь» было бы странно сравнивать с вершинами русской поэзии — с «Выхожу один я на дорогу», с «На холмах Грузии» — но и эта латынь «принадлежит поэзии».

О Валерии Брюсове Мочульский написал превосходную книгу. Не поношение и не панегирик, не пристрастие и не апология. Перед читателем — живой поэт и живой человек со всеми его литературными и личными недостатками и достоинствами. И хорошо, что, не будучи поклонником музыки Брюсова, Мочульский сумел остаться объективным и то, что прекрасно — он называет прекрасным.

2

«Записи» священника Александра Ельчанинова — особенная книга.* Это не богословско-литературное произведение, написанное для печати, не рассуждения о божественных предметах. Записи сведены и опубликованы книгой уже после

* Свящ. А. Ельчанинов. Записи. УМСА-Press. Париж. 1962.

смерти автора. Это — занесенные одинокие мысли, сомнения, вопрошания, размышления на самые разнообразные темы, но все это объединено единым сердцем и единой верой автора — православного христианина. При чем вдохновение этой книги — не вдохновение «розового христианства». Это православие горячо взятое, христианство аскезы, для которого уже нет горизонтальных путей в жизни, а есть только — **дорога вверх!** Словесно записи выражены прекрасно.

Редко испытываешь такое чувство, прочитав книгу. Становится жаль, что в жизни не встретил этого человека, не разговаривал с ним, даже не видел его. Книгу хочется сохранить, иметь под рукой, она может пригодиться, как духовный лечебник, как помощь (не в переносном, в буквальном смысле).

Но скажу и другое. Порой «Записи» читать трудно, даже неприятно. Поэтому эта замечательная книга едва ли будет пользоваться успехом у широкого читателя. Слишком уж она в своем чувстве христианской любви и веры — тотальна, повелительна и в то же время слишком доходчива до сознания и сердца. Трудно становится читать записи потому, что, как всякая книга высокого христианского напряжения, она выбивает тебя из твоей привычной нехристианской жизни. Эта страсть, эта любовь к Богу, к миру и к человеку (без осуждения) осуждает читающего, предметно показывая ему всю пустоту повседневной человеческой жизни. Этим любовным бичеванием книга и оказывается читающему тягостна. Как и Евангелие. Как и все высокое в свято-отеческой литературе. «Да не тащите же вы меня в царствие Божие... знаю, знаю вашу силу и славу, но... не хочу... не могу... не для меня это...», — ответит на «Записи» не один слабый читатель. И тем не менее, если он «Записи» прочтет, он едва ли их забудет. Он когда-нибудь да вспомнит о них и опять, может-быть, возьмет в руки.

«Записи» — книга очень личная. Для того, чтобы ее лучше почувствовать, я думаю, надо было знать автора. Я его не знал. Приведу, что о нем писали люди его знавшие. Покойный редактор «Нового Журнала» М. М. Карпович так писал о своем друге Саше (они вместе учились во второй Тифлисской гимназии): «...я был тогда в 3-м классе, а он, вероятно, в 7-м. У нас в гимназии был такой обычай, что ученики старших классов на переменах поочередно присматривали за младшими... Очень скоро после первой нашей встречи он стал значить для меня больше чем кто бы то ни было другой в семье или

в школе... Наша привязанность к Саше была безгранична. Мы все были увлечены Сашей. Мы искали всякого случая, чтобы быть с ним, мы стремились проводить в его обществе все свободное время. Все это было настолько необычно по своей напряженности, что даже ставило в тупик наших родителей... Сколь многим я лично ему обязан в умственном и духовном моем развитии, мне даже трудно сказать... Знаю только, что в основном я обязан ему больше чем кому бы то ни было другому в жизни... Для меня это прошлое — все еще живая часть моей души, нечто от меня самого неотъемлемое, раз навсегда приобретенный духовный опыт, который останется со мной до могилы...»

В эмиграции Карпович встретился с Ельчаниновым раз. «В его новой для меня священнической одежде, — пишет Карпович, — он показался мне совсем таким же, каким я знал его больше чем двадцать лет перед тем. Наше общее с ним прошлое воскресло на моих глазах и было что-то почти чудесное в яркости и непосредственности этого ощущения... Только когда я увидел его священником, я сумел определить для самого себя эту его особенность, которую смутно чувствовал в детские годы: сочетание в нем очень высокой настроенности и почти аскетизма (в личной жизни он всегда довольствовался очень малым и потребности свои сводил до необходимого) с веселой жизнерадостностью, временами казавшейся чуть ли не беспечностью».

Встретившийся с о. Александром уже в эмиграции проф. Вл. Ильин писал: — «Необычайная уравновешенность духовных и физических сил, какое-то аполлонистическое совершенство всего человеческого устройства, помогали о. Александру стойко проходить «узкий и трудный житейский путь» и безропотно нести подчас жестокую тяжесть существования. Создавалось даже впечатление, будто и в самом деле этому дивному священнику с добрыми, умными и лучистыми глазами ничего не нужно, и что он живет в полном довольстве и благополучии. Эта иллюзия держалась вопреки всем очевидностям... Отец Александр был представителем уходящих уже традиций русского универсализма. И с ним как ни с кем другим можно было погрузиться в контраверсы современного учения о веществе, о веке техники, о немецкой философии, о Достоевском, о Бахе и Стравинском, о Божественной комедии Данте, об античной трагедии...»

В дореволюционных русских столицах, Москве и Петербурге, Александр Ельчанинов вращался в том же литератур-

ном кругу, что Бердяев, А. Белый, Тернавцев, Вяч. Иванов, Гершензон, С. Соловьев, Розанов, А. Блок. Одно время друзья называли его Эккерманом при Вячеславе Иванове. Позднее он сам себя, шутя, называл Эккерманом при о. Павле Флоренском, с которым был близок еще с гимназической скамьи и одно время вместе жил в Сергиевом Посаде.

Духовник отца Александра прот. Сергей Булгаков вспоминает о Ельчанинове так: — «Это был трепетный священник... В его образе есть нечто евангельски-детское, то, о чем сказал Христос — «если не будете как дети, не ввидите в Царство Небесное»... о. Александр, как священник, представлял собой явление необычайное и исключительное, ибо он воплощал в себе органическую слиянность смиренной преданности Православию и простоты детской веры, со всей утонченностью русского культурного предания... Тридцать лет суждено мне было знать его, и любить его, и любоваться им. Издалека, как и многие его друзья, пришел он к Церкви, и из Афин шел путь его к Иерусалиму Небесному...»

Даже эти краткие отрывки воспоминаний, я думаю, рисуют образ о. Александра. Обсуждать, комментировать, каталогизировать, сравнивать «Записи» с мыслями Франциска Ассизского, Серафима Саровского, св. Иоанна Креста и других, мне представляется и не нужным, и неуместным, ибо это не предмет для литературных упражнений. «Легка и соблазнительна замена духовного напряжения болтливостью», говорит в одной из записей о. Александр. Пересказать же записи нельзя, хотя бы уж из-за множества тем, которых они касаются. Лучше просто привести некоторые записи, как показание чем жил и во что верил этот человек. Я возьму несколько записей о жизни, как ее понимал православный христианин Александр Ельчанинов:

«В нашей жизни мы знаем **наверно** только то, что мы умрем; это единственно твердое, для всех общее и неизбежное. Все переменчиво, ненадежно, тленно, и любя мир, его красоту и радости, мы должны включить в нашу жизнь этот последний, завершительный, и тоже, если мы захотим, могущий быть прекрасным момент — нашу смерть».

«Многое облегчалось бы для нас в жизни, многое стало бы на свое место, если бы мы почаще представляли себе всю мимолетность нашей жизни, полную возможность для нас смерти хоть сегодня. Тогда сами собой ушли бы ее мелкие горести, и многие пустяки, нас занимающие, и бóльшее место заняли бы вещи первостепенные».

«Если бы у нас было больше любви к Богу — с какой легкостью мы доверили бы Ему себя и весь мир со всеми его антиномиями и непонятностями. Все трудности — от недостатка любви к Богу и все трудности среди людей от недостатка любви между ними. Если есть любовь — трудностей быть не может».

«Не нужно думать, что есть только один вид богатства — деньги. Можно быть богатым богатством молодости, иметь сокровища таланта, дарований, обладать капиталом здоровья. Все эти богатства — тоже препятствие к спасению. Богатство материальное порабощает нас, обостряет наш эгоизм, смущает наше сердце, гнетет нас заботами, страхами, требует жертв себе, как ненасытный демон. Не оно служит нам, а мы обычно служим ему. Но не то же ли и с богатствами здоровья, силы, молодости, красоты, таланта? Не так ли и они усиливают нашу гордость, берут в плен наше сердце, отводя его от Бога. Да, поистине блаженны нищие в смысле имущества — как легко им приобрести евангельскую легкость духа и свободу от земных пут, но блаженны и не имеющие здоровья и молодости (потому что «страдающий плотью — перестает грешить»), блаженны некрасивые, неталантливые, неудачники — они не имеют в себе главного врага — гордости, так как им нечем гордиться. Но как же быть, если Бог послал нам то или иное из земных богатств? Неужели мы не спасемся, пока не освободимся от него? — Можно оставить при себе (но не для себя) свое богатство и спастись; но только надо внутренне освободиться от него, оторвать от него свое сердце, владеть своим богатством как бы не владея, обладать им, но не давать ему обладать собой, принести его к ногам Христа и послужить Ему им».

«Вот задача — отказавшись от самого себя, остаться самим собой, исполнить замысел Божий о себе».

«Велика очищающая сила страданий и смысл их. Духовный наш рост зависит главным образом от того, как мы переносим страдания. Мужество перед ними, готовность на них — вот знак «правильной» души. Но не надо искать их и выдумывать».

«Нет другого утешения в страданиях, как рассматривать их на фоне «того мира»; это и по существу единственная точка зрения верная. Если есть только этот мир, то всё в нем — сплошь бессмыслица: разлука, болезни, страдания невинных, смерть. Все это осмысливается в свете океана жизни

невидимой, омывающей маленький островок нашей земной жизни. Кто не испытал дуновений «оттуда» в снах, в молитве! Когда человек находит в себе силы согласиться на испытание, посылаемое Богом, он делает этим огромный шаг вперед в своей духовной жизни».

«Если тело мешало св. Серафиму, Будде и даже Христу, то почему же оно не мешает вам, — это оттого, что вы себя и своей греховности не знаете, не сознаете и не ставите себе духовных целей. Чтобы любить Бога и ближнего — надо их чувствовать, надо утончить себя для этого аскезой. Аскетизм нужен прежде всего для творчества (всякого), для молитвы, для любви, то-есть, для всякого человека и для всей его жизни».

Когда о. Александр тяжело заболел, он записал: «Многое я снова передумал и пережил за эту болезнь. Страшная и сомнительная и зыбкая вещь — наша жизнь; такой тонкой пленкой отделена она от боли, страдания и смерти. И так бессилён человек перед всем этим мраком, такой слабой оказывается вся духовная жизнь, не выдерживающая температуры в 40 градусов, ослабевающая при большой боли. Вообще болезнь сильно смиряет; Господь не оставляет без своих утешений, но так ясно видишь **свое** ничтожество и бессилие. Единственная защита против всех ужасов окружающих нас — верная любовь к Христу и неотступное за него держание».

Во время болезни о. Александр твердо и мужественно переносил физические страдания. Ему была сделана сложная операция (широкая резекция ребер) только под местным наркозом. Врачи были удивлены его силе воли. Об этой операции о. Александр сказал: «Пилят мои кости, гной льется, а я вижу ангелов вокруг меня, яркий свет и такое блаженство наполняет мою душу».

О. Александр Ельчанинов умер 53 лет в Париже. Во время панихиды по нем, молившиеся люди всю службу простояли на коленях. Для тех, кто его не знал, как общение с ним остались — «Записи».

Роман Гуль

О ПОЭЗИИ РУССКОГО ФУТУРИЗМА

1

Уже более 50-ти лет прошло со времени первых выступлений русских футуристов: время совершенно достаточное, чтобы осмыслить литературное течение и даже дать общую картину его возникновения, развития и упадка. Увы! ничего из этой программы литературно-исторической работы еще не выполнено. Правда, не выполнено, по причинам вполне уважительным и, главное, независящими от историков литературы. Обычно грандиозная фигура Владимира Маяковского закрывает от нас весь тот «задний план», в связи с которым только и может быть понята вся литературная деятельность Маяковского. В Советском Союзе особое внимание, оказываемое Маяковскому имеет, конечно, «идеологические» основания: Маяковский — «великий поэт коммунизма». Что этот «великий поэт» изображается в отрыве от почвы и обстановки это, конечно, стоит в самом резком противоречии с основами «марксистского» метода исследования. За границами Советского Союза писать историю футуризма почти невозможно: литература **трудно** доступна, рукописные источники для «зарубежных» исследователей **совершенно** недоступны.

Истории русской литературы, написанные в Западной Европе и Америке, ограничиваются по большей части, говоря о футуризме, несколькими ничего не значащими страницами или даже строками, при чем снова внимание обращается почти исключительно на Маяковского: ведь есть собрания его произведений. Поклонникам русской литературы известен обычно еще Хлебников: ведь и его стихотворения доступны, хотя бы только в довольно одностороннем выборе в томиках «Малой Библиотеки Поэта» (изд. 1940 и 1960 г.г.), полное (вернее «почти полное») пятитомное собрание его сочинений в библиотеках отсутствует, а дополнительный том «Неизданных произведений» (Москва 1940) является библиографической редкостью и в Советском Союзе.

Отношение Бориса Пастернака к футуризму затемнено той,

в общем мало основательной полемикой, которая возникла за границей в связи с запрещением его романа «Доктор Живаго» в Советском Союзе. В «Охранной грамоте» Пастернак «прощаясь» с Маяковским после его смерти совершенно ясно говорит и о своем «разрыве с футуризмом»; но если поэт «порвал» с футуризмом, то, значит, он был с ним ранее связан! Однако пишущие о Пастернаке и теперь, после выхода в свет Энн-Арборгского издания, содержащего и ранние стихотворения Пастернака забывают даже упомянуть о том, что эти ранние стихотворения воспринимались читателями в момент их появления в свет, как произведения «футуристические» и даже как своего рода «манифесты» футуризма, — правда, в его своеобразном видоизменении. Заграничный любитель литературы, помнит еще неясно о «скандальных» литературных выступлениях Крученых и знает, пожалуй, несколько строк Игоря Северянина и может иногда взять в руки его поздние сборники, в которых Северянин «перепевает» (а, может быть, лучше сказать «перевыпевает») мотивы своих ранних двух-трех книжек, единственных значительных из всего им написанного.

Между тем нельзя забывать, что футуризм был последним в своей поэтике независимым течением русской поэзии, течением, которое уже после октябрьской революции безуспешно боролось за право на независимое (хотя бы относительно независимое) творчество в рамках советского строя. Трудно, конечно, сказать, мог ли футуризм удержаться, как литературное течение, если бы его существование не было прекращено «директивами» сверху. Но если вспомнить о развитии западно-европейской литературы в период между двумя мировыми войнами, то можно утверждать, что футуризм не только существовал бы без этих «директив» далее в многообразных связях и взаимодействиях с западными литературными течениями (напр. и с «сюрреализмом»), но и приобрел бы новых сторонников и последователей. Кстати ряд коммунистических писателей и художников в Западной Европе и в соседних с Советским Союзом странах в годы и после первой мировой войны и после второй — явные спутники или попутчики **русского** футуризма: с ним были связаны не только польские «авангардисты» в поэзии (группа «Скамандр»), но и ряд чешских поэтов (напр. покойный В. Незвал, кстати, коммунист) и такие «сочувственники», говоря словами Тургенева, Советского Союза как Пикассо и ряд других художников с международным именем.

В Советском Союзе победил «социалистический реализм», победил средствами отнюдь не литературной борьбы. Русский футуризм принадлежит теперь прошлому и вряд ли можно думать о том, что какое-то новое течение русской литературы, которое освободилось бы от наивной опеки политиков, жаждающих «массам понятного» или «массам близкого» искусства, примкнуло бы непосредственно к традициям футуризма. Но футуризм заслуживает самого серьезного внимания, как значительное явление истории русской литературы.

2

Футуризм привлек внимание русских читателей в 1909/10 году, хотя уже раньше отдельные поэты-футуристы печатали свои стихи, иногда в маленьких брошюрках и даже листовках, но общее внимание вызвало только появление сборников по большей части весьма странного вида, например, необычного «косвенного» формата, иногда напечатанных на оберточной бумаге, с обложками украшенными и своеобразными рисунками. Самое странное были заглавия этих сборников. Понятно было, что один из них назывался «Пощечина общественному вкусу», но другие носили мало понятные или вовсе непонятные заглавия: «Садок судей», «Дохлая луна», «Молоко кобылиц» и даже «Засахаре кры», что можно было понять только как «Засахаренные крысы». Несмотря на то, что далеко не все книжные магазины решались продавать такие «скандальные» книги, успех их был несомненен. В России не привыкли к намеренным, организованным литературным «скандалам», совершенно обычным например во французской литературе. В сравнении с изданиями футуристов первые сборники русских символистов в 1894-5 гг. были явлениями, так сказать, «салонными». «Русские символисты» (так назывались эти первые сборники) могли возмутить Владимира Соловьева только когда он дочитался до таких строк, как «труп женщины, гниющий и зловонный». Правда позже появились и «скандализирующие» книги символистов, а особенно таких их «попутчиков», произведения которых сам «мэтр» Брюсов мог назвать только «парикмахерской поэзией»: Рукавишников, Рославлев, Стражев, а затем прозаики, подражатели арцыбашевского «Санина» («Санин» был все-таки **литературным** произведением) могли бы, казалось, приучить русского читателя к атмосфере литературного скандала, соблазна («скандал» греческое слово, в

переводе Евангелия передается словом «соблазн»). Так Рославлев прославлял Иуду или писал:

Тебя, Христос, я — сильный — не приемлю...

и Рукавишников повествовал о себе:

Я с ней вдвоем и одинок

.

Наперекор своей судьбе
я сделал черный гроб себе;
когда мы рядом с ней лежим (...)
здесь рядом с нами гроб стоит (...)
Из моря счастья своего
с тоской гляжу я на него
и мне всё кажется, что в нём
не уместиться нам вдвоём.

Но это писано «понятным» языком. Стихотворений и прозы можно было бы собрать томы, также и томы насмешек и пародий (последние проникли даже в мелко-мещанские круги, символистов не читавшие). Но сборники футуристов шли дальше: рядовой читатель видел, что эти новые авторы пишут уже не русским, а каким-то новым, неизвестным и непонятным языком. И это прежде всего было причиной и поводом для насмешек, «обличений» и издевательств над футуризмом особенно в провинциальной прессе.

Но, очевидно, новое течение появилось в какой-то момент, когда такой литературный скандал был нужен, когда в нем у поклонников литературы, в частности у молодежи, — кстати университетской и частично даже типично интеллигентской и часто партийно-революционной — нарастало безграничное недовольство не только Арцыбашевыми и Рославлевыми, но и Брюсовыми и Бальмонтами. И поэтому вероятно, лишь изредка с увлечением, но по большей части со спокойным и «деловым» интересом эти молодые поклонники литературы следили за нарастаниями футуристской литературы.

В чем же была причина этого, хотя бы только относительного успеха и именно в этот момент? Конечно, в 1908-й и следующие годы русская литература переживала тяжелый кризис. Конечно, это был период угнетенного и пессимистического настроения. Это был период реакции или «похмелья» после поражения революционного движения 1905 года; но реакция

не обязательно ведет к ослаблению духовного творчества: сторонникам примитивной социологии стоит напомнить, что годы после поражения декабристского восстания 1825 г. были годами литературного расцвета, что тоже самое можно сказать о польской литературе после неудачного восстания 1831 года. В России после 1905 г. были внутренние, имманентные причины литературного упадка: главная из них была какая-то незавершенность символизма, который не достиг тех литературных целей, которые оба его поколения себе ставили. Как известно в эти годы Брюсов прекратил издание «Весов» и стал редактором литературного отдела «Русской Мысли», Блок открыто говорил о «конце символизма», дарование Бальмонта иссякло, Белый вступил (безразлично по каким причинам) на тот своеобразный путь, который привел его к антропософии и на котором за ним никто не последовал... Только Сологуб и Вячеслав Иванов, как кажется, остались верны символистскому знамени. Замечательно, что все талантливые новые поэты, примкнувшие к символистам в эти критические годы: Анненский, М. Кузмин и (конечно, гораздо менее талантливый) Сергей Городецкий, очень быстро исчезали из кругов символистского движения... Также и Хлебников обращался со своими произведениями к Вячеславу Иванову и Кузмину, встретил у них известное признание и сочувствие, но в ряды символистов не вступил и в их изданиях ничего не напечатал.

Между тем именно Хлебников наиболее остро переживал то же самое настроение, которое руководило авторами сборников «Русские символисты» и позже примкнувшими к символистам представителями «второго поколения», Блоком и Белым. Это настроение было сознанием необходимости **обновления** русского поэтического языка. Великие поэты — счастье, но и несчастье для литературы. Несчастье, приносимое ими — в том огромном, непреодолимом влиянии, которое они оказывают на дальнейшие поколения поэтов. Поэтический язык второй половины 19-го века оказался именно под таким непреодолимым влиянием языка Пушкина и Лермонтова. Несмотря на то, что и это время знало яркие поэтические индивидуальности, от влияния обоих и Пушкина и Лермонтова оказались свободны собственно только Тютчев и Некрасов. И в конце века «наследниками Пушкина» представлялись даже «знатокам», то Майков, то Апухтин, то даже Надсон и даже Фруг! Несомненно по мировоззрению близкие символистам и примкнувшие к ним Мережковский и Минский в каком-то смысле тоже перепевали классиков. А пересматривая литературные жур-

налы и сборники стихов с 30-х до 80-х годов мы почти на каждой странице встретим или прямые подражания Пушкину и Лермонтову (реже Некрасову, — сторонники Некрасова стихов по большей части не писали) или «вариации» на их темы. Без этого не обошлись и символисты: достаточно просмотреть сборник юношеских стихотворений Блока, чтобы увидеть, с каким трудом даже этот оригинальнейший лирик символизма освобождался от влияния традиции обоих классиков: прочтите такое стихотворение, включенное Блоком в первый том его стихотворений, как

Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно кружится желтый лист . . .

Ведь это просто вариация пушкинских элегий 1817 г. («К ***») и 1816 г. («Осенне утро»). Новые образы, сравнения, метафоры, особенно новые сочетания слов — были теми средствами, которые могли оживить, обновить, «актуализировать» старые слова, ставшие бесцветными, затертыми, как старые монеты. Символисты старшего поколения пошли сначала путем обновления тематики. Конечно, и здесь Брюсову и Бальмонту удалось достичь значительных успехов; открыты необычные метафоры: поэт — палач, поэт — «вольный ветер», «запах солнца», «безумная луна» у Бальмонта; и сходные мысли и образы у Брюсова, напр.:

Есть тонкие властительные связи
меж контуром и запахом цветка . . .

всходит месяц обнаженный
при лазоревой луне . . .

звуки реют полусонно,
звуки ластятся ко мне . . .

Бальмонт открыл звуковые эвфонические возможности актуализирования слов: по-новому не только звучат, но и воспринимаются и осмысливаются самые обычные слова в таких строках, как —

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
чуждый чарам чёрный чолн.

Неожиданное обновление всего словесного материала в этих строках мы можем почувствовать, если вспомним, что четыре строфы этого стихотворения, в котором эвфонически каждое слово созвучно с соседним, **(по содержанию)** попросту вариация «Паруса» Лермонтова. Иным путем идут представители второго поколения символистов. Стихотворения Блока еще более поражают обилием новых, необычных и «странных» образов и метафор: сейчас «странность» словосочетаний в поэзии Блока снова подчеркнул Сергей Маковский, как никак тоже попутчик символизма («На Парнасе серебряного века» Мюнхен 1962, стр. 145-175), выписав две сотни строк Блока со странной целью, показать, что Блок писал **плохим** русским языком! Конечно, Маковский прав — «печаль» не может «проходить тихой чередой» да еще в «пристальном и тихом взоре . . . девушек», «волна возвратного прилива» не может «мечты, виденья, думы» «бросать в бархатную ночь» и т. д. Маковский отмечает и необычные слова, «неологизмы», созданные Блоком — их немного, но и они в таких же необычно-странных сочетаниях: «легкоперстный запах цветов», «и как время безрассветная, шевелясь, поникла мгла». Это будто бы «грамматические ухищрения» и «случайные слова» (Маковский, стр. 166). Но именно на их основе сложилась и выросла слава поэта Блока, как одного из величайших русских лириков. Только постепенно подходит к основному приему своей поэзии — словотворчеству — Андрей Белый, последние произведения которого, в частности, романы полны неологизмов, часто самых смелых, какие вообще знала русская литература . . . до футуристов. «Симфонии» же и сборники стихотворений Белого поражают только оригинальностью композиции и иногда причудливостью образов (вспомним «кентавров») и яркостью отдельных черт, особенно необыкновенно богатым колоризмом (в первом сборнике «Золото в лазури»).

Но в то время, как Брюсов, Бальмонт и Блок постепенно так сказать «нормализировали» свой язык и запас поэтических приемов, и уже «возвращались» к традициям классиков, Белый, напротив, заострял и обращал свой стиль (после «некрасовского» эпизода в сборниках «Урна» и «Пепел») именно «необычайностями», в которых он проявил огромное мастерство. И, конечно, можно вместе с В. Ф. Марковым (см. «Новый Журнал» номер 38, 1954 г.) считать Белого непосредственным предшественником русского футуризма. Вряд ли стоит останавливаться здесь на доказательстве этого утверждения. Напомню только один эпизод из ранних лет Маяков-

ского, на которого неотразимое впечатление произвело стихотворение «На горах» («Горы в брачных венцах...»), где «горбун седовласый»

... в малиново-ярком плясал,
прославляя лазурь.
Бородою взметал
вихрь метельно-серебряных бурь.

Голосил
низким басом:
в небеса запустил
ананасом.

«Этого бы и я не придумал» должен был признаться Маяковский.¹

Да, футуристы вообще «придумывали» то, до чего не додумались символисты. Но задача футуризма осталась той же, обновление поэтического языка и актуализация художественного слова. Если мы присмотримся ближе к конкретным задачам, поставленным себе футуристами, они перестанут нам представляться каким-то посторонним телом в русской литературе, их деятельность — каким-то срывом русской литературной традиции.

3

Действительно, не отказ от постановки во главу угла тематики поэзии социально-политических мотивов и не заостренный индивидуализм Брюсова и эпигонов, не подчеркнутый аморализм таких искренних «попутчиков» символизма, как Леонид Андреев и неискренних дельцов-подражателей, — но серьезные вопросы философского мировоззрения и по-

¹ Не могу тут останавливаться на данном З. Юрьевой убедительном истолковании этого стихотворения, как «почти реалистической» картинки из воспоминаний Андрея Белого о каком-то эпизоде его дачной жизни в имении Танеева. Статьи за многие указания и доставление мне редких текстов я благодарен В. Ф. Маркову, З. И. Юрьевой и моей дочери, Т. Чижевской.

пытки реформы поэтического языка были действенными силами символизма.

Но если внимательно изучать эти силы в их поэтическом воплощении, то придется с изумлением признать, что четкую границу между символизмом и футуризмом провести не легко, и в частности еще труднее будет это сделать историкам литературы в будущем, когда влияние исторической перспективы «сожмет» все явления в тесных рамках двух-трех десятилетий (1895-1925), представляющихся такими широкими только нам, современникам. Можно, пожалуй, предсказать, что история литературы в будущем будет рассматривать «модернистские» течения русской литературы от 1895 до 1917 или даже 1925 года, как некое целое, конечно, отвлекаясь от реалистических течений этого времени, — хотя надо вспомнить, что не только некоторые крупные реалисты — Горький, Бунин — по крайней мере некоторое время симпатизировали символистам,² но даже самые примитивные и «заядлые» второстепенные реалисты, вроде Гусева-Оренбургского, «согрешили», написав два-три рассказа в типичном стиле символической прозы. А мы уже упоминали, что символисты отнеслись с интересом и даже некоторой долей симпатии к первым проявлениям футуризма: Брюсов приветствовал Игоря Северянина (отсюда, конечно, еще очень далеко до смелого и несправедливо оскорбительного для памяти Брюсова сближения этого труженика и «подвижника» русской поэзии с Северяниным), Вячеслав Иванов заинтересовался Хлебниковым, которого приветствовал и М. Кузмин. Футуристы (рукописный материал даст наверное еще больше материала) сами вначале пытались завязать связи по крайней мере с поздним символизмом (на какой основе, об этом будет речь далее) и предлагали изданиям символистам свои произведения.

Прежде всего надо помнить, что к общим задачам символизма и футуризма принадлежало обновление поэтического языка. Оба течения ощущали (не совсем справедливо) те же опасности в языке реалистической литературы: слепое подражание «классикам» и (еще менее продуктивное) подражание языку повседневной речи. Литературная работа символизма в течение 15-ти лет привела, по мнению футуристов в общем к созданию уравновешенного и сглаженного по-

² См. напр. Н. Ашукин: Валерий Брюсов. Москва. 1929, стр. 143, 145, 150 и др.

этического жаргона, аргю, основной чертой которого была «сладость», напоминающая оперные арии излюбленных теноров или даже сентиментальные романсы. Сладкогласная напевность символического языка казалась им не лучше, чем подражательная слабость слабых эпигонов Пушкина и Лермонтова. И манифесты футуристов с намеренной (и, конечно, никоим образом не вполне серьезной) грубостью утверждали, что «Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов» и требовали «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» («Пощечина общественному вкусу» 1912). Точно также футуристы не могли видеть «отражения мужественной души сегодняшнего дня» в «парфюмерном блюде Бальмонта» или под «бумажными латами» Брюсова и в «грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми»; и наконец намеренное соединение символистов, их попутчиков и реалистов и третьестепенных писателей отвергается футуристами всё оптом: «Максимы Горькие, Куприны, Блоки, Сологубы, Ремизовы, Аверченки, Черные, Кузьмины (так!) Бунины и проч. и проч.» (там же).

Отказ от сладости и напевности требовал нового имени для поэтического творчества. Эти обозначения менялись из десятилетия в десятилетие: в 18-м веке поэт «пел» и играл на несуществующей «лире» (иногда — так по отношению к «легким» жанрам — говорилось «напевать» или «мурлыкать», «курныкать и т. п.); в эпоху Пушкина для поэзии нашли новое обозначение — просто «звуки» («мои задумчивые звуки» и т. п.). В 50-х годах и в эпоху реализма «пишут» и поэзия это «думы», «мечты» и т. д. Футуристы «кричат», «вопят» и даже «ревут», «рычат»... И если у символистов мы встречаемся с образом поэта-лебедя и даже поэта-соловья, если еще к Горацию восходит образ поэта превращающегося в лебедя (этот образ развит Державиным в оде «Лебедь»), то Маяковский превращается в собаку: «я стал на четвереньки и залаял: гав! гав! гав!» Это обозначало, что футуристы вступают на путь «жесткого», «терпкого» и «грубого» языка. Грубость, вероятно, была главной новостью. Крученых писал:

Я жрец, я разленился,
в покои неги удалился.
Лежу и греюсь близ свиньи
на теплой глине,
испар свинины

и запах псины.

Лежу, добрею на аршины . . .

Это было намеренно и этого в русской поэзии не бывало с 18-го века, с героико-комических поэм (напр. «Елисея» В. Майкова), с непредназначавшихся для печати стихотворений 19-го века (к каким принадлежал, очевидно, и «Опасный сосед» Василия Львовича Пушкина), но такие ноты звучали и в «озорной поэзии», которой отдали долг Алексей Толстой (большинство его произведений этого жанра было напечатано только один раз в «Большой Библиотеке поэта») и Владимир Соловьев (напечатано в его «Шуточных стихотворениях»). Конечно, у футуристов это было намеренное «скандализирование» читателя, и в этом тоне — ряд ранних стихотворений Маяковского. Но главное была не грубость, а именно «жесткость» языка, необычного, прозаичного и «тяжелого». Но ведь теоретиком «тяжелого» языка поэзии, существенно отличного от сладкогласия был уже Вячеслав Иванов, которого недаром пародисты сравнивали с Третьяковским. Практика «жесткого» языка была и у такого предшественника символистов, как К. Случевский: только этим объясняются резкие отзывы о его «прозаизмах» у Брюсова, который в целом ценил этого мало популярного предшественника символизма. Жесткий и терпкий язык в ряде стихотворений Анненского. И к «терпкости» близка «непонятность» у раннего Блока, например (1902):

Безрадостно восходят семена.

Холодный ветер бьется в голых прутьях.

В моей душе восходят письма,

я их храню — в селеньях, на распустьях.

И так же «непонятен» — и еще чаще чем Блок — И. Анненский:

Ноша жизни светла и легка мне,

и тебя я смущаю невольно;

не за Бога в раздумье на камне,

мне за камень, им найденный, больно.

И разве от таких строк принципиально отличается «непонятный», ранний Маяковский:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

И таким же терпким языком написана большая часть ранних стихотворений Пастернака, вроде:

Поэзия, я буду клясться
тобой, и кончу, прохрипев:
ты не осанка сладкогласца,
ты — лето с местом в третьем классе,
ты — пригород, а не припев.

И таким же «непрозрачным» языком пишет принадлежащий к той же группе, что и Пастернак, забытый, но замечательный поэт Сергей Бобров:

... Ты, сердца явленное чудо! —
Жизнь, ты, как красная роса: —
а на вершинах острогрудых
дремлют алмазные леса

или ранний Асеев (в новых изданиях намеренно пропускаются его многочисленные ранние стихи):

не уроню такого взора,
который — прах, который — шорох.
Я не хочу земного сора,
я никогда не встречу сорок.

Потому ли так могут писать футуристы, что они «люди новой жизни», что им «известны чувства, не жившие до нас» (Манифест из «Садка судей» 2-го, 1913)? Конечно, все такие стихи не бессмыслица, но они требуют истолкования и не всегда возможно однозначное истолкование, — так мне известны две различных интерпретации приведенного выше стихотворения Маяковского («Я сразу смазал карту будня»).

4

Эти и такие стихи — прежде всего образцы новаторства в языке. Так и заявлял манифест во 2-м «Садке судей»: «Мы выдвинули новые принципы творчества». В частности: «Богатство словаря поэта — его оправдание» (п. 10). Или в «Пощечине общественному вкусу»: «Мы приказываем чтить права поэтов: 1. На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество)». Насмешки и издевательства показали, что читатели и особенно критики не склонны были «читать права поэтов» на увеличение русского словаря неологизмами, новосозданными словами. Читатели по большей части не знали, а критики забыли, что такое право было уже молчаливо признано историей русской литературы. Чтобы не ходить далеко за примерами и не обращаться за таковыми к поэтам, слава которых не является общепризнанной, достаточно вспомнить о таких мастерах слова, романтиках, как Боратынский и Языков. Сотня неологизмов Боратынского проходит перед сознанием читателя без того, чтобы возбудить возмущение или даже только обратить на себя особое внимание: безвеселье, навеститель, делятель, душемутьительный поэт, прохладовейный и т. д. как-то совершенно естественно звучат и понимаются в контексте стихотворений. Вероятно, более бросаются в глаза неологизмы Языкова, вроде смелых: водобег, ветрокрылый, подружник, разобманутый, тинственник (в смысле «секретарь»), лошадинник, чужемыслитель, или архаически звучащие: звонкокопытный, бурноногий, и «странные», хотя и понятные глаголы: проторжествовать, перетосковать, состукиваться (чашами) и т. п. Оставим в стороне менее популярных Кюхельбекера («реабилитация» которого Юрием Тыняновым — прочное достояние истории литературы) или Бенедиктова («Словарь» необычных слов к его стихотворениям, составленный Я. П. Полонским, вряд ли содержит много слов, более своеобразных, чем приведенные выше неологизмы Боратынского и Языкова). Но вспомним и о словотворцах среди символистов, в частности об Андрее Белом: число неологизмов в его романах превышает 2000 (!), а если даже взять такое никем не оспариваемое произведение, как поэма «Первое свидание», то и в ней полно таких слов как существительные — взорич, громарь, розблеск, миголёт, ветропляс, белопокров; прилагательные — их особенно много — перемокревший (снег), зеленосладкий, красножилетные (лакеи), белохлопчатый, свинойрылый, мгловый и даже — пен-

снэйное (стекло), мегэрая (матрона); и глаголы — передроблять, протопырить, звезденеть, переплеснуться, овьюжить, и даже — голубоглазить, биноклить, забриллиантиться, нóжить и т. д. Станным образом и новое слово для геликоптера — «вертолёт» встречается уже у Андрея Белого!

Не следует забывать, что такие неологизмы бывали «модой» в разные периоды русской литературы: десятки их у Симеона Полоцкого, как-никак одного из непосредственных предшественников русской литературы, и наконец в самых начатках славянских литературных языков, когда уже для переводов с греческого Библии и богослужебных книг, а также и религиозной и светской литературы нужно было создать сотни «неологизмов», частью из сочетания слов народного языка в сложные слова («*composita*»), частью путём переосмысления повседневных слов: слово «грех» обозначало первоначально несомненно ошибку в «практической» деятельности в обыденной жизни, — позже стало понятием христианского богословия и богословской этики. Таких переосмыслений достаточно и в русском поэтическом языке нового времени, их достаточно у Пушкина: если он называет статую Петра «кумиром», то, конечно, в этом слове уже исчезает религиозный смысл (язычества), если он говорит о «сне поэзии святой» или «трепетных снах сердца», то имеются в виду не «сны» в буквальном смысле слова, а какой-то тип более глубоких, чем обыденные, душевных переживаний, если он пишет —

тьмы низких истин нам дороже
нас возвышающий обман...

то только недоразумением является буквальное понимание слова «обман», — речь идет (как и у ряда современников Пушкина) о художественной, эстетической иллюзии (для которой и в немецком языке есть слово «*Tug*» также буквально «обман»)..³

А перелистаем внимательно произведения классиков, — у кого из них не встретим по крайней мере «необычных» странных и небывалых слов. Какие-нибудь «богомокрица» или «магдалиниться» Герцена стоят десятков футуристических слововществ! И если такие словотворчества автор приписывает одному из действующих лиц, то иногда он не забывает под-

³ Об этом писал уже М. Гершензон в книге «Мудрость Пушкина».

черкнуть, что такие слова действуют почти магически на самых обыденных слушателей, как тургеневское «ракаليون» (в рассказе «Лебедянь»). Не забудем и Лескова — и не только его острология (так называемых «народных этимологий» вроде «подземельного банка», «мимоноски» или «клеветона»), но и всерьез употребленных им новых слов: очудачеть, баснить, бирюзить, оевропеился, заминел (?) и т. п. Часто писатель считает новым словом то, которое вряд ли совершенно ново, так Лесков даже рассуждает на тему о том, можно ли сказать «надерзил», — но это слово, вероятно, не раз ранее употреблялось школьными учителями, отнюдь не склонными к словотворчеству. Также и «штушеваться», слово, которое Достоевский считал изобретением его соучеников в Инженерном училище, конечно, старше!

Весь вопрос поэтому вовсе не в том, имеют ли новые поэты **«право»** на словотворчество, такое право освящено тысячелетней традицией, и если такое право не признается, язык становится «мертвым» (хотя и в будто бы «мертвой» средневековой латыни созданы были для новых понятий сотни новых слов, а есть и современная нам латынь, существуют разговорные книги на современной латыни, в которой есть всё — и папиросы, и автомобили, и «вертолеты»⁴).

Романтические философы языка считали словотворчество не только правом, но **обязанностью** поэта! Дело не в праве на словотворчество, а в том, являются ли продукты такого словотворчества «жизнеспособными» т. е. могут ли они войти в живой язык: при том не обязательно в разговорный язык, а например, только в язык поэзии; на отличие поэтического языка от языка повседневности указывал неоднократно Вячеслав Иванов, и каждый из нас ничего не имея против слова «стезя», несколько раз встречающегося в стихах Блока или Белого, вряд ли употребит сам это слово в разговоре.

Пути словотворчества футуристов были различны. Прежде всего не каждый поэт способен и склонен создавать неологизмы. Такие «специалисты» существовали у всех народов — и не только среди поэтов, но и среди техников, чиновников, переводчиков и т. п. Так и среди футуристов кроме признанного мастера словотворчества Владимира Маяковского были еще иные мастера, в частности Велемир Хлебников и Игорь Северянин. Вероятно, первым «теоретиком» у футури-

⁴ Передо мною лежит такая книга, вышедшая в Риме в 1953 году, ее объем не малый — 356 страниц!

стов был старший по возрасту Хлебников. Он оставил и трактаты на эту тему (содержание их не выдерживает критики с научной точки зрения). Почти мифом стали известные «Смехачи» Хлебникова. «Стихотворение» носит название **«За-
клятие смехом»**, что делает уже сомнительным, хотел ли автор ввести неологизмы этого стихотворения в **разговорный** язык. Напомню это стихотворение:

О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!
 Что смеются смехами, что смеяньствуют смеяльно.
 О, засмейтесь усмеяльно!
 О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
 О засмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
 Смейево, смейево,
 усмей, осмей, смешики, смешики,
 смеюнчики, смеюнчики.
 О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!

Если **«За-
клятие смехом»** должно было только **вызвать смех** читателя, то цель была достигнута. Чуковский через несколько лет вспоминал: «Смехачи смеялись, а я, помню, хвалил». Хлебников пробовал создать терминологию воздухоплавания, сейчас это сделано какими-то техниками. Но словечки Хлебникова, вероятно, можно было бы частично использовать. «Летун» — так он хотел назвать пилота, Блок употребил то же слово в смысле «аэроплан»!

Летун отпущен на свободу . . .

Такие слова Хлебникова, как «летчий» (по образцу «гончий»), «льтец» (сравни «чтец») и для женщины «льтица» или «летавица» (как «красавица») забыты, и только иронически можно было бы употребить «летатель». И дело языкового вкуса оценить такие новшества, как «летá (по аналогии с «бегá») или «летины» (ср. «крестины»), прилагательное «леткий» (как «меткий»), затем «летоба», «летёж» и т. п. и наконец от других корней образованные слова, вроде «двукрылка» (биплан) итд.

Здесь нет места, чтобы привести примеры из стихотворений Хлебникова, вероятно, многое не может быть оценено справедливо по той же причине, по которой почти никто (кроме «спеца» — Сергея Маковского) не замечает языко-

вых **неровностей** у Блока или прямых ошибок у Гоголя («накладенные дрова» или «котёнки», «ребёнки кричат» итп.): привычка играет в оценке художественных произведений, в том числе и литературных, огромную роль; то, что мы читали и читаем в свое время нового у «классиков» нас уже не поражает, в случае странности не смешит, и что уже вряд ли хорошо, — не поражает **приятно**, не радует! Маяковский «почти классик», во всяком случае, его читают, преклоняясь перед его поэтическим талантом и словесным искусством и те, кто самым решительным образом осуждает его «идеологию». И поэтому ни у кого не вызывают смеха такие «словечки», как рыд, фырк, сеятьба, или расчересчурьясь, разбандитить, клёшить, мышиться, огромнеть, фокстротить, испешеходить итд. Но вряд ли кто-нибудь в «серьезном» разговоре, да даже в дружеской беседе, будет употреблять эти слова. Точно также, как и языковые дерзости вроде склонения иностранных слов: от Пуанкарэ — «падайте перед Пуанкарою, без Пуанкарей», или «в бюрэ», «с мантом», «шимпанзы», «увлечены тангой» итп., между тем к склонению других иностранных слов мы уже привыкли: «два кила», «два авта». К словечкам Маяковского тоже привыкли, но не настолько, впрочем, чтобы решиться пользоваться всеми ими в обыденной речи.

Следует заметить, что, во-первых, многие слова Маяковский, возможно не выдумал сам: «клёшить» (от фасона штанов «клёш») или «фокстротить», «фырк» вероятно уже были в употреблении в каких-то кругах, и «разбандитить» создано очень просто по образцу «разбазарить». Вообще обычное словотворчество этого последнего типа, новообразования от известных словесных корней, возникают почти сами собой, если усвоить «технику» словообразования. Каждое слово состоит из отдельных частей: (оставим здесь в стороне их научные обозначения), напр. раз-базар-ить; словотворцу достаточно вместо «базар» подставить «бандит» и неологизм готов. В других случаях заменяют другие элементы, напр. приставки у глаголов: если еще Жуковский мог сказать «край наш обезмышел» (по аналогии с «обезлюдел»), то Маяковский может создать: слово «о-без-ноч-ить»: сохранены те же приставки (о, без), но заменена основа. И наоборот, если есть глаголы «на-клеить» и «с-клеить», то у Маяковского читаем «вы-клеить», если есть «за-темнить», то у Маяковского «ис-темнить», или вместо «в-винт-ить» — «в-штопор-ить». Сложнее словопроизводство там, где заменены все три (или более) элемента — вроде «вы-флаж-ить». В иных случаях футуристы наобо-

рот, как будто даже «упрощают» слово, опуская разные его составные части: от «фыркать» образуется существительное «фырк» или из обычного «с-густ-ить» вполне понятный неологизм «густ-ить» (слово «густ-еть» обычно и встречается напр. в стихах Тютчева).

Все это «умели» делать не только поэты прежних эпох, но и «народ», т. е. анонимные творцы народных песен, сказок, пословиц и даже просто — слов. Достаточно вспомнить о таких вульгарных выражениях, в которых приставка (предлог) является носителем значения: если есть слово «напиться» (до пьяна), то понятно, что возможно «на-лизаться», но ведь вполне понятны — не только каждому опытному пьянице — и слова «на-лимониться», или если говорят «с-тянуть» (украсть), то понятно и слово «с-лимонить» (а если хотите, можете сказать и «с-апельсинить»).

Футуристы требовали и «права... на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку». И именно поэтому они желали «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» (цит. «Пощечина»). Конечно, это звучало, как скандальная дерзость. Не забудем, что Маяковский и в 20-х годах всё еще отвергал Пушкина, и тех, кто

кладет заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

и — что было еще смелее — Добролюбова (см. «Мой университет» в «Люблю» 1921/2). Но это все в порядке пресыщения традиционной, «надоевшей» поэтической фразеологией; и это не ново: так от классицизма отталкивался Пушкин и его современники. А. Крученых писал в 1913 г. «Лилия прекрасна, но безобразно слово **лилия**, захватанное и 'изнасилованное'. Выводы, которые Крученых делал из этого факта нас пока не интересуют.

Откуда брать слова? Народный язык и диалекты дают для русской литературы особенно много материала: ни в одной европейской литературе, кажется, диалекты и «жаргоны» не играли так мало роли, как в русской. Поэтому нельзя удивляться, если Маяковский обращается к «Забытому» «вульгарному» языку и берет оттуда такие слова, как «квартирошный», «слонячий», «свинячий», и подражает народным словообразованиям в таких словечках, как «трамвайский» (а, м. б., такое слово он и слышал в речи простонародья) или говорит вместо «декабрьский» — «декабрый».

А диалектами пользовался Хлебников, почти-что не ставя наряду с ними в тех же стихотворениях **своих** неологизмов. Так он изображает бурю на Белом море:

Бьются синие *кокоры*
и зеленые *ямуры*.
Эй, на палубу, поморы,
эй, на палубу *музуры*,
голубые удалцы!
Ветер-баловень — а-ха-ха!
дал пощечину с размаха,
судно село *кукорачь*,
скинув парус мчится вскачь
.
дырой *диль* сияет в небе,
буря шутит и *шиганит*,
небо тучи великанит.
Эй, на палубу, поморы!
Эй, на палубу, музуры!

Хлебников поясняет непонятные слова: кокора — род барки, ямура — яма (между вершинами волн), музуры — матросы на промысловом судне, кукорач — на корточки, диль — рыболовная снасть, шиганить — шалить. Единственный (понятный) неологизм автора в этих строках: «великанишь».

Есть и еще один легко доступный источник новых слов — детский язык! И им вдохновлялись футуристы. Именно по образцу детского языка с его притяжательными прилагательными, исчезающими почти совершенно из языка взрослых, вроде «папин», «дядин», создает Маяковский многочисленные прилагательные: «тучкин», «скрипкин», «поэтино сердце» и «человечье сердце», «змеин хвост», вероятно, и «кремлёвые ущелья» итд. Маяковский не один — еще значительнее заимствования из детского языка у замечательной футуристической поэтессы, рано умершей Елены Гуро: таково ее «ёлочное» стихотворение:

. . . грецкие орехи
серебряные висят;
совушки-фонарики
на ветвях сидят
И танцует кадрили котенок
в дырявом чулке,
а пушистая обезьянка
качается в гамаке . . .

Здесь нет, впрочем, неологизмов, но их много в других стихотворениях и прозе Гуро, напр.:

С л о в а л ю б в и и т е п л а

У кота от лени и тепла разошлись ушки.
 Разъехались бархатные ушки.
 А кот раски-и-ис . . .
 На болоте качались беловатики.
 Жил-был
 Ботик-животик,
 воркотик,
 дуратик,
 котик пушатик,
 пушончик,
 беловатик,
 кошуратик —
 потасик . . .

Иные источники неологизмов⁵ — например другие славянские языки: словарями их пользовался Хлебников, у футуристов иного направления, Сергея Боброва и Николая Асеева, встречаем ряд украинизмов — вроде «очерет» (камыш), «черногуз» (аист) итп. И «иностранина», правда, определенного пошиба, влилась широкой рекой в «поэзы» Игоря Северянина. У него даже орфографически заметны эти элементы: вряд ли у какого-нибудь русского поэта встречается такое количество русскому языку чуждых звуков (и букв), как «э» и «ф»:

Элегантная коляска в электрическом биеньи
 эластично шелестела по шуршащему песку . . .

Я выпил грёз фиалок фиалковый фиал . . .

ит.д. в любом количестве! Но в то время, как Северянин вскоре потерял кредит у «правоверных» футуристов, с ними остался в связи киевлянин Бенедикт Лившиц, также сторонник «иностранины», автор ученых, «александрийских» стихотворений, где встречаем: Гомера, Гезиода, фракийскую природу, орфические узы, дорический столб, скифа и ашантия,

⁵ О детском словотворчестве не раз писал К. Чуковский.

Велизария, тиары итд. Обще ему с Маяковским и Василием Каменским именно это стремление к обновлению языка путем расширения словаря. Правда уже в 1923 г. Маяковский написал строки, которые, возможно имеют в виду и Лившица, но — возможно направлены против С. Боброва — «Иностранщина из учебников, безобразная безобразность до сих пор портит язык, которым пишем мы (...) тут и 'жемчужные зубки', и 'хитоны', и 'Парфенон', и 'грёзы', и черт знает чего тут только нет» («С неба на землю»).

5

Среди футуристов нашлись и сторонники «абсолютного словотворчества», т. е. **изобретения** совершенно новых слов. Их «вселенский» или «мировой» язык страдал только одним недостатком: если существующие «умные (!) языки») «только разъединяют людей», то и новый «заумный язык» вряд ли мог людей соединять по той простой причине, что во всех языках мира слова что-то значат, «обозначают», «выражают», а слова «заумного языка» во всех его видоизменениях не были носителями значений.

Наиболее известным, хотя и не единственным, идеологом заумного языка среди русских футуристов был еще сохранивший свою славу А. Крученых. Возражая против «захватанного» слова «лилия» (см. выше), он продолжал: «поэтому я называю **еуы** — первоначальная чистота восстановлена». Приходится только отвергнуть утверждение, что здесь «связь звука с содержанием непосредственная».

Крученых и Хлебников оба указывали на словотворчество религиозных сект, на магическую функцию «непонятных слов» итд. Все это верно, но **объединение**, общение сектантов, выкрикивающих, поющих или декламирующих свои «духовные песни» на «заумном языке», обусловлено не этими духовными песнями, но теми уже ранее воспринятыми учениями их руководителей, которые были им сообщены на понятном (или полу-понятном, поскольку дело идет о «таинственных» мистических учениях) языке и в своих заумных речах и в песнях они находят только какой-то «выход» для содержания своих трудно-выразимых воззрений и веры. Увлечение футуристов и некоторых теоретиков (напр. Виктор Шкловский) заумным языком имеет глубокие корни в извечном сомнении поэтов (и основателей широких, но чаще узких, религиозных

объединений) в способности языка дать адекватное выражение сложному духовному содержанию:

Мысль изреченная есть ложь (Тютчев),

О, если б без слова
сказаться душой было можно (Фет)

Но реальное осуществление «зауми» могло иметь только два понятных осмысленных содержания: заявление «заумного» поэта, что он желает высказать нечто «невыразимое», и — в некоторых случаях — обогащение музыкального **звучания** стиха или прозы.

Только **первую** задачу удавалось решить Алексею Крученых, так как он в большинстве случаев в своих многочисленных публикациях (он говорит о своих «119-ти книгах», что, конечно, является мистификацией) как будто намеренно избегал «красивого» музыкального звучания. Вот пример его «стихотворения» раннего периода:

дыр бул щыл
убещур
скуп
вы со бу
р л зз...

Между тем позже и Крученых пишет произведения, в которых есть некоторые созвучия со словами «умных языков», напр.:

Ночь...Нучь..тычь..тучь...
Ход дрог...гроб...глух...
звук пал...крик!
.
Зол глод!
Мор нагл!
Нож горд!
Мир пад!

Так как это стихотворение носит название «Голод и мор», то читатель получает достаточно материала для, м. б. и ошибочно передающих намерения автора, но вполне определенных **ассоциаций**, связанных с голодом 1922 года, возможно, со случаями людоедства итд. Подражание иностранным языкам

(у Крученых напр. немецкому) стоит в старой традиции шуточных стихотворений, в которых например русские слова звучали, как французские или украинские напоминали итальянскую речь («Марія льон тре, Макар теля пасе» — украинский язык не смягчает согласных перед «е»). И подражания напр. «Мелодии восточного города» встречаем у ряда футуристов — и не только у них.

Хлебников, Давид Бурлюк и иные футуристы писали стихи на заумном языке, звучащие музыкально, приятно для слуха и четко ритмически; у Хлебникова таких стихотворений немного. Например: такой «портрет»:

Бобэоби пелись губы
 Вээоми пелись взоры
 Пиээо пелись взоры
 Лиэээй — пелся облик.
 Гзи-гзи-гзи пелась цепь,
 так на холсте каких-то соответствий
 вне протяжения жило Лицо (1912 г.)

Но и Бальмонт писал на «умном языке» «эвфонические стихи» вроде «Вечер. Взморье. Вздохи ветра...» или — с созвучиями на «л»:

Ландыши, лютики,
 ласки любовные,
 ласточки лепет,
 лобзанье лучей...

На тот же звук «л» начинаются слова в стихотворении «Лето» Давида Бурлюка:

Ленивой лани ласки лепестков
 любви лучей лука
 лазурь легка
 ломаются летуны легкокрылы
 лепечут лопари лазоревые лун
 лилейные лукавствуют леилы
 лепотстсвует ленивый лгун...

Стихотворение написано в 1911 году. Кажется год или два позже тот же звуковой прием повторил Василий Каменский (кста-

ти летчик, чем, возможно, и объясняется сюжет его стихотворения):

Л е ч у

Лечу над озером
Летайность совершаю
Летивый дух
Летит со мной
Летвистость в мыслях
Летимость отражаю —
Лёткий взор глубок...

Но у обоих, Бурлюка и Каменского, мы уже не имеем дела с чисто «заумным языком»: большинство слов принадлежат «умному» языку и при том определенному, а именно русскому.

Но и «абсолютное словотворчество» и «заумный язык» не новы! Правда, можно назвать только очень мало слов созданных так сказать «из ничего». Голландский ученый и мистик ван-Гельмонт придумал в 17 веке слово «газ» (возможно по созвучию со словами германских языков, обозначающими «дуть», «веять»). В том же веке англо-ирландский сатирик Дж. Свифт дал разным фантастическим народам, которых посетил герой его романа Гулливер имена созданные «из ничего», из этих имен приобрело мировое распространение «лилипуты» (хотя чехи в борьбе против иностранных слов «перевели» и «газ» и «лилипотов» на чешский язык). Поразительный пример словотворчества и именно «заумного» дал в 19 веке французский романтик Шарль Нодье (автор не раз упоминаемого Пушкиным популярного романа «Збогар»): в 1830 году он издал книжку «История короля Богемии и его семи замков», написанную на «заумном языке», один из образцов романтической «озорной поэзии». Пушкин не даром сказал, выслушав декламацию «стихов», которые «сочинял» малолетний сын Дельвига и которые состояли из повторения слов: «Индия, да Индия, Индия, да Индия...»: «Славный мальчик. Настоящий романтик!..»

6

Нам, конечно, особенно интересно **содержание** произведений русских футуристов, несомненно каким-то образом связанное с словотворческими задачами, которые они себе ставили (и к которым мы еще вернемся).

Уже символисты стремились порвать с моральными, социальными и политическими тенденциями, которые были традиционны в русской литературе. Первому поколению символистов — Брюсову и Бальмонту — это отчасти удалось, хотя позже неумолимый и не желавший отказаться от своего представления о морально-социальном характере «проповеди» русской литературы С. Венгеров, и пытался соединить обоих поэтов с добродетельными реалистами под общим знаменем: «героический характер русской литературы» (книгу под этим заглавием Венгеров издал в 1911 году). Но отвергая какую-либо определенную идеологию, нужно было ей противопоставить **иную**, хотя бы и «отрицательную». И Брюсов вынужден был позже создать для себя чисто эстетическое мировоззрение. А затем выступили представители «второго поколения», Белый и Блок и их старшие союзники (Вячеслав Иванов и примыкавшие ранее к первому поколению Сологуб, Мережковский, Гиппиус) уже с различными, но во всех случаях конкретными хотя и неясными философскими и отчасти даже религиозными воззрениями.

Футуристы сначала игнорировали философию и богословие символистов — отчасти по неосведомленности, по некомпетентности, но также и из принципиального отрицания всяких «вне-эстетических» заданий поэзии. Не интересовала их и политика: позднейшая самостилизация некоторых из них или «их прическа» (в частности Маяковского) «под Ленина» услужливыми критиками и «самим» Луначарским совершалась из соображений весьма практических, а отчасти (как в случае Маяковского и, вероятно, и В. Каменского и некоторых других) была иллюзорным самообманом, проекцией задним числом их коммунистических взглядов в 20-х годах (а может, быть и уже с 1917 г.) в их вовсе не коммунистическое, хотя, вероятно, и неопределенно-революционное прошлое.

Между тем почти все футуристы имели «в общем и целом» довольно ясные взгляды по нескольким существенным вопросам. Прежде всего они были русскими **националистами**, конечно, не в отрицательном значении этого слова. Они считали себя представителями **русского** искусства и **русской** литературы, которую они прежде всего хотели увести «вперед», но на новые пути. Это сознание раньше всего, как кажется, было четко высказано братьями Давидом и Владимиром Бурлюк в каталоге Международной Мюнхенской выставки 1910/11 г. Выставка была одним из примечательных выступлений международного нового искусства; в ней приняли наряду с нем-

цами участие Пикассо, Брак, Руо, Вламинк, Дерэн и русские художники — Кандинский, Явленский, Марианна Веревкина,⁶ братья Бурлюки, Бехтерев и т. д.⁷ В каталоге появилась статья, подписанная братьями Бурлюк: они прежде всего подчеркивают, что совершенно ошибочно думать, что они, русские «левые художники», «слепо подчинились влияниям французского искусства». Французское искусство, действительно, «родственно и понятно» русским: «гиперболизм линии и краски, архаический характер, упрощение в синтезе»⁸ все эти черты имеются уже в русском искусстве, а именно в церковных фресках (вероятно имелась в виду стенная роспись церковью Новгорода и окрестностей), в лубках и в иконах, затем уже в «скифской пластике» и в «ужасных идолах» (?). Источники многих приемов поэтики футуристов действительно коренятся в народной поэзии, на что справедливо указывал в своей брошюре о Хлебникове Р. Якобсон. Правда, с некоторым легкомыслием футуристы выбрали себе имя, уже использованное совершенно иными по духу итальянскими поэтами (Маринетти) и почти не употребляли свое «русское» имя «Будетляне». Когда Маринетти приехал в Россию его русские соименники, футуристы, не только блистали отсутствием на его вечере, но опубликовали протест против его торжественного приема. Попытки футуристов построить славянскую мифологию (Хлебников и даже Асеев со своей посвященной языческому Перуну песней и др.) и фантастически-исторические мотивы (казацкая Украина у Асеева) выходят даже за пределы русского к общеславянскому национализму (ср. стихотворение «Боевая» Хлебникова, обращенное к «прапрадеду славян», автором изобретенному Славуну). Если мы вспомним, что вдумчивые чита-

⁶ Замечательная русская художница, работавшая в Мюнхене одновременно с Кандинским и Явленским, и теоретик нового искусства. Одна моя ученица готовится о Веревкиной (она именовала себя в Германии *Marianne von Wereffkin*) специальную работу.

⁷ В 1962 году галерея Штангль в Мюнхене организовала выставку, на которой были представлены те же работы, что на выставке 1910/11 гг.; конечно организатору не удалось получить всех работ прежней выставки, но впечатление осталось огромное: уже в 1910 г. существовали собственно все основные течения современной «новой живописи».

⁸ Я-цитирую в возможно точном переводе. Статья написана на довольно «диком» немецком языке и кое-что не совсем понятно.

тели ощущали поэзию и Брюсова и Бальмонта и Кузмина, как своего рода «иностранщину» на русской почве, т. е. как поэзию не-русскую по характеру (см. напр. воспоминания А. Белого и М. Цветаевой), то надо сказать, что футуристы в каком-то смысле продолжают традицию русских **славянофилов**, примыкая к таким представителям символизма, как Ремизов и Сергей Городецкий. И даже Игорь Северянин при всем иностранном звучании его поэт мог писать «Русскую» и также делать робкие шаги в сторону русской мифологии (стихотворение «Поврага» итп.).

Тот факт, что ряд футуристов примкнул после революции, ее второй коммунистической фазы, к господствующей партии вытекал из другой основной черты настроений футуристов: из их более капризных настроений, чем из сознательного политического мышления основанного на оппозиции к тогда «существующему строю», не столько к политическому режиму, сколько к «буржуазному обществу» вообще. И в этом футуристы были в каком-то смысле попутчиками символистов, у которых не только вспыхивали по временам (возможно, в порядке так сказать, «инфекции духом времени») революционные настроения, но, главное было почти постоянное отталкивание от спокойного, уравновешенного **быта**, а отчасти протест против быта вообще. И даже утопии какой-то «новой духовности» (напр. у Вячеслава Иванова) были не чужды и футуристы. Такой неопределенный и обычно ни к каким конкретным результатам — даже в их частной жизни — не приводящий утопизм вообще характерен для жизненных установок — не только русских — поэтов и художников. И революцию футуристы восприняли сначала как образование какой-то «*tabula rasa*», чистого поля для художественных экспериментов: Маяковский написал своей (Первый) «Приказ по армии искусств»:

Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.

И совершенно в том же стиле повторяет Василий Каменский: «**Декрет о заборной литературе** — о росписи улиц — о балконах с музыкой — о карнавалах искусств».

А ну-ко робята-галанты
поэты — художники — музыканты
засучивайте кумачевые рукава (...)

Давайте все пустые заборы
крыши — фасады — тротуары —
распишем во славу Вольности (...)

... расписывайте стены гениально
и площади — и вывески — и витрины (...)

Требуется устроить жизнь
раздольницу
солнцевейную- ветрокудную
чтоб на песню походила
на Творческую Вольницу (...)

Это был призыв к празднествам «Карнавалам и Шествиям». И Маяковский даже в страшном 1923 году советовал:

выбрать день
 самый синий,
и чтоб на улицах
 улыбающиеся милиционеры
всем
 в этот день
 раздавали апельсины.

Но что апельсины, тогда хлеба не было! **Поэтически** утопическое восприятие и приятие революции было почти что общим у футуристов всех толков. Даже наиболее партийный из них Сергей Третьяков, вероятно, именно за свою партийность заплативший жизнью в период одной из чисток, призывал к празднованию первого мая словами:

сердца взломай!
Рабочий май!

И Хлебников:

Свобода приходит нагая,
бросая на сердце цветы.
И мы с нею в ногу шагая,
беседуем с небом на ты.

Количество таких цитат можно было бы умножить. И все они говорили бы о надеждах на несбывшееся.

Но существенна еще одна почти всем футуристам общая черта мироощущения: какое-то внутреннее единение человека

и природы, живого и неживого в мире. Метафорическое сближение живой и неживой природы знал еще Аристотель (и поэт Хоробоска уже в Изборнике в 1073 г. переписанном в Киеве). Гоголь и примкнувшая к нему «Натуральная школа» 40-х годов прошлого века знали многочисленные «метафоры вниз» — сближавшие людей с животными и даже предметами. Несомненная цель таких «метафор вниз» была — обнаружение **ничтожества** этого мира и его человеческих представителей. Совсем иное в сближениях объектов живой и неживой природы с личным бытием человека у футуристов. Цель этих метафорических сближений не принижение человека и культуры, а наоборот «оживление» всего мира «персонификация» всего бытия:

угрюмый дождь скосил *глаза* ...
смотрело небо ...
 кривая площадь *кралась* ...
 Прижались лодки в люльках входов
 к *сосцам железных матерей* (пароходов. Д. Ч.)
 В *ушах* оглохших пароходов
 горели серьги якорей.

Это Маяковский. Но тоже у Хлебникова:

осенняя *дума* грачей ...
ползет ко мне плетень ...

так *хотела* бы струя,
 так *хотела* бы водица
 убежать и расходиться ...

Или ранний Пастернак:

... Оттепель, харкая
 ошипывала фонарь,
 как куропатку кухарка ...

«плачущий сад» —
 ... капнет и *вслушается*,
 всё он ли один на свете ...

грозой *одурённая* влага ...

снег *припоминает* ...

И ранний Асеев:

...прочел тоски *записку*
потерянную желтым вязом

Закат онемелый трепещет
и сбывшийся день *беспокоен*...

...зевнет над нами осень...

пляшут гневливо холмы

Конечно, примеры персонификации найдем в изобилии у многих поэтов прошлого. Но футуристы с какой-то настойчивой наивностью непрерывно твердят о «живых» предметах, видят то «скачущие буквы», то «сладострастный фонарь», и слышат в реве заводских сирен или свистках пароходов **голоса** «любви и похоти» или **«песни** стального соловья». Но сам поэт как будто «расчеловечен» и является только речевым органом, голосом человечества или вернее природы или даже всего космоса: поэзия «это слёзы вселенной» (Пастернак). И это не вполне ново и звучит, как эхо философии искусства Шеллинга, большинству футуристов, конечно, неизвестной.

И именно в этой общечеловечности поэтического голоса право Маяковского говорить от имени Соединенных Штатов или Мексики, право Сергея Третьякова призывать: «Рычи, Китай!». И право строить свой голос по собственному соображению и желанию, и если угодно — прихоти.

7

И тут мы вернемся на короткое время к проблеме поэтического языка футуристов. Программные манифесты первых годов футуризма объявляли об отрицании правописания. Проблемы реформы всей системы языка собственно говоря не получили достаточного теоретического освещения. Словотворчество футуристов оказалось — по крайней мере в пределах поэзии — продуктивным художественным приемом, в особенности словопроизводства «ad hoc», в определенном контексте и к определенному случаю: по существу это почти всегда остроты, «игра слов», часто очень удачные, в особенности у такого мастера острословия, как Маяковский. Вспомним, например его негодование по поводу того, что в порядке «социализации быта» возник наряду с разными «поездами-банями

имени Карла Маркса», «пивной завод имени Бебеля» — это значит, что и словарь пьяниц приходится изменить —

уже не говорят про него (пьяницу. Д. Ч.) —

«на-зю-зю-кался».

а говорят —

«на-бе-бе-лился» (...)

Что вы, товарищи

бе-белены

объелись,

что ли?..

Достаточно просмотреть стихотворения Маяковского с рифмами напр. на всяческие невероятные наименования новых советских учреждений от «Моссельпрома» («нигде кроме, как в Моссельпроме») до уже, казалось бы совершенно нерифмуемых «МЮД», «ГУМ» и даже «О.Д.В.Ф.», и его рекламные плакаты и «Окна Роста», чтобы убедиться в его необыкновенной способности к изобретению новых «небывалых» и неожиданных рифм.

О «бедности» русской рифмы спорил уже Пушкин с Вяземским. Эта «бедность» несомненно окончательно преодолена системой «неточных рифм» Маяковского (в чем его предшественниками были, впрочем, Блок, отчасти Брюсов и З. Гиппиус и еще раньше — Алексей Константинович Толстой). Рифмы футуристов примыкают не только к этой «реформе» Маяковского; «обогащение» запаса русских рифм идет различными путями. Среди футуристов и Бенедикт Лившиц с его рифмами на «ученые» слова (он рифмует напр. ашантию :: мантию, рябо :: Рэмбо, пожар :: тиар итп.). Особенно много рифм на иностранные — или по иностранному звучащие слова у Игоря Северянина (рифмы напр. на такие слова, как: палац, плац, крем-брюле, кратер, сфер, фарватер, шофёр, урна, принц, Григ, пилот, но также и на вновь им изобретенные слова и словечки: Атлант (вместо Атлантический океан), Аполлонец, род. пад. мн. числа — «провинц», и уже по-русски звучащие новообразования, вроде: бездарь, олонец итп.). И не только Маяковский искал новых, «**неточных**» рифм, соответствующих духу русского языка с его «аканьем» и «редукцией» (неясным произношением неударяемых гласных). И Игорь Северянин играет неточными рифмами и созвучиями:

Пук белых молний взметнула вьюга,
со снежным полем слилась дорога,

я слышу поступь мороза-мага;
он весь из вьюги, он весь из снега.
В мотивах Грига — бессмертье мига.

Кажется, совсем забыто, что такой игрой увлекался и Асеев, напр. изображая вечер где-то на Дону:

Когда земное склонит лень,
выходит стенью тени лань,
с ветвей скользит белея лунь,
волну сердито взроет линь... (итд.)

Футуристы, по заявлению их манифестов, «открыли» «начальную рифму» — созвучия в начале строк. Таковы напр. строки Давида Бурлюка (правда, соединяющие с «начальной рифмой» элементы «зауми»):

А к островам прибьет ладья,
а кос трав и лад и я.
А ладан вечера монах,
а ладно сумрак на волнах —
заката сноп упал и нет
закабаленных тенет (итд.)

Сходно — у Хлебникова. Хлебников идет дальше и пишет «Перевертни», т. е. стихотворения, каждую строку которых можно читать и слева направо и справа налево — и это **не новое** изобретение, такие латинские строки сохранились от античности и от средневековья («раковые стихи»), их писали в 17 веке в эпоху бароко,⁹ и от Гавриила Романовича Державина сохранились такие «раковые» строчки:

Я разуму, уму заря...
Я иду с мечем, судия...

И Брюсов в «Опытах» напечатал «буквенные палиндромы» (по его терминологии), напр.:

Г о л о с Л у н ы

Я — око покоя,
Я — дали ладья,

⁹ Я издал собрание примеров таких и подобных «поэтических игрушек» в сборнике «Формалистическая поэзия у славян» (Гейдельбергские славянские тексты, томик 3, Висбаден 1958, с немецким пояснительным текстом).

и чуть узору розу тучи,
я радугу лугу даря! (итд.)

Хлебников напечатал свой первый «Перевертень» еще в период ранней борьбы футуристов с традицией; «**Перевертень**» начинается строками:

Кони, топот, инок,
но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди
чин зван мечем навзничь (итд.)

Позже им написана поэма «Разин», в которой все строки (около 400!) можно читать в обоих направлениях. Поэма начинается главой:

П у т ь
Сегуй утес!
Утро чёрту!
Мы, низари, летели Разиным.
Течет и нежен, нежен и течет.
Волгу див несёт, тесен вид углов.
Олени. Синело.
Оно.
Ива пук. Купавы.
Лепет и тёпел
ветел, летев.
Топот.
. (итд.)

В поэме есть ряд «осмысленных» строк, напр.

Пазуху нежь жениху . . .

Волокут, а кат у колов.
Не сажусь, ужасен ! . .

Но и в выше цитированном отрывке, есть строки, непонятные только тем, кто незнаком с языковыми реформами футуристов. «Летели Разиным», конечно, то же самое, что обычное «Летели с Разиным», так как к языковой программе футуристов принадлежала реформа (или даже «разрушение») синтаксиса. Решительная реформа языка вряд ли может быть произведе-

на отдельными инициаторами. Легче всего ввести в язык словесные неологизмы. Реформа синтаксиса, словосочетания несравненно труднее. И особенное сопротивление оказывает попыткам изменений морфологическая структура языка. Чтобы не останавливаться на всех реформаторских попытках футуристов, упомяну только «отмену предлогов». Замечательно, что в нескольких случаях это новшество оказалось архаизмом: еще в 11-м и в начале 12-го веков русский язык знал употребление существительных без предлогов напр. в таких случаях как «Новгороде» вместо «в Новгороде» или «иде Киеву» вместо нынешнего «шел в Киев» или «к Киеву». И когда кто-то из семьи Бурлюков писал «мой брат учится Пензе» то эта фраза совершенно понятна, но звучит так же архаически, как и строки в ряде стихотворений футуристов. Напр. у Д. Бурлюка:

Она смеется облачном саду
всегда лазурном полном лепестков . . .

.
Она струится радостных объятьях,
где тонок тканью серебро-туман,
любви взглядах, просьбах и заклетьях,
атомах чувствий всех и знания нирван.

Правда и эта реформа оказалась вскоре забытой самими футуристами и разрушение синтаксиса свелось, пожалуй, только к упразднению знаков препинания (отсутствие их в некоторых вышеприведенных цитатах читатель не должен приписывать моей невнимательности или небрежности авторов). Кстати, один из наиболее интересных чешских поэтов нашего времени, недавно умерший Витезслав Незвал считал, что хорошее стихотворение каждый должен прочесть и **без** знаков препинания «правильно» — и по отношению к своим стихотворениям Незвал в большинстве случаев был прав.

8

Мы почти-что ничего не говорили о «внешней истории» футуризма: для ее объективного изображения, кажется, еще не пришло время. Особенно трудно судить о взаимоотношениях отдельных групп и представителей футуризма, так как воспоминаний участников мало и они написаны по большей части с точки зрения ретроспективной, и как часто бы-

вает в таких случаях, искажающей передаваемые факты, даже при искреннем желании авторов быть откровенными и объективными. Материалы, в свое время не печатавшиеся и в значительной части, вероятно, погибшие, пока недоступны, даже альманахи и сборники стихотворений найти трудно, иногда невозможно. Поэтому только вкратце можно указать на такие факты, как «открытие» Маяковского как поэта Д. Бурлюком, образование небольшой тесной группы, к которой сначала примкнул и Игорь Северянин, уже во время пропагандистской поездки по России отделившийся от группы Маяковского-Бурлюка-Каменского. Эта Группа приняла имя «Кубо-футуристов», а Игорь Северянин и немногие, нынче забытые его спутники, — имя «Эго-футуристов». Революция 1917 года, и во всяком случае ее вторая октябрьская фаза, снова расколола футуристов, уже по причинам личного отношения к коммунизму. Кой-кто оказался в рядах других новых течений, напр. «имажинистов». За руководящую роль футуристов в рамках советской культуры упорно боролся «Лэф» («Левый фронт»), эта борьба с политической необходимостью должна была кончиться поражением «Лефа» и «победой» официальной линии, не допускавшей никакого свободного творчества. Первоначально примкнувший к футуризму Пастернак, еще и в советский период принадлежал вместе с С. Бобровым к замечательной футуристической группе «Центрифуга» (или «Лирика»), к ним был близок и Асеев. Чтение ранних стихотворений Пастернака не может оставить никакого сомнения в его внутренней близости к футуризму в широком смысле этого слова, о чем он, впрочем и сам говорит в «Охранной грамоте».

Мы на ряде примеров могли видеть, насколько задания, поставленные себе футуристами были близки к тенденциям раннего символизма. И мне представляется, как уже упомянуто выше, вполне вероятным, что через два-три десятилетия историки литературы будут рассматривать футуризм, как внутренне связанное с символизмом течение, возможно даже «третью ступень» того перерождения русской поэзии, которое началось в 90-х годах 19-го века и было насильственно прервано «победой» (отнюдь не «бескровной», если вспомним о кровавых жертвах во время «чисток», о расстреле Третьякова, и о самоубийствах Есенина и Маяковского) социалистического реализма...

А в наше время вполне возможно — и этот процесс в какой-то мере проходит и в Советском Союзе — «возрожде-

ние» или, вернее, в исторической перспективе «восстановление» из пепла ряда репутаций (напр. Д. Бурлюка и Сергея Боброва) или **ранних периодов** творчества других авторов (напр. печатающихся и сейчас, но в односторонних выборках раннего Асеева и Василия Каменского) и в особенности восстановления в памяти современников по крайней мере отдельных стихотворений других поэтов (даже Игоря Северянина, который сам разрушил свою поэтическую репутацию, засорив и свои первые сборники халтурой и издав в поздние годы ряд дальнейших сборников, которые вообще почти ничего интересного не содержат).

Мы говорили главным образом об «открытиях» и «изобретениях» ранних футуристов, которые особенно для представителей старшего поколения и «литературных староверов» (к которым я отношусь во многих случаях с признанием, но к которым не принадлежал и не принадлежу) звучат иногда нестерпимыми диссонансами и представляются резкими и грубыми. Пусть откровенно выскажут свое мнение о ранних стихотворениях Пастернака (иногда они останавливаются с недоумением и перед отдельными образами и метафорами «Доктора Живаго») такие «литературные староверы» (иногда пытающиеся псевдо-аргументами «затянуть» Пастернака в гниловатое болото поздне-бальмонтского символизма). Например о таких строфах и строках, как:

П о э з и я

Поэзия.

... ты — лето с местом в третьем классе

ты — пригород, а не припев.

Ты — душная как май, Ямская,

Шевардина ночной редут...

... Отростки ливня грязнут в гроздьях... (итд.)

О п р е д е л е н и е п о э з и и

... Это — сладкий, заглохший горох,

это — слезы вселенной в лопатках,

это — с пультов и с флейт — Фигаро

низвергается градом на грядку...

Ф у ф а й к а б о л ь н о г о

.
 Усадьба и ужас, пустой в остальном:
 шкафы с хрусталем и ковры и лари.
 Забор привлекало, что дом воспалён.
 Снаружи казалось у люстр плеврит. (итд.)

Но вряд ли и «новаторы» и «староверы» откажутся признать некоторые поэтические достоинства в ранних стихотворениях Игоря Северянина.

И уж, конечно, никаких элементов поэтической пошлости нельзя найти в стихотворениях такого забытого (его имени нет напр. в книге Г. Струве), но замечательного поэта (и теоретика литературы), как Сергей Бобров. Вспомним напр. его, посвященное Н. Асееву, стихотворение **«Осенние печали»**:

Там в садах лазури холодной,
 звенят, улетаая, стрижи.

Ты о скорби нашей свободной
 расскажи.

Нас осыпали пурпуром клены.
 Мы одни.

Как далекие, смутные звоны
 наши тихие, бедные дни . . .

или его же окончание стихотворения **«Сад»** (я, к сожалению, не могу цитировать стихотворений целиком; некоторые полные тексты читатель может найти в только что вышедшем изданном мною сборнике стихотворений «Ранние футуристы», выпуск 7 Гейдельбергских славянских текстов (Висбаден 1963.) Вспомним и его «символическое» стихотворение **«Раб»**; — смысл реального образа попавшего в плен и гонимого на рынок рабов человека, раскрывается эпиграфом из Владимира Соловьева «Я раб греха». Забыты и не печатающиеся в «избранных» (всегда «избранных», но почему-то всегда не очень удачно) стихотворениях Асеева **«Терцины другу»** (Пастернаку).

Мы пьем скорбей и горечи вино
 и у небес не требуем иного,
 зане свежит и нудит нас оно.

Оратаи и сеятели слова
мы отдыху не предаемся. Здесь
мы не имеем пристани и крова.

И, не говоря уже о замечательных «балладах» (он сам их так не называл) Хлебникова, вспомним хотя бы его пейзажи, напр. из поэмы «Поэт»:

Как осень изменяет сад,
даёт багрец, цвет синей меди,
и самоцветный водопад
снегов предшествует победе,
и жаром самой яркой грёзы
стволы украшены березы,
и с летней зеленью проститься
летит зимы глашатай птица,
где тонкой шалью золотой
одет откос холмов крутой . . .

И еще о многом, многом можно было бы напомнить. Конечно, в ответ на такие «напоминания» скептики и «литературные староверы» в свою очередь напомнят нам о мною забытых (см. выше!) «дыр-бул-щыл» Крученых и пошлости Игоря Северянина («плюй на все предрассудки, как на подлое свинство», или его же манию величия: («Я, гений Игорь Северянин») и призывы в манифестах футуристов «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» (призыв вскоре почти всеми футуристами забытый; большинство их, начиная с Маяковского, примкнули не только к Пушкинской, но и к более старым русским поэтическим традициям, напр. к Державинской, а в прозе к традиции Достоевского). Мы также помним об этом. Но надо помнить также и о том, что в искусстве без дерзания и даже дерзости редко возникают и укрепляются новые художественные ценности, и что так дело обстоит в частности и в особенности в поэзии!

Гейдельберг

Дмитрий Чижевский

МАРИЯ УНДЭР

К ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ЭСТОНСКОГО ПОЭТА

Слово становится поэзией только тогда, когда оно исполнено внутренним звучанием. Только переживание зачатое в этом трепете перерождается в живой символ. Только поэтическое выражение, из этой вибрации исходящее, возвышается и перевоплощается в стиль.

При этом техника и формосоздание могут иметь две совсем разные функции. Техник (регулятор поверхности и пространства словесной материи) — составляет, формосоздатель же **созидает (строит)**. Техник может быть необыкновенным шлифовальщиком сырого словесного материала и тогда его стихи — подобно многим стихам Валерия Брюсова или Георгия Шенгели — хорошие примеры чисто научного подхода к поэтике. Он может быть также утонченным и искусным мыслителем и тогда его творчество представляет собой философию в стихотворной форме.

Поэт настроенный аскетически и мыслящий методично, может достигнуть многого, очень многого. Но иногда он становится похожим на скрипача, который упражнялся ежедневно по десять часов в течение сорока лет и достиг необыкновенной виртуозности, но которому не доставало таинственного, недостижимого даже при самых отчаянных упражнениях, энтузиазме и сноровке — качества, которое превращает игру на скрипке в музыку — ему не доставало **тона**, поющего музыкального звука. Или он может стать тем трагическим организмом, который мог продемонстрировать самые блестящие пассажи, но в органичных мехах которого отсутствовал ветер. Этот тон, именно это веяние не могли «симулировать» даже такие тонкие ювелиры поэтического слова как Николай Гумилев и Стефан Георге. Это неземное дуновение, этот субъективный трепет сверхличного бытия, этот *Lumen Gratiae* дается стихотворцу Богом. Но стихотворец должен помнить, что самое наличие этого внутреннего сияния не делает его еще великим поэтом. «Гений, это не исходная точка, это — предельный ко-

нечный результат творчества», говорит Поль Валери. Таким как раз и является путь эстонского поэта Марии Ундэр — носительницы какого-то первозданного звучания слов и большого самобытного художника.

Мария Ундэр, как и Борис Пастернак, борец за живое слово. И хотя ее творчество точно также охватывает самые разнообразные области, она как и он, поэт отнюдь не интернациональный, а **над-индивидуалистический** (этим термином я хочу обозначить такого рода углубление личных переживаний, когда они перестают быть личными и становятся общечеловеческими). В этом смысле творчество Марии Ундэр — самое вдохновляющее явление в эстонской литературе. И в то же время, она несомненно один из самых выдающихся поэтов 20-го века вообще; в международной печати ее не раз сравнивали с Ахматовой, Рильке и Йэтсом.

В 1937 году исполнительный комитет Международного П. Э. Н. Клуба избрал Марию Ундэр своим почетным членом (список таких членов весьма ограничен и включает только такие имена как например: Мэтерлинк, Томас Манн, Валери). Многие из стихов Марии Ундэр появились в переводах на иностранные языки, многие еще ждут достойного поэтического воспроизведения, которое бы сделало их доступными международному читателю. Ведь стихи великого поэта могут быть переведены только поэтом такого-же масштаба или исключительно даровитым мастером-переводчиком. Лучшие переводы стихов Марии Ундэр на английский и немецкий языки, исполнены эстонским литературоведом Антсом Орасом, профессором английской литературы во флоридском университете. К сожалению переводы эти разбросаны в журналах и антологиях. На русском языке, Игорь Северянин, сохранив жизненность оригиналов, передал основные качества поэзии Ундэр — т. е. свежесть и непосредственность ее полного динамики поэтического языка. Жаль, что Северянин перевел только ранние стихи Ундэр (**Предцветенье**, Нарва, Минис, 1936). Меньше удовлетворяют английские переводы покойного проф. Вильяма К. Матьюся.¹ Гораздо лучше немецкий сборник избранных сочинений Марии Ундэр под редакцией поэта Германа Стока.² Помимо многих произведений Марии Ундэр, переведенных на француз-

¹ Child of Man. Дитя человека. Избранное Марии Ундэр, Лондон, Бореас, 1955.

² Stimme aus dem Schatten. Голос из тени, Фрейбург, Хердер Ферлаг, 1949.

ский, финский, чешский, латышский, литовский и другие языки, отдельным томом вышел сборник ее стихотворений на эсперанто в переводе Хильды Дрейзер и русский перевод Юрия Шумакова. А этой весной в Стокгольме было опубликовано шведское издание стихов Марии Ундэр с предисловием известного шведского поэта Йоханнеса Эдфельда.

Даже русские мало знают о родине Марии Ундэр — Эстонии, которая выступила на мировую арену, как независимое государство, только в 1918 году, после ожесточенной борьбы с большевиками. Осенью 1944 года, Эстония вторично подпала под советскую власть, и с тех пор Мария Ундэр — эмигрантка в Швеции.

Согласно старинным хроникам и преданиям, эстонцы первоначально были диким народом, даже пиратами, и их опасались все плававшие в Балтийском море. Но истории они скорее известны как смелые воины и как миро- и трудолюбивый народ земледельцев и рыбаков. В начале 13 столетия, после долгих и тяжелых боев эстонцы были покорены немецким орденом меченосцев и находились в чуждом подчинении у немцев, шведов и русских в течение шести столетий. Реформация принесла с собой новые либеральные идеи и поощрение литературной деятельности на эстонском языке. С тех пор язык непрестанно развивается. Своим ростом, очищением и обновлением в 20-ом столетии эстонский язык в первую очередь обязан трудам крупного эстонского лингвиста, одаренного поэтическим прозрением Йоханнеса Аавика (род. 1880), эмигрировавшего в Швецию. Йоханнес Аавик создал свыше 5.000 новых эстонских слов, основываясь при этом на сходстве эстонского и финского языков. Недаром Аавик был назван и считается Мартином Лютером эстонского языка. Эстонский язык принадлежит к группе угро-финских, семье урало-алтайских языков, но он отличается большей сжатостью, чем напр. финский. Ударение всегда падает на первый слог. Особенно богат эстонский язык гласными. Игорь Северянин сказал: «Исключительно гибкий и мелодичный, эстонский язык несомненно один из самых красивых».

У эстонцев всегда было большое влечение к поэзии. На всех празднествах, и сборищах принято было импровизировать песни, чаще всего в минорном ключе, нередко пользуясь всего пятью нотами. Обыкновенно женщины за работой, будь это дома, в лесу, за пряжей или в поле пели сочиненные тут же и слова к своим песням. Так продолжается, до известной степени, и по сей день.

Эпос «Калевипоэг» (Сын Калева), записанный в окончательном виде в середине 19 века, состоит из 20 песен: более 19.000 стансов в четырехстопном хорее, без рифмы, но изобилующих мелодическими ассонансами, аллитерациями и большой оригинальностью метафор. Певец Калевипоэга не только пророк, но и эстет, заботящийся о внешней красоте своих сказаний:

Подбирать слова я стану,
прясть серебряную нитку
да сучить золотую пряжу
на пол медные пуская
в звонкий танец веретена!

Перевод Вл. Державина

Эстонская литература и искусство, исходящие из национальной традиции, развивались главным образом под влиянием Запада. Эстонское Литературное Общество было основано в 1872 году. Первый председатель общества, Якоб Хурт (1839-1907), собрал большое количество народных песен, сказок и загадок, часть которых впоследствии он опубликовал.

Самыми выдающимися представителями эстонской поэзии в 19 веке были Кристиан Яак Петерсон (1801-1882) и Лидия Коидула (1843-1886). Первый из них, лирик-визионер, умел на еще не развитом эстонском языке выразить даже самые неуловимые настроения и драматические переживания. Но настоящий расцвет эстонской поэзии надо отнести к самому началу 20-го столетия. Первым внесшим несомненную новизну был самоучка, большой поэт, Юхан Лив (1864-1913). Его трагическая лирика является воплощением богатства идей, стилистических фигур и пророческих патриотических видений. В 1905 году, группа молодых радикальных поэтов объединилась в движение, под названием «Молодая Эстония». Густав Суйтс (1883-1956), основоположник этого движения, был в нем самой сильной личностью. Благодаря большой внутренней энергии своих стихов и их идейности, он стал вождем и духовным учителем своего поколения.³

С Марии Ундэр (род. 27-го марта 1883 года в Таллине) началось Возрождение эстонской поэзии в более широком

³ См. Flame on the wind. Пламя на ветру — Избранное из поэзии Густава Суйтса. Составил и перевел с эстонского на английский В. К. Матьюс, Лондон, Бореас, 1953.

масштабе. В литературу она вошла 34-х лет, хотя и до этого были ею написаны два тома стихов. Мария Ундэр быстро освободилась от внешних влияний; с врожденной уверенностью в своих силах, она нашла, по словам проф. Ораса, пришедшую именно ей «форму тревожности», которая лучше всего передает ее переживания, исходящие из сильных душевных волнений и творческой вдохновенности. Благотворное влияние на поэзию Марии Ундэр имела ее тесная связь с литературным обществом Сиуру (имя мифической птицы), основанным в 1917 году, которое внесло в эстонскую литературу новую, частично экспрессионистическую форму, и новое содержание, носящее динамический и даже революционный характер. Особенно же ее поощрял в ее творческой работе поэт Артур Адсон (род. 1889) впоследствии ставший ее мужем, который сам пишет на интимно-мелодическом южно-эстонском диалекте. В 1917 году Мария Ундэр издала свою первую книгу «Сонеты», которая получила широкую известность. В этом первом сборнике стихов, как и в других последующих (Предцветенье и Синий Парус) Мария Ундэр сумела перевоплотить мир чувства в образы полные красок и света. В этих стихах отражены главным образом ее любовные переживания. Любовь и с нею связанные душевные волнения, колебания, преобразования, страсть — вот ее главная тема. Она старается передать различные оттенки чувств и выразить их разнообразными тропами; она прибегает к оригинальным и смелым метонимиям и аллегориям, пользуясь орнаментальным стихом. Зачастую ей удается выразить всю сложную эмоциональную жизнь женщины в нескольких ямбических строках. **Путь страсти** ею разработан, как пережитое, но ее романтические любовные стремления часто выражены простым непосредственным языком и всегда сопровождаются живым восприятием природы. В этот период, в котором детали сливаются с контурами и краски насыщены музыкой, она принадлежит своим творчеством к **импрессионистам**, но отличается от них полной свободой от какой-либо стилистической догматичности.

После этой подготовительной фазы, в которой молодая поэтесса как будто находит самое себя — наступает вторая, в которой она достигает постепенно еще более ярко выраженной индивидуальности. Эта вторая стадия (1919-1927) начинается томом стихов «Открытая рана», за которым следуют сборники «Наследие» и «Радость о прекрасном дне». От нежных тонов Мария Ундэр переходит к более сильным, но не

в ущерб преждему их сиянию; все сильнее развивается стремление к выразительности, к «имажинизму». Ее поэзия становится **экспрессионистической** и в то же время она ищет соотвещения между современным и традиционным. Наступает постепенное удаление от личных, чувственных и восторженных душевных волнений, отражающихся в некоторых ее ранних стихах, и их место начинает занимать некоторая осознанность вещей — объективность. Она начинает вводить в свои стихи тему большого города и городской жизни, причем выражает она ее непосредственно и убедительно, изображая ужасы с изумительной точностью. Это все, конечно, можно бы было рассматривать, как попытку возврата к натурализму. Некоторые стихи действительно как бы показывают желание автора дать, если не натуралистическую, то во всяком случае резко реалистическую формулировку, если бы не своеобразие формы, соответствующее особому складу души поэтессы и если бы несмотря на всю пронизательную наблюдательность — ее главной целью не было проникновение за пределы мира чувств. Таким образом это были лишь последние очевидные проявления ее склонности к барокко, с которым она втайне начала бороться. По существу некоторые характерные черты барокко, беспокойно-динамическая сила слова и повышенная образность присущи многим периодам творчества Ундэр.

Уже в сборнике «Радость о прекрасном дне» — искусный и в своей интеллектуальности убедительный стиль, с сравнениями и неожиданными оборотами речи, начинает уклоняться к метафизическому познанию. И тут наступает **созерцательный** период творчества Марии Ундэр, который длится до наших дней. Несмотря на романтическую дикцию, ее творчество принимает более классическую форму благодаря чистоте и точности выражения. И тема и композиция приобретают все большую законченность.

За «Радостью о прекрасном дне» следуют сборники «Голос из тени» (1927), «Затмение счастья» (1929), «Под открытым небом» (1930), «Камень с сердца» (1935) и «Горестными губами» (1942). Стихи этих сборников большею частью мрачные, показывают, что автору знакома и темная сторона жизни. Многие из ее предчувствий и сомнений, для разрешения которых Мария Ундэр применила всю глубину своего интеллекта и чувства — теперь звучат в ее поэзии как своего рода пророчество. Трепетное волнение, которым преисполнено ее бытие и полнота ее личной жизни отступают на задний план. Мария Ундэр стала одинока; она больше не счи-

тает себя наследницей жизненных богатств, а принимает жизнь потрясенная изобилием даров земных, и настолько вживается в разные явления жизни, что порой теряет в них собственное я. Столкновение со смертью пробуждает в Марии Ундэр обострение поэтического чутья. Смерть дает ей то, чего не смогла дать жизнь: познание полного и конечного переживания. Многие из стихов Марии Ундэр отражают художественные переживания даже если они и выражены словами обыкновенными словами. Полностью владеющая лексикой, Мария Ундэр проникает глубоко в суть вещей, чтобы передать эту тайну слову. Она добирается до самой ее сердцевины, старается из внутреннего образа создать внешне понятный. С возрастом растет сила ее мышления — Мария Ундэр «победила» мир, т. к. полностью себе отдает отчет в его метафизических и религиозных запросах.

Помимо чисто созерцательных стихов Марии Ундэр, есть у нее и баллады и легенды. В них Ундэр, как впрочем и другие великие скандинавские и балтийские люди искусства (напр. Сибелиус, Мунк, Кр. Рауд и отчасти Галлен-Каллела), предстает перед читателем, как исключительное явление эстонской поэзии, особенно там, где при помощи символики и четких портретов она запечатлела природу своей родины и духовный облик северян. В балладах и легендах, в отличие от своего обычного богатства форм, Мария Ундэр прибегает к привычному стилю народных песен, к их коротким, легким для пения четверстишиям. Эти произведения, больше чем другие, отражают непосредственность живого и полного свежести полета воображения и органическую связь его с эстонской народной мифологией. Ее баллада о смерти ребенка («Вознесение») пронизана очарованием и трогательной простотой, которые всегда покоряли и вероятно всегда будут покорять эстонского читателя.

Общее развитие Марии Ундэр является эволюцией и ростом от сенсуально-эмпирической поэзии к поэзии метафизического порядка. Глубоко потрясенная духовным миром, она опубликовала в 1935 году сборник «Камень с сердца», б. м. свою самую совершенную книгу стихов. Она продолжала писать в том же стиле в сборниках «Горестными губами» (1942) и «Искры в пепле» (1954). Недавно изданная новая ее книга с символическим названием «На грани» (1963) является крайним проявлением ее метафизического и метафорического мышления.

Творчество Марии Ундэр весьма многосторонне: ее патриотическая лирика полна стремительной движущей силы. В 1940 году, когда большевики заняли Эстонию, для Марии Ундэр представились три возможности. Она могла полностью отказаться от своей социальной философии, могла писать (в виде скрытого протеста) герметические стихи, символизирующие жестокости и зверства советских оккупационных властей или же героически высказать свое мнение. Она выбрала последнее и дала реальный образ всемирного ужаса, говоря фактически об опустошении ее любимой Эстонии. Мария Ундэр не упоминает в стихах своей нации и не называет страны по имени, что придает еще большую силу печали и гордости, которые она горестно воспекает в этих риторических, но совершенно убедительных, «металлических» стихах, которые многими декламируются, как новый национальный гимн. (См. перевод Лидии Алексеевой стихотворения «Мы ждем»).

Невозможно упомянуть о всех многочисленных и превосходных переводах, сделанных Марией Ундэр. Легкость, с какой она передает иноязычные стихи поразительна, как и проникновенное приспособление ее переводческого дара. Прежде всего ее привлекают поэты близкие ей по духу — Гёте — поклонницей которого она является с детства, потом Лермонтов — как видим, два знаменательных полюса в поэзии; Ибсен с его стремлением за пределы реализма и Бодлэр — одинокий знаток человеческой души. Мария Ундэр также переводила Рильке, Гофмансталя, Стефана Георге — этих новаторов поэтического языка и многих других. Из русских поэтов последних двух десятилетий она переводила Пастернака, Кленовского и Лидию Алексееву.

Очень важная черта характера Марии Ундэр это человечность ее жизненной философии. В этой статье уже были указаны некоторые ее свойства как мыслителя. Но обезбоженный мир эмпирического мышления не дает Марии Ундэр ответа на вопрос о смысле нашего существования. Она признает внутренний опыт, внутреннее озарение мысли. Ее волнует духовное столкновение и с жизнеутверждающей силой и с отдельной личностью. Именно поэтому ее поэзия и соответствует духу современного человека — но это не вымученная и не надуманная поэзия. Двойственность чувства и мысли для Марии Ундэр вовсе не означает раздвоения, а скорее сливается в ее творчестве в каком-то высшем единстве, приобретая особое сияние, в глубине которого лежит вся сила подлинного внутреннего видения.

Благодаря созерцательному направлению своего мышления, обостренно живым эмоциональным реакциям на воспринимаемое, Мария Ундэр достигла в своем творчестве настоящих высот и является единственным поэтом в своем роде. Главное значение ее поэзии не в ее чувственной, формальной или колоритной привлекательности, а в ее духовном содержании, глубине ума и человеческой пронизательности, что проходит через все ее стихи. С ранней молодости глубоко проникнутая внутренней верой, Мария Ундэр нашла для себя всеисчерпывающий смысл жизни.

«Страдать и не петь, это грустный удел. Петь и не страдать, для этого и существует горло», говорит Сэнт-Бэв. Для Марии Ундэр, страдание это и есть пение. Поразительна та жизненная сила, с которой она говорит о скорбном — преобразая тяжкое и трагическое в свет и звук.

Алексис Раннит

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

МАРИИ УНДЭР

Мы ждем (1946)

Разбились племени живые звенья,
родной очаг погашен смертной тенью.

Душа и плоть чужой стране не рады.
Мы не живем — проходим с жизнью рядом.

Глаза расширены от ожиданья,
но прямы плечи под крестом страданья.

Он легок нам — в одно упорно верим:
жизнь наш должник, она вернет потерю.

И от души к душе мольба сквозь годы:
приди, о день сверкающей свободы!

Тот день, что матерью зовет и ищет
детей потерянных на пепелище,

тот день, что нам вернет лицо и имя,
чтоб снова стали мертвые живыми!

Явись же, день, в святом и вольном свете, —
мы ждем в слезах, — твои родные дети.

Мы ждем тебя всё тверже, всё спокойней:
так легче жить, так умереть достойней.

Перев. Лидия Алексеева

Странствие во сне (1960)

Посв. Антсу Орасу

Вода расступилась под вихрем студеным,
вскипела река,
я, плюнув в ладони, гребла исступленно,
я челн уводила рукой моряка.

Вот берег, причал. Я осмелюсь ли, нет ли?
На что я решусь?
Как небо здесь юно, как шелест приветлив —
не смею иль смею, я здесь остаюсь.

Я воздух вдыхала и вновь выдыхала
до хрипа в груди,
и влажная зелень меня призывала
шепча первозданным дыханьем: «приди!»

Ручей заплескал под цветами вербены,
ответила: «Гей!
«Я здесь камышевые выведу стены,
«здесь место для хижины будет моей».

К ручью, как к сосцу припадает младенец, —
приникнув, пила —
и сила вливалась, и предкам в Эдеме,
казалось я ближе еще не была.

Вот пегие кони, храпя прогремели
сквозь лес во весь дух...
А ягоды! Ягод глаза голубели,
звенели в ветвях, лепетали вокруг.

Диковинных рыб я руками ловила.
Стрекозий полет
прожег мое сердце с блаженною силой, —
и кем я была — кто на свете поймет?

Когда ж я, богине равна, поднимала
дымящийся сноп,
услышала: кто-то хихикнул сначала,
и с шипом нахмурился остров лесной.

В моем благодатном приюте — сопенье,
насмешливый вопль:
и пеля глаза, в опадающей пене,
шут глупо воскликнул: «И только всего?»

Я вижу — мир чуждый меня окружает,
а лодки то — нет.
И здесь я чужая, и там я чужая,
Его ж, Одного, потеряла и след.

И что то терзало, и что то томило:
мне место не здесь, —

в спокойную прелесть счастливого мира
внесу я тоски и страдания весть.

Понять сатанинский обман невозможно:
судьба такова.
Я плачу на камне в пыли придорожной —
так сироты плачут, так плачет вдова.

Перев. Лидия Алексеева

Л е т н и й в е ч е р в д е р е в н е (1907)

На деревья льют тучи золото,
на полях туман цвета олова.
Я хожу-брожу в пышном клевере,
тяжко пахнущем в ночь на севере.

И шиповник снег сыплет розовый,
как усталые дети — грёзово
жаждут сна цветы. Стадо к дому в путь.
Тихо тихнет всё, чтоб уснуть, уснуть.

Перев. Игорь Северянин

М о я в е с н а (1916)

1

Моя весна — сейчас за Рождеством.
Давно, давно мне солнца нехватало:
сквозь запотелость рам лучей так мало,
и в скучной темноте мой дремлет дом.

Сквозь злые тучи, бури и метель
вам, ищущим глаза мои, от света

отвыкшие, — о, сколько вам привета!
Мглу улиц сдует красок карусель.

И трогательней чувства, и в глазах
скопление влаги. В ласковых мечтах
о изобилии будущем догадка.

Пусть долго ждать, но ждать зато так сладко!
Что лучше ожиданья? — Ничего.
Гоню зиму. Жду лета торжество.

2

Моя весна — сейчас за Рождеством.
Уже сажает первые отростки.
До октября продлится праздник блестящий,
до октября — упиться торжеством.

Застенчив пир вначале. Но разгар —
цветущая дурманящая спелость.
В конце его — печаль и оробелость,
когда погаснет праздника пожар.

Вы, гиацинты, — первые дары.
Последние — вы, астры. Как пестры
других цветов связующие ленты!

Летаю в белом платье я все дни.
На поясе пучок цветов. Они —
 пленительно-душистые моменты.

3

И летней ночью ждет меня весна.
Иду я в сад. Шаги так тихо-робки.
Там ангелы скользят, где росны тропки.
Во мне сплошная сеть ко сну от сна.

Блестит в аллеях сноп лучей. Левкой
с нарцисами склоняются: такое
в них изобилие запахов. В снегу
жасмина сладком руки берегу.

Меня чаруют волны аромата.
Иду, шатаюсь, пламенем объята.
Вуаль из роз, где синя высота.

Молочно-мягок воздух. Нежны тени.
В крови ликует радость в упоеньи:
«Бери, июнь, в невесты: я — юна».

4

Моя весна проходит в октябре:
в том винном месяце все гроздьи спелы.
Сплела венки веселость. Фрукты зрелы.
И листья золотеют на заре.

Легка усталость в теле: дни горчит
она слезою сладких пресыщений.
А в горьком всё же сласть. Так, без сомнений,
весеннее себя зиме вручит.

Серьезно и печально лицам стыть:
последние цветы в руках остыли.
Вам, деяньям полезным, время быть,
раскаяньям, посту и мыслям трезвым.
Таков удел. Но как же с сердцем резвым?
Не снова ль сны? Томление, не ты ли?

Перев. Игорь Северянин

РЕВОЛЮЦИЯ

В Петербург мы вернулись в конце мая 1916 г., — и я принялся за писание научной работы для «Русского Врача» — отчет о моих исследованиях в киевском лазарете, — и возобновил прием больных. Это было предреволюционное время, последний год царской России и 3-й год войны. К войне уже привыкли, военные сообщения просматривали наспех, и в помине не было патриотического энтузиазма и жертвенности, вызванных когда-то мобилизацией. Всюду чувствовался развал, беспорядки, халатность, неустроенность, неустойчивость, связанные с утратой веры в победу, с сознанием ненужности усилий при неотвратимых неудачах и с полным недоверием к верховной власти, которая и сама шла и страну вела к крушению. Жизнь в Петербурге стала напоминать довоенную. Люди уходили в свои дела, семьи, интересы, даже развлечения. Правда, о войне и политике говорили немало: одни что-то зловеще предрекали, другие обвиняли, критиковали, негодовали, возмущались, но, кроме убийства Распутина кучкой заговорщиков, не было предпринято никакого решительного акта ни военной, ни гражданской властью, дабы удержать страну на краю пропасти...

И вот грянула «февральская» революция... В три дня революционный ураган смел всю царскую Россию...

Термин «революция» обозначал не только политическое событие огромного исторического значения, но и перемену во множестве проявлений русской жизни; даже годами утвержденный домашний уклад вдруг развалился и превратился в сумбур, взволнованную бестолочь, беспорядок, отражающий хаос, царивший тогда на улицах, в правительственных учреждениях и частных предприятиях. Так, по крайней мере, было у нас.

Автор этих воспоминаний — Ив. Ив. Манухин, известный врач, ученый и общественный деятель. Первый отрывок из его воспоминаний напечатан нами в 54 кн. «Н. Ж.». Этот отрывок прислан нам душеприказчиком И. И. — О. И. Кошко. РЕД.

Наша размеренная жизнь с любимой нами точностью распределения времени работы, досуга, обедов, завтраков и проч. утратила стройность и превратилась в кавардак. Само собою вышло, что благодаря близости нашего местожительства (Сергиевская ул., угол Потемкинской) к центру революции — Таврическому Дворцу — наша квартира превратилась в своего рода общественную столовую или в клуб. В самое неожиданное время приходили знакомые с полужнакомыми, а иногда и совсем незнакомыми нам людьми, приходили, чтобы передохнуть, перекусить, обогреться, иногда телефонировать или просто обменяться впечатлениями. Целый день в столовой была толчея, с утра до вечера стоял самовар в окружении какой-нибудь питательной снеди; табачный дым обволакивал всю комнату... Посетители наши были самые разнообразные: Максим Горький, члены редакции его журнала «Летопись», сотрудники и просто лица, с которыми мы встречались в окружении М. Горького.

Первые дня два настроение у Горького было подавленное, он сомневался в успехе революционного движения: солдаты трусят, прячутся в подворотни, движение хаотично, у Таврического Дворца толпы народа, во Дворце давка, крики и гвалт (тоже полный хаос!), на улицах стрельба, и не понять, кто и в кого палит... достаточно двух батальонов регулярного войска, чтобы очистить Дворец и разогнать народ. Но этих двух батальонов не оказалось — и через 3-4 дня Горький — в торжество революции поверил.

Стихия свое дело сделала. Появилось Временное Правительство и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Вместо хаоса на улицах — бесчисленные манифестации воинских частей и рабочих союзов; вместо гвалта у перестилы Таврического Дворца — речи лидеров различных партий или представителей новой власти, отвечающих на приветствия манифестантов...

Начался строительно-созидательный революционный период. Все хотели что-то делать, что-то спасать, охранять, устраивать. Горький разрывался между организацией своей новой газеты «Новая Жизнь» и встречами с людьми всевозможных проектов. Чего-чего не проектировано было за эту революционную «весну»: районные Думы, театры в фабричных районах, дворец детских игрушек, отдел магазинных вывесок Петербурга в Городском музее (который предстояло создать!), Свободная Ассоциация для развития и распространения положительных наук и еще, еще и еще... Наплыли и

непредвиденные хлопоты. Примчались дамы из «Лиги равноправия женщин» и осведомили Горького о том безобразии, которое творится в публичных домах Петербурга, переполненного солдатчиной. Горький куда-то ездил, с кем-то заседал, требовал спешных драконовских мер.

Не он один был активным, другие лица культурно-общественных интересов тоже сложа руки не сидели. К нам на 5-й этаж поднялся Д. С. Мережковский (Мережковские жили в 1-ом этаже). Мы знакомы не были, но друг о друге знали, что живем в одном доме. Мережковский был взволнован, просил немедленно довести до сведения Горького о необходимости безотлагательно создать комитет по охране памятников старины: долетела весть, что Ораниенбаумский дворец под угрозой разграбления, это угрожает и другим загородным дворцам.

Сказано — сделано... Комитет быстро организовался. В его состав вошли многие выдающиеся художники, архитекторы, «эрмитажники» и др. Заседания комитета происходили в нашей квартире. Многие были в те дни сохранены благодаря энергичной деятельности Комитета. Этому Комитету я помогал организоваться, но непосредственного участия в его работе я не принимал, зато проект Свободной Ассоциации для развития и распространения положительных наук захватил меня, как пленительная мечта, которая, после гибели лазарета, могла казаться единственно-серьезным начинанием: ему не могло угрожать бесконтрольное своеволие непричастных к науке лиц.

Душою этой Ассоциации, ее вдохновителем, ее осуществителем — как это ни странно! — был М. Горький. Наука была для него нечто недоступное, но с юных лет пленительное, нечто для него как бы священное. Свою отдаленность от сферы науки, от научного творчества он сознавал; притязаний на панибратство с учеными у него не было, но на учредительном собрании Ассоциации, когда зал был переполнен представителями всевозможных научных дисциплин — академиками и профессорами, и просто деятелями науки, — он сказал лучшую речь, горячую, убедительную, сразу пробудившую к Ассоциации живейший интерес ранее равнодушных лиц или холодных, вялых скептиков.

Как весело-радостно встретил Горький весть, что он избран в члены президиума! С каким детским, простодушным увлечением обсуждал он проект публичного выступления членов Ассоциации в одном из Государственных театров для про-

паганды среди русских людей свободных научно-творческих исканий, которым Ассоциация должна была всячески содействовать!

В числе ораторов, намеченных для выступления, был и я. Свою речь я решил посвятить моей заветной идее о чистой науке — науке ради науки, этой бескорыстной, благородной страсти, влекущей разум к познанию.

Наше выступление в Михайловском театре имело большой успех. Зал был переполнен. Наши речи провожал гром аплодисментов. Нас приветствовали представители Временного Правительства, Совета рабочих и солдатских депутатов и разных общественных организаций. Успех идеи Ассоциации был настолько явен, что мы решили повторить выступление в Большом театре в Москве. Там вновь переполненный театр, речи, аплодисменты, приветствия...

Мы издали брошюру с протоколами наших публичных выступлений и речей. (К сожалению, у меня нет ее под руками)...

*

Вернусь, однако, к «Февралю» — к февральскому лету 1917 г. с его грозными «3-5 июля», когда большевики пытались опрокинуть Временное Правительство и захватить власть. С этой неудачной попыткой связан у меня эпизод, повидимому, судьбой мне посланный, как экзамен моим «гуманным чувствам»: действительно ли мне ценна жизнь человека, когда он в беде или несчастье, независимо от его политических убеждений?

4-го или 5-го июля вечером, около 11 часов, в передней раздался несмелый звонок. Дни были тревожные, на улицах пальба, в разных кварталах города вооруженные столкновения, атмосфера была накаленная; путаница слухов о победе правительственных вооруженных сил, о том, что большевистские вожди уже схвачены и находятся под замком. Домовых обысков тогда еще не было, — кто же мог в 12-ом часу ночи ко мне придти и по какому делу? Я пошел в переднюю — и открыл дверь... Передо мною стоял — Луначарский... Измученный, бледный, видимо, очень усталый.

— Я прошу вас, дайте мне у вас переночевать, — взволнованно сказал он, — я до сих пор никак не мог устроиться, бегал-бегал... Я вспомнил о вас — ведь, вы вызывали меня в крепость...

Я отступил от порога... Эту ночь Луначарский спал у нас в кабинете жены, на ее маленьком голубом диване. Утром

он ушел очень рано, по соображениям конспирации: рано утром меньше опасений быть узнанным на улице.

Через несколько дней к нам пришла Стасова и спросила, не могу ли я укрыть у себя в квартире Ленина? Я решительно отказал: одно дело помочь человеку попавшему в беду, другое — помочь главе политической партии, ставившему задачей устранить демократическое правительство и в то же время желавшему моей квартирой обеспечить себе безопасность. После июльских дней я встретил на улице Керенского и он чрезвычайно удивил меня вопросом: — Скажите, И. И., правда ли, что в июльские дни Ленин скрывался в вашей квартире? — Так эпизод с Луначарским превратился в сплетню о скрывавшемся у меня Ленине.

После провала большевистского восстания настроение в Петрограде стало умиротворяться; уверенность в устойчивости Временного Правительства окрепла и настолько в эту устойчивость поверили, что многие на август разъехались по курортам. Мы тоже решили проехать по Волге до Царицына, оттуда на Кавказские Минеральные воды — в Железноводск.

Путешествие по Волге было вдохновительно и как будто ничего зловещего, угрозного: тот же пестрый состав пассажиров, та же стерляжья уха и прибориволжской жизни на пристанях: оживленная торговля всякой всячиной, пожалуй, еще оживленнее, чем бывало: много всевозможной снеди, фруктов, кустарные изделия... Чувствовалось, что жизнь еще катится по инерции.

Первый шок — в Царицыне. Уже на пароходе, до причала, распространился слух, что большевики в Царицыне пытались захватить власть, но неудачно: подоспели верные правительству военные части и разогнали мятежников, военный штаб все еще в городе, а какой-то министр Временного Правительства только что прибыл из Петрограда, чтобы окончательно навести порядок. Преувеличения в этих слухах не было. В ресторане нашей гостиницы обедало множество военных. У платформы вокзала стоял министерский салон-вагон, прицепленный к курьерскому поезду. Город был еще взволнован пережитой паникой, но уже изживал свое волнение в бесчисленных повествованиях, как дело было.

Мы переночевали в Царицыне и направились в Железноводск. Проехали чудную Кубань во всей роскоши изобилия густых трав, плодовых садов. За нею потянулись холмы кав-

казского предгорья, а далее уже и горы. И по-прежнему впечатление, точно никакой революции и не бывало.

Мы прибыли в Железноводск в предвечерний час; очень скоро устроились на даче какого-то врача близ парка, бросали наши дорожные вещи — теплые пальто, пледы, зонтики и всякие мелочи, — и решили до ужина пойти в парк полюбоваться прекрасным южным вечером. В отсутствии были не более получаса, вернулись — и новый шок... Нас обокрали, захватили все, что могли наспех унести воровские руки, оставили только чемоданы, которых унести не смогли, ни взломать не успели. Мы сообщили о происшествии хозяйке, она дала знать полиции. Но ничего дельного из полиции не вышло, охоты к розыску она не проявила.

С этого эпизода начинается мешанина наших впечатлений — старого уклада кавказской курортной жизни с ее особенностями и жизни неблагополучно-зыбкой, с уже расшатанными устоями.

В Кисловодске, где мы несколько раз побывали, все сначала казалось как будто людям трын-трава: много военных в погонах, генералы, перед которыми в струнку вытягиваются младшие чины, нарядные дамы, лопочущие по-французски, нарядные дети с гувернантками, породистые собачки... Но стоило повнимательней в эту беспечность вникнуть, оказывалось не все благополучно; спальные места на Москву и на Петербург уже было очень трудно достать, а запастись железнодорожными билетами было необходимо, иначе можно было на Кавказе застрять. Тревожные слухи о полном развале дисциплины на фронте в наших армиях, о том, что солдаты не хотят воевать, уже становились темой разговоров.

В главной аллее парка мы встретили Шаляпина. Роль курортной ведетты ему очень шла, и ею, повидимому, он не тяготился. К лицу по-летнему одетый, гордо-самоуверенный в изученных позах и движениях, он обращал на себя всеобщее внимание. Шаляпин увел нас к себе на дачу, где мы полюбовались его маленькими дочерьми и встретили его жену Марию Валентиновну, большую, красивую даму, со спокойной манерой держаться и плавно-неспешной речью. Шаляпины уезжать еще не собирались, а мы, чувствуя неустойчивое благополучие курортной жизни, которая могла в любой день обернуться паникой, — уже стремились домой. Шаляпин помог нам добиться мест в спальном вагоне, используя свое приятельство с жел.-дорож. кассиром, а узнав, что нас обокрали и унесли все теплое, снабдил жену своей

теплой курткой, а меня широким, тоже теплым, непромокаемым пальто Мар. Вал. В таком виде мы через неделю и уехали.

Длинный обратный путь... Все нарастающее ощущение развала во всем. Уже в Ростове на Дону, на вокзале бестолочь и лихорадка, служащие путают часы отхода поездов и платформы, пассажиры мечутся. А далее, за Ростовым пошли станция за станцией: солдаты в расстегнутых гимнастерках, с фуражками на затылках, бабы и мужики с мешками (уже появились «мешочники»), встречные поезда, тоже набитые солдатами. На перегоне Бологое — Петербург что-то приключилось с нашим вагоном: он осел на-бок и что-то зловеще застучало, захлопало, заскрипело в осях... Кондуктор сказал, что в Любани нас пересадят в другой вагон. Не тут-то было. В Любани нас не пересадили, и мы затарахтели дальше. Кондуктор доложил: оси осмотрели и сказали «плоховат ваш вагон, но, авось, доедете...» Так «на авось» и доехали...

В Петербурге встретила нас взволнованная атмосфера. Говорили о попытке Корнилова отстранить Керенского и взять власть в свои руки. «Левые» торжествовали, что Правительство в поисках поддержки качнулось влево и назначило командующим петербургским военным округом «левого» генерала Верховского, он начал с того, что отправился в Совет рабочих и солдатских депутатов. («Вот молодчина», — воскликнула одна наша знакомая коммунистка). Главарей «3-5 июля» выпустили, никого суду не предали.

И все же, несмотря на то, что Петербург был взбаламучен и наэлектризован, жизнь текла своим чередом. Я снова ездил в Петропавловскую крепость навещать оставленных там четырех министров, которых Муравьев не соглашался выпустить, и возобновил прием больных.

Открылся Предпарламент — учреждение наспех организованное, как подпорка Временному Правительству. Мы с женой незадолго до 25 октября там побывали. Впечатление полного неблагополучия.

В красивом зале Государственного Совета (Мариинский Дворец) озадачивающе пустовато. Речь Кусковой, горячая, умная, убедительная, с тревожными интонациями, глохла в полупустом зале, как крик — в подушку. По вялой реакции присутствующих членов предпарламента можно было подумать, что это очередное заседание Государственной Думы со скучным обсуждением текущих дел, а не канун гибели вла-

сти Временного Правительства, и предпарламента, и демократии. Непонятное оцепенение...

Годы 19-20 так называемого «военного коммунизма» были очень тяжки. Физически: голод, стужа, эпидемии («испанки» и сыпного тифа), темень в квартирах, на лестницах, на улицах, по временам отсутствие трамваев, постоянная угроза «уплотнения» жилищ, «трудовая повинность», когда «буржуи» должны были разгрести снег, рушить заборы и дачи и распиливать бревна и доски на дрова (различия между интеллигенцией и «буржуями» не делали), массовые обыски по домам, оцепляли целые кварталы, аресты по доносам и без доносов, просто по признакам «классового врага». И расстрелы... расстрелы... расстрелы, в одиночку и партиями по приговору якобы «революционного трибунала», а на деле по постановлению какой-нибудь «пятерки» или «тройки» петербургской или подгородных «Чека».

Если мы с женой пережили это время, то только благодаря Горькому; он был тогда в силе и «фаворе» в Москве, вступив на путь сотрудничества с властью по тактическим соображениям, упорно не соглашаясь признать, что его «тактика» ничего в ходе политических событий не изменит. Этой «тактики» мы не признавали и были вынуждены пережить немало лишений и прикоснуться к великим бедам и скорбям наших родных и знакомых.

Однако, прежде чем рассказывать о том, как мы эти годы «военного коммунизма» пережили, я должен коснуться сначала самого важного, но очень интимного события всей моей жизни, которое я все же передаю в назидание грядущим поколениям. Это событие можно сравнить с каким-нибудь страшным землетрясением, изменяющим сразу конфигурацию ландшафта; с ударом молнии в дерево, пронзившей его до корней; со шквалом, перевернувшим кверху дном парусную лодку... я хочу рассказать о моем обращении к вере.

Произошло это обращение в одну ночь, с 28 на 29 сентября 1918 г., внезапно, с силой Откровения (веры в Бога), с **очевидностью опыта**. Мне, позитивисту-экспериментатору, иного средства религиозного воздействия на душу, конечно, и не могло быть дано. Я был в ту ночь в предельном смятении, в предельном отчаянии личной драмы: жена умирала от «испанки». На 4-е сутки болезни ее состояние было безнадежно. Я, как врач, понимал, что все усилия поддержать деятельность сердца ни к чему: температура — 40,3, несмотря

на самые сильные сердечные средства, нитевидный пульс, прерывистое дыхание, синие губы, линия руки... она была без сознания. Мне было ясно: конец неотвратим, но смерти ее я не переживу...

Неверующий с юных лет (еще в гимназии я утратил веру), убежденный атеист, больше того — не равнодушный, а горячий противник веры моих отцов, религиозных традиций, я относился к ним насмешливо или с энергичным отрицанием, не только скептически, но с раздражением, с досадою. И вот, в эту ночь, когда я терял всё, я решился на абсурд, на безумную, исступленную мечту о выздоровлении жены. Я сам едва понимал, что делаю, плохо соображая, что надо делать, что делают, в миг зачеркнув в душе всё, решительно всё, кроме воли к спасению жены. — Я обратился к Богоматери: «если существуешь — спаси!» И молитва отчаяния была услышана.

Это было рано утром. Мой добрый друг, старичок-доктор Вильгельм Андреевич Кнох приехал ко мне, чтобы морально поддержать меня в трудные минуты. Я встретил его в таком состоянии, что он подумал: все кончено... Мы прошли в спальню... И тут нас ожидало нечто невероятное, невообразимое... Жена не лежала, а сидела в подушках, увидав В. А., протянула ему руку и сказала: «Мне сейчас так хорошо, только кашлять больно...» В. А. с недоумением поглядел на нее, на меня, а потом посчитал пульс и сказал мне с удивлением: «Пульс ровный и вполне удовлетворительного наполнения».

С этого дня началось медленное выздоровление жены и мое душевное переустройство. Как и что было, я рассказывать здесь не буду: это потребовало бы особой, духовной, автобиографии. Скажу одно: опытно познав помощь свыше («чудо»), я убедился в существовании Бога, Богоматери, потустороннего мира, личного общения в молитве... — и принял, не рассуждая, всё Евангельское учение и всю церковную традицию, т. е. практически возвратился к вере моих предков. Дальнейшую мою жизнь, пожалуй, мне не осмыслить вне моего опыта и возвращения в лоно Церкви...

Вернусь к «военному коммунизму» 19-20 г.г.

Голодный паек, который выдавало правительство, был так ничтожен, что существовать на него было невозможно. Пришлось искать выхода из тяжелого положения. Он нашлся.

На Бассейной улице открылся Дом Литераторов, нечто вроде клуба, — на деле столовка, где можно было, хоть и скудно и невкусно, но все же поесть. Туда зимой ходили пообогреться и закусить лепешками из мороженой картошки и напиться морковного чаю. Я охотно согласился быть врачом персонала этого Дома и за это получал что-нибудь в добавление к порции. Вечером этим добавлением мы с женой и ужинали.

В столовой можно было встретить «своих» людей и обменяться шопотом мыслями. Помню Лаппо-Данилевскую (писательницу), Философова, баронессу Вар. Ив. Иксуль, Губера (из Риги), старушку Ватсон («у нее на руках умер Надсон» — скандировали ее знакомые, упоминая ее фамилию), Султанову-Леткову, адмирала Григоровича, чету Лазаревских и др. Но вот и там стало бывать тяжело: ряды посетителей редели, одни вынуждены были скрываться или бежать, других расстреляли; случались периодические облавы, когда всех столующихся забирали в камiónы и увозили на допрос. В столовке царил теперь гнетущая атмосфера: казни в городе, тревожные слухи, опасения новых облав...

Дома мы жили совсем не так, как прежде. Из 8 комнат топилась одна — гостиная, где мы жили. В спальне с голубыми штофными драпировками на окнах и дверях были навалены дрова (около 2 сажень). Обмерзшие дрова оттаивали и на паркете были лужицы. Тут же мы хранили еду и запасы грязного мерзлого картофеля, вымененного на черной бирже на пару сапог или галоши. Пациентов я принимал с огарком на письменном столе, сидя в шубе, шапке и рукавицах. В приемной у печки-«буржуйки» с коленчатой трубой (в часы приема затапливали ее) сидела прачка Дуняша, в тулупчике, валенках, закутанная в байковый платок; когда звонили, бегала в прихожую открывать дверь.

Состав пациентов был совсем уже не прежний (те все разъехались, либо были в бегах, либо сидели в тюрьмах). Лечил я теперь мелких ремесленников, рабочих, советских служащих разных комиссариатов и рангов; попадались «бывшие люди», которые теперь приспособились, внешне «покраснели» и промышляли перекупкой вещей и валютой. Все это были люди революционной выделки, зацепившиеся за новую жизнь как кто мог и умел, напоминая тех трамвайных пассажиров, которые умудрялись на всем ходу впрыгнуть на подножку, ухватиться за поручни и на них повиснуть.

Запомнился мне один добрый печник. Глядя на меня в

темноте с огарком на столе и в шубе, сказал мне совсем серьезно: «Доктор, чего вы маетесь?.. Хотите, я обучу вас печному делу? Сейчас — заработок верный, дают, что спрощу. Ставлю 'буржуйки'... А когда я в ответ улыбнулся, он прибавил строго: «Я вам, доктор, дело говорю...»

Запомнилась еще одна сценка. До меня из приемной донесли крики жаркой женской ссоры: «Мой платок! Мой!.. Мой!..» — «Нет, мой! Мой!» — «Воровка! Воровка!» — «Купила, ей-Богу, купила!» — возражала виновница. Женщины вцепились друг в друга. Неудачная случайность — встреча двух базарниц в моей приемной — обнаружила собственность одной на плечах у другой. Не знаю, чем бы эта сцена и кончилась, если бы расторопная Дуняша не выпроводила обеих на лестницу.

Помню еще целый выводок молодых девиц — секретарш какого-то судебного трибунала. Они приезжали все вместе, щебетали, смеялись, повидимому, чувствовали себя превосходно в новых, приятных условиях жизни... От них веяло беспечностью молодости, которой, в сущности, все «трын-трава», как бы эта «трын-трава» ни называлась и чем бы она ни была: революционным трибуналом, где выносят смертные приговоры, или пролеткультом, или распределительным пунктом топлива. Жуткая «женственность»... Борьба изо дня в день за существование была уныло-однообразна и тягостна для меня, — и я решил вернуться к любимой науке, заняться изучением «испанки».

Профессор Заболотный, директор эпидемического отдела Института экспериментальной медицины, с которым я был знаком, очень охотно отозвался на мое желание и предоставил мне работать в своем отделении. С тех пор вновь началась моя научная деятельность, несмотря на очень трудные условия. Мне приходилось ездить очень далеко: с Сергиевской (от Таврического сада) на Лопухинскую, в дальнюю даль Каменноостровского проспекта. Хорошо еще, когда был трамвай, но случалось, что трамваев не было, и приходилось идти пешком. Иногда я оставался ночевать в лаборатории и спал на лабораторном столе. Работа в Институте обернулась однажды большой удачей. В нашем отделении прикончили одну из лошадей и сотрудники решили поделить ее между собой. Мне досталось бедро. Я принес его на спине в мешке. Мы с женой радовались, что продовольственный вопрос на некоторое время для нас решен благодаря «подарку судьбы». Жена с Дуняшей в большом котле для стирки белья варили

лошадь целый вечер до полуночи. Как мы поплатились за этот «подарок судьбы»! На третий день у нас поднялась температура, началась головная боль, тошнота, расстройство пищеварения, т. е. появились все признаки отравления.

Как ни трудно было работать в лаборатории в те дни, меня работа и удовлетворяла и радовала. Я использовал и досуг вне приема пациентов и мог забыться в любимой научной атмосфере. Мне удалось проделать множество сложных и разнообразных исследований в поисках микроба «испанки». Должен отметить необычайно внимательное отношение к моей работе М. Горького. Хотя мы с лета 1917 были уже на разных берегах, хоть он уже сотрудничал с властью, хоть мы поэтому стали реже видаться и лишь горячо спорили, видаясь, — он как бы не терял меня из виду и в меру сил стремился мне помочь в трудных обстоятельствах нового быта.

Как-то раз из Смольного прикатил к нам на мотоциклетке какой-то субъект и вручил жене (меня не было дома) огромный пакет: «Велено передать доктору из продуктового центра Смольного». Чего-чего там только не оказалось. Сколько необходимых калорий! Какое разнообразие продуктов! Точно в доброе старое время заказ от Елисеева... Оказалось, до М. Горького добежал кружным путем слух, что нам живется плохо, и он нажал какие-то пружины в Смольном...

Когда по ходу лабораторных работ я нуждался в обезьяне, а купить ее в Петербурге в те дни нечего было и думать, Горький через Мар. Федоровну Андрееву, важную тогда особу (она была комиссаром театров) добился постановления о доставке мне для опытов обезьяны из Зоологического сада.

Когда в 1919 г. я открыл микроб «испанки», Горький был в восторге и телеграфировал Луначарскому в Москву об этой новости. В результате мне был предложен Павловский дворец для устройства там своей поликлиники и лаборатории. Я ездил в Царское — посмотреть, что же мне предложено. В Павловском дворце я никогда не бывал и не знал, позволяли ли его осматривать до революции. Этот небольшой, очень красивый дворец в глубине Царскосельского парка, совсем на его краю, — не мог быть приспособлен ни к какому врачебному учреждению, не перепортив его вандалически. Должен сказать, добиваться какого-нибудь «дворца» или национализированного особняка для своих научных целей в мои планы и не входило. Меня неудержимо тянуло в Европу, главным образом — в Париж, где я так много и плодотворно

работал в условиях полной творческой свободы, в окружении людей научного духа, научного труда, с которыми меня связывало столько воспоминаний... Но и этот мотив не был решающим в моем стремлении вырваться на свободу. Годы 19-20 были периодом все нарастающего — из недели в неделю, из месяца в месяц — тягчайшего для нормального человека состояния какой-то моральной смертоносной духоты, которую трудно даже определить точным словом, разве термином «нравственной асфиксии». Люди были поставлены в условия, когда со всех сторон их обступала смерть, либо физическая либо духовная. Гражданская война в революцию — это не только вооруженное столкновение врагов, это вражья власть над беззащитным населением; она крепко держит в своих когтях всю гражданскую жизнь, даже самые ничтожные повседневные проявления... Все делается лживо, обманно, враждебно, озлобленно вокруг вас и безмерно-беспредельно, интегрально — незаконно. Декреты сыплются на обывателя без счета, а закона нет, и самый принцип его вообще не существует. Ничего нет удивительного, что русские люди устремились к границам — кто куда: в Финляндию, на Украину, в Польшу, Белоруссию... Хотелось жить, как угодно: в бедности, в убожестве, странником, пришельцем, лишь бы не быть принуждаемым жить не по совести.

Наше с женой стремление уехать за границу становилось все настоятельней, все неотступней. Весной 20 г. ко мне на сеанс приехал Горький. Воспользовавшись моим длинным разговором с кем-то по телефону, жена откровенно рассказала Горькому о нашем душевном состоянии, о нашем горячем желании, более того — жизненной потребности уехать за границу. Горький молча выслушал, подумал и сказал решительно:

— Я вам обещаю, вы уедете...

К концу лета пронесся слух, что некоторым ученым власть даст командировки в Европу, дабы ознакомиться с новыми научными достижениями (ведь 6 лет мы были разобщены с европейскими научными центрами). Указывались имена: ректор Петербургского университета Браун, академики Марр и Щербицкий, проф. Зелинский и я. Вскоре слух стал фактом. И наступило время хлопотать о паспорте, о визах, о бронировании квартиры (после отъезда) и проч., и проч.

И. И. Манухин

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ*

Осенью 1906 года начались наконец в Академии регулярные занятия, которые для Андрея не прерывались до самого ее окончания. Постепенно и очень медленно нарождался в нем интерес к архитектуре и раскрывались ее красоты. Это не значит что страсть к музыке ослабевала: он даже начал брать уроки теории музыки и композиции у музыкального критика Юрия Курдюмова. Но милейший дядя Юка, заядлый вагнерианец, старый холостяк и большой чудак, не сумел заинтересовать Андрея своими теориями, так что уроки эти скоро прекратились и Андрей продолжал заниматься музыкой уже самостоятельно.

Интерес же к архитектуре продолжал все более крепнуть; само прекрасное здание Академии Художеств, построенное на берегу Невы при Екатерине II Кокориновым и Деламотом, с великолепным портиком, монументальным спуском к воде, украшенным двумя гранитными сфинксами и куполом еще недавно увенчанным статуей Минервы-Екатерины, способствовало развитию вкуса к архитектуре. По всем фасадам величественного здания тянулись каменные коридоры; это были бесконечные перспективы сводов и арок, между которыми в нижнем этаже были широкие двери ведущие в рисовальные классы, а в верхнем находились небольшие отдельные мастерские для учеников выпущенных на конкурс. Сводчатые коридоры прерывались лишь великолепным вестибюлем, с его монументальной распашной лестницей, которая вела в торжественный, перекрытый куполом актовый зал; по двум сторонам его были расположены две огромные девятиконные залы, служившие для балов и концертов. В центре здания находился необыкновенно гармоничный круглый двор, напоминавший своей архитектурой знаменитый Виньоловский

* Мы печатаем второй отрывок из воспоминаний известного архитектора и художника А. Я. Белобородова. Воспоминания А. Я. написаны в третьем лице. Андрей, это — автор. Первый отрывок см. кн. 70 «Н. Ж.». РЕД.

двор Капраролы. Двор этот кольцом облегалась перекрытая низкими сводами «Архитектурка», где вновь поступившие работали в течение первых трех классов. Здесь ученики принятые, как Андрей, по свободному конкурсу приучались пользоваться рейсшиной, треугольником и циркулем и получали первые понятия об архитектуре.

В архитектурных классах было 5 профессоров, но первыми шагами вновь поступивших руководил главным образом Тромбицкий, которого ученики между собой называли Тромбоном. Небольшого роста, рыжеватый, длинноносый он весь шелушился и потому всегда носил желтоватые лайковые перчатки. Был он очень насмешлив, иногда играл шута горохового, но глаз имел очень меткий и мгновенно замечал все ошибки и неловкости. «Ну кто-ж так точит карандаш?», смеялся он над новичком и взяв из его рук карандаш чрезвычайно быстро, ловко и красиво его оттачивал. Когда, уже на третьем курсе в проекте впервые компанующего ученика он видел большое окно и рядом такое же поменьше, он давась от смеха тыкал в проект лайковым пальцем, говоря: «Дядя и племянник!» Но был он способен и искренно увлекаться, если видел в ученике истинный талант.¹

Самым важным и старшим профессором был Григорий Иванович Котов, занимавший в то же время пост директора Штиглицкого художественного училища. Был он худ как щепка, длинен и прям как жердь, носил небольшую бородку и на пробор расчесанные белые как лунь волосы, никогда не улыбался, к делу относился серьезно, был суров, строг и справедлив. Может быть это он впервые заинтересовал Андрея и группу его друзей классической архитектурой, дав первый толчок тому «направлению», которое так расцвело впоследствии. Задавая очередной проект на третьем курсе он выбрал темой «Монументальный Фонтан» и прочел маленькую лекцию о важности в архитектуре баллюстрады, которая по его словам, сама по себе могла бы служить темой для проекта. «В зависимости от формы балясин», сказал он, «и их расстановки, архитектура может сделаться прекрасной или уродливой». Тут была целая программа и было над чем задуматься. В этот момент все третьекурсники шли вразброд.

¹ Это он впоследствии, во время конкурсного проекта «открыл» Андрея, не считавшегося до тех пор сильным конкурентом на первое место.

Андрей искал новых возможностей в готике, другие в русском стиле, или вдохновлялись исканиями «декадентов», третьи шли по проторенной дороге ложно-классического академизма, после «толчка» же интерес к **подлинной** классической архитектуре начал все более и более крепнуть.

Третий профессор Владимир Васильевич Суслов заслужил свой пост исследованиями и изданиями по старо-русской архитектуре. Его обмеры памятников и их деталей, в натуре очень живых и свободных были сухо и аккуратно исполнены циркулем и по линейке, раскрашены банальными тонами и таким образом часто самые прекрасные произведения теряли весь свой аромат. К Андрею он относился недоброжелательно. Когда однажды Андрей показал ему свой проект церкви, заданной профессором, в разрезе которой, вдохновившись византийскими образцами, он покрыл всю внутренность росписями, Суслов так и замахал руками: «Это какое-то безобразие! все святые у вас отплясывают!.. а эта юбку подняла!!» И надо было видеть в это время его маленькую, кругленькую фигурку топорщащуюся от негодования и отмахивающуюся от возмущившего его проекта как от какой-то нечисти...

Кроме этих трех, уже почтенного возраста профессоров, были два молодых, совсем недавно назначенных. Работы профессора Косякова привезенные им из присужденной ему Академией заграничной поездки, были развешены на стенах Архитектурки. Почти все они изображали итальянские виллы, необыкновенно хлестко и сочно исполненные с одинаковыми зонтичными пиниями и кипарисами жирно обведенными толстыми черными линиями. Сам профессор был очень уютный всегда благорасположенный плотный господин, одевавшийся на заграничный лад. От него пахло хорошей сигарой и всегда казалось, что он только что встал от прекрасного, очень искусно составленного обеда. Ученики относились к нему с большой симпатией и, думается, главная польза которую он приносил заключалась в том, что он всегда вызывал в академистах с которыми общался, отличное расположение духа.

Другой молодой профессор Оскар Рудольфович Мунц, как будто никакими достоинствами не отличался и получил свой пост не то по протекции, не то по недоразумению. Сам он считал себя необыкновенно передовым архитектором и был ярым противником зарождавшегося тогда в Академии классического направления.



Кроме первых работ в «Архитектурке» в самом начале полагалось исполнить ряд рисунков с гипсовых статуй и затем с живой природы и тут Андрей работал с большим увлечением. Для того чтобы закончить курс рисования и иметь право, по окончании трех архитектурных классов, перейти в мастерские, нужно было получить за рисунки с гипса четыре «вторых разряда» или два первых и за рисунки с натурщика два третьих или один второй (четвертый разряд означал что рисунок забракован).

Первый рисунок с гипса нужно было сделать с сидящего Марса под руководством добродушнейшего профессора Бруни, весьма скромного отпрыска своего прославленного предка, дававшего Андрею советы вроде следующего: «по-больше линий — художественнее выходит». Прельщенный смелым ракурсом, Андрей сел под самой статуей; нога Марса получилась гигантской и вся фигура сидящего бога закинулась назад. Бруни пришел в восторг главным образом от «ножки» и каждый раз подходя к рисунку длившемуся неделю говорил: «ах какая ножка! замечательная ножка!» и в конце концов поставил ему первый разряд.

Для следующего рисунка более молодой профессор Мясоедов поставил фигуру Медицейской Венеры. Одна сторона статуи была ярко освещена, другая в густой тени. Тут Андрей начал мудрить; он работал всегда без фона и рассуждал так: вся освещенная часть статуи бела как бумага; нужно чтобы она почти пропадала и сливалась с фоном. Задача была трудная и Андрею казалось, что он разрешил ее. Но вот подошел Мясоедов, внимательно просмотрел рисунок, молча взял из рук побледневшего Андрея карандаш и провел толстую черную линию по едва намеченному контуру освещенной стороны статуи — «Вы видите как выделяется в натуре освещенная часть Венеры на темном фоне; чтобы передать это **впечатление** в рисунке вовсе не нужно делать весь фон но достаточно отделить эту часть от бумаги одной энергичной черной линией». И действительно рисунок оживился и заиграл светом и Андрей быстро отделившись от первого впечатления крушения своих исканий, с увлечением закончил рисунок и получил опять I-ый разряд. Таким образом он сразу мог перейти на рисунок с живой природы и выбрал для этого класс Яна Францевича Ционглинского.

Это был восторженный, полный энтузиазма поляк-профессор, обожавший музыку и говоривший по-русски с сильным акцентом и столь же сильным чувством. — «Смотрите ж на божественну армонію этих ног!» — кричал он указывая на натурщика Семена — «ведь это же ягодицы поют!» За свой первый рисунок с натуры Андрей получил 2-й разряд и таким образом окончил обязательный курс рисунка, но остался еще на некоторое время в мастерской Ционглинского, который очень одобрительно к нему относился и часто кричал, что Белобородов бросит архитектуру и «пшерейдет на живопись».

Но Белобородов не бросил ни архитектуру ни живопись и вскоре начал делать наброски в мастерской Матэ, где рисующие сами давали позы натурщикам и меняли их когда хотели. Сюда же часто приходил А. Яковлев, который не только делал наброски, но часто и сам для них позировал. Позднее появился арх. И. А. Фомин, детски-наивные рисунки которого с живой натуры, никак нельзя было сравнить с мастерскими архитектурными проектами и великолепными офортами, которыми он тогда блистал в Академии.



После экзамена и нового приема 1906 г. почти удвоилось количество учеников на первом курсе архитектурного отделения Академии. С возобновлением занятий восстановилась еще ничем не омраченная дружба Андрея с Талепоровским и Тырсой: вместе они увлекаются блоковской «Незнакомкой», которую читают вслух во время прогулок в нанятой лодке по Неве, вместе посещают Эрмитаж, ходят «зайцем» в концерты и рисуют фантастические растения в оранжереях великолепного Петербургского Ботанического сада.

Среди новых лиц выделяются своим талантом будущие друзья Андрея и соратники в борьбе за новое классическое направление. То было время когда в противовес долго длившейся рутине, в России нарождалось новое искусство. В начале этого движения, после толчка, обязанного главным образом возникновению и развитию «Мира Искусства», русские зодчие идут еще ошупью; искания в области чужеземного «модерна» сменяются имитацией древне-русской архитектуры, нисколько не соответствующей новому темпу жизни, и «ампиром», поверхностно повторяющим формы русской усадьбы. Архитекторам, начавшим свою деятельность в пери-

од сумбурной «декадентщины», было трудно переродиться, сразу сбросив с себя всю накипь долгого безвременья. Среди плеяды архитекторов, склонявшихся к новой классике едва ли только не два наиболее талантливых — Фомин и Шуко, дали в своих произведениях примеры достижений серьезной архитектуры. Но первым зодчим, заглянувшим в самые глубины великого таинства архитектуры был Жолтовский. Правда и он в эпоху всеобщего увлечения «декадентскими» формами не избежал влияния времени, но все же именно Жолтовский дал первые примеры благородства, логичности, простоты и проникновенного чувства, которые относятся к наиболее ценным свойствам истинной архитектуры.

В более счастливых условиях было молодое поколение, имевшее возможность сразу обратить свои взоры к первоисточникам. Вскоре после поступления Андрея в Академию, нарождается кружок учеников, вначале объединенных только талантом и любовью к искусству и затем, постепенно пришедших к одной общей идее: новая архитектура должна развиваться на основе подлинного классического искусства. Тут учителями стали Палладий и Скамоцци, Перуцци, Альберти и Серлио. Их произведения, их рисунки изучаются также как и их философия; саван мертвых, так долго облакавший классические формы, спадает и жизнь вливается в архитектурный ордер, так долго бывший общим местом. «Виньола» перестает быть скучным справочником и молодой зодчий знает, что это великий архитектор и фантазер, умевший сам так гениально нарушать примеры данных им прекрасных правил, искаженных поколениями педантов. Наконец богатейшая Академическая библиотека предоставляла великолепные увражи эпохи Возрождения, а улицы и набережные Петербурга величественные здания Гваренги, Старова и Воронихина, Росси, Томона и Захарова. (Лично для Андрея большую роль сыграла одна из его прогулок по Московскому Кремлю, когда он остановился перед Архангельским Собором, выстроенным Миланским архитектором «Альвизом Новым» в начале 16 века. Скульптурные детали храма, несомненно изваянные рукой большого мастера и полные аромата эпохи, на всю жизнь пронзили его сердце).

В конце концов кружок приверженцев классической архитектуры объединился на основе определенной программы и превратился в закрытую группу из двенадцати членов. Под именем «Дуодецим» группа эта вступила в полемику с профессором Мунцом, который утверждал что классическая ар-

хитектура умерла и только византийская достаточно конструктивна, чтобы дать толчок к развитию современной архитектуры. Глубоко убежденный в противном, Андрей написал отпечатанную в «Архитектурно-Художественном Еженедельнике» статью, с которой Дуодецим выступил в защиту классической архитектуры.

Кто знает по какому пути при других условиях пошла бы архитектура в России под влиянием молодой и сильной группы, объединенной глубокой верой в возможность классического возрождения.

Вот краткие характеристики одиннадцати друзей Андрея составлявших вместе с ним группу Дуодецим.

Борис Рудольфович Криммер, получил первое место в списке принятых в 1905 году. Его искусство отличалось необыкновенной точностью и элегантностью техники. В общем это был великолепный исполнитель, которому быть может не доставало полета фантазии и дерзновения, но все что он делал отличалось тонким, изысканным вкусом. Этому соответствовала и его внешность: высокий, стройный, с очень правильными чертами необыкновенно свежего, с нежным румянцем лица, при совершенно седых, серебристых волосах, был он единственным сыном хорошо обеспеченной семьи, жившей на Театральной Площади. Члены «Дуодецима» звали его Папкой, т. к. в группе он играл роль старосты. При его мягком характере он не был создан для борьбы с трагическими событиями эпохи и после неудачной личной жизни, ничего не создав своего в архитектуре, он покончил с собой в Париже во время последней мировой войны.

Макс Успенский, закадычный друг Криммера был как бы его звездным спутником и отражая ровный свет приятеля привносил свою деловитость и здравый смысл. Все его работы были хорошо сделаны в отличном классическом стиле, но ничем особенным не отличались. По окончании Академии Макс как-то стусеивался и о нем с тех пор ничего не было слышно.

Владимир Николаевич Талепоровский, маленький, складный, со вздернутым носом и румянцем во всю щеку, был веселый и умный парень и очень талантливый художник. Прекрасный рисовальщик и впоследствии отличный офортист (специализировавшийся на акватинте) он сразу имел очень большой успех еще в классах Академии. Перейдя в мастерские он, кроме своих проектов работал у Фомина, став драгоценным его помощником, а при окончании Академии был

одним из самых сильных конкурентов. Во время революции он был назначен хранителем Павловского дворца заменив на этом посту А. А. Половцева. Несмотря на то, что этот верный друг Андрея по ироническому замечанию Тырсы был «осколком старого режима» он навсегда остался в Советской России.

Владимир Иосифович Дубенецкий был может быть самым талантливым архитектором группы «Дуодецим» (весною 1914 года он получил за свой конкурсный проект² заграничную поездку). Было в нем необыкновенное чувство пропорции и в его проектах чувствовался истинный дух архитектуры Палладия, которого он никогда не копировал. Его прекрасный, тонко очерченный профиль с высоким лбом и закинутой назад русой гривой, выражал вдохновение и беспокойство. Вино и женщины (особенно одна женщина) еще в молодых годах надорвали его страстную натуру. В 1922 году, литовское происхождение позволило ему перебраться в Ковно, в сопровождении своего злого гения — женщины, на которой он в конце концов женился. В Литве этот чистейший последователь Палладия умер в августе 1932 года едва успев построить несколько зданий какой-то картонной, ненастоящей архитектуры. Так безвременно и бесславно погиб наиболее обещавший архитектор русского смутного времени.

Эрнест Яковлевич Штальберг приехал из своей Латвии уже женатый и, как окончивший в 1903 году архитектурное отделение Казанской художественной школы, хорошо подготовленный к занятиям в Академии. У него был такой вид, что он всегда был, есть и будет профессором. Товарищи прозвали его «логическим мышлением» потому что он любил говорить, что таковое в архитектуре необходимо. Его жена Генриетта Осиповна была верной подругой его жизни и имела вид типичной курсистки-медички: носила пенсне, стригла волосы, говорила с сильным еврейским акцентом и была милейшей и миловидной идеалисткой. Сам Эрнест был отличным товарищем, и очень знающим, прекрасным, чистейшей воды архитектором. Вместе с Дубенецким он работал у Щуко (бывшего уже тогда академиком архитектуры) и, можно сказать был его правой рукой. Еще в 1911 году он помогал Щуко в постройке Русского павильона на интернациональной выставке в Риме, откуда вернулся на всю жизнь влюбленным в Италию. (Как особую драгоценность хранил он две штам-

² «Здание Государственного Совета».

пованные бутылочки, в которых подают вино в итальянских трапториях).

После революции Штальбергу удалось в 1922 году перебраться в родную Латвию где он стал профессором Архитектурного Отделения Рижского университета. Пришлось ему кое-что и построить, но вообще латвийцы, не считавшие его за своего, не давали ему ходу. То немногое, что удалось ему осуществить — как памятник свободы в Риге, переделка актового зала Латвийского университета, некоторые скорее утилитарные постройки по частным заказам, совершенно не могут дать представления о его возможностях. В тот период когда Латвия была еще свободна, Штальберги два раза приезжали в Италию (последний раз в сентябре 1937 года) где они встретились с Андреем и все трое провели очаровательные дни в Риме и окрестностях. Последние дошедшие из Риги сведения говорят о потере любимой жены, продолжении профессорской деятельности и полной невозможности переписываться и куда-либо двинуться за «железный занавес».

Владимир Георгиевич Гельфрейх или «Фрушка», как звали его товарищи по Дуодециму, был хорошим, знающим архитектором, но в смысле одаренности уступал Штальбергу и особенно Дубенецкому; однако, именно он сделал самую блестящую карьеру оставшись в Советской России. В академическое время он был удивительно милым и покладистым парнем и одним из помощников Щуко. При Советах он становится действительным членом Академии СССР, «лауреатом Сталинской премии первой степени» и работает вместе со Щуко уже на равных началах, а в 1949 году его портрет помещается в журнале «Архитектура и Строительство». Андрею пришлось встретиться с ним в конце двадцатых годов в Париже где он был в какой-то командировке вместе с Грабарем и Щуко (который рассказывал как они мастерили памятник Ленину особенно живописно описывая гигантскую Ленинскую штанину). Тогда он был таким же уютным и милым «Фрушкой». Мы не знаем каким стал «покладистый» Гельфрейх после всех его блестящих успехов в то время как «непримиримый» Жолтовский жестоко критиковался вместе с «приверженцами его космополитической школки».

На портрете мы видим очень важного, маститого и хорошо упитанного господина с большой медалью на добротном пиджаке, внимательно на вас смотрящего знакомыми, светлыми глазами.

С. В. Домбровский, весельчак, симпяга, рубаха парень, большой и толстый, но с удивительной легкостью носивший свой незаурядный вес, был на уровне Гельфрейха в смысле знаний и таланта. Он говорил по-русски почти без акцента, но когда увлекался начинал говорить по-польски. Андрею хорошо запомнилась сцена в мастерской Леонтия Бенуа, где в то время находился весь «Дуодецим» в полном составе; в мастерскую врывается горящий восторгом Домбровский под впечатлением только что виденного балета с участием Анны Павловой в Мариинском Театре. Легко и грациозно пританцовывая он носится по мастерской — «Таки маленьки ладны ножки» много раз повторяет он проделывая свои бесконечные пируэты.

Как почти все его сверстники Домбровский в свободное от академических занятий время работал в качестве помощника у одного из больших петербургских архитекторов. Единственная самостоятельная его работа до нас дошедшая — внутренняя отделка вагона-ресторана, построенного в мастерских Юго-Зап. жел. дор. в Киеве, — воспроизведена в одиннадцатом выпуске «Ежегодника общества Архитекторов Художников» за 1916-ый год.

Одной из самых ярких фигур группы «Дуодецим» был фантастический и несуразный, брызжущий талантом и чрезвычайно неровный в своих работах Лев Руднев. Длинный и тощий, с какой-то расхлябанной фигурой и лохматой темной гривой над выразительным, неправильным, то вдохновенным, то свирепым лицом, он проявлял огненный темперамент и в жизни и в искусстве. Вино, женщины, искусство, казалось сжигали его страстную натуру. В первые академические годы он сильно увлекался танцем; нередко в столовке обращался он к Андрею с просьбой импровизировать музыку к внезапно ему явившейся теме фантастического танца. Андрей садился за рояль и начиналась увлекавшая обоих импровизация, где Руднев был то воином с мечем или луком, то трагической матерью Ниобеей, то фавном, то испанкой и был одновременно и смешен и великолепен.

В классах и в мастерской Л. Бенуа, Руднев делал всегда очень смелые и иногда поистине прекрасные проекты. Рисунок с натуры гораздо меньше интересовал его чем архитектурные фантазии, которые он всегда исполнял с большим темпераментом. У Андрея сохранился его набросок сепией, написанный кистью, изображающий воздвигнутую среди фантастического скалистого пейзажа многоколонную дорическую

ротонду, увенчанную башней, по карнизу которой ведут хоромы странные танцующие фигуры.

Лето 1914 года Руднев проводит в имении К. Л. Мсциховского «Селезневка», где строит прекрасную церковь-школу. Эта его первая постройка производит удивительно **подлинное** впечатление, как чудесными пропорциями, так и великолепной живой, необыкновенно разнообразной каменной кладкой.

Конкурсный выпуск 1914 года, в котором Руднев нормально должен был участвовать имел ряд очень сильных претендентов: Дубенецкий, Криммер, Талепоровский и Штальберг считались наиболее сильными кандидатами. В следующем 1915 году Андрей, мало проявивший себя в Академии и в это время по горло занятый работами на стороне, не казался ему опасным конкурентом и он решил отложить свой конкурс на год. Казалось что он шел наверняка, особенно имея ввиду что Андрей мог начать свой проект только с января 1915 г., тогда как остальные конкуренты начали работать в октябре 1914 г. Потому было велико его разочарование и огорчение когда в этот раз именно Андрей получил желанную заграничную поездку, которая, кроме всех прочих преимуществ, в самый разгар войны, навсегда освобождала его от воинской повинности. Как всегда, по давно установленной традиции, все участники конкурса собрались в зале одного из известных ресторанов на островах чтобы отпраздновать окончание Академии и чествовать победителя. Как не крепился Руднев вначале, но после обильных возлияний шампанского не выдержал, встал из-за стола, подошел к стоящему в глубине зала роялю, начал брать на нем мрачные аккорды и наконец громко разрыдался. Таким образом этот праздник омрачился для Андрея горем друга, блестящий талант которого он так искренно ценил.

После октябрьской революции 1917 г. Руднев все более и более входит в работу с новыми властями. Особенно усиленную деятельность он развивает во время празднования первой годовщины этой революции в октябре 1918 года, а в следующем году строит «Памятник павшим борцам революции на Марсовом Поле».

После этой работы его творчество постепенно теряет прежний стиль, своеобразный характер и по иронии судьбы он много работает со своим бывшим профессором идейным противником Мунцом. В совместном их проекте театра Крас-

ной армии в Москве, вместе с новым дурным вкусом еще чувствуется дерзкий Рудневский размах и безудержный темперамент, но мало по малу характер этих совместных работ обезличивается вместе с усиливающимися почестями и в 1948 г. Л. В. Рудневу присуждается Сталинская премия первой степени; по этому поводу в 6-м номере журнала «Архитектура и Строительство» в июне 1949 г. помещен его портрет, где в больших очках, небрежно одетый, с криво остриженной бородкой, он больше напоминает интеллигента чеховского времени, чем достигшего вершины почестей героя советской архитектуры.

А. Л. Шиловский, маленький и худенький, с бледным лицом, обрамленным плоскими, темными волосами и с остановившимся взглядом глубоко сидящих глаз — был как бы не от мира сего и друзья не даром звали его Христосиком. По странному контрасту работы его отличались большой силой и крепостью. Круглые храмы, купола, мощные колонны и обелиски особенно нравились и удавались ему. Вскоре физически слабая натура Шиловского не выдержала страшных лишений смутного времени и он скончался еще в первые годы революции.

Борис Альмединген, высокий, атлетически сложенный и очень близорукий отличался своей благовоспитанностью, хорошими манерами и любезным отношением к товарищам. Были «благовоспитаны» и его проекты исполненные всегда в чисто классическом стиле согласно направлению Дуодецима. Он окончил Академию одновременно с Андреем и Рудневым, получил звание архитектора-художника но не был сильным конкурентом на заграничную поездку.

Двенадцатый член Дуодецима, Волошинов был принят в группу главным образом «для счета». Во всяком случае это был способный и знающий архитектор, работы которого отличавшиеся преувеличенно огромными и сочными деталями при простых и спокойных массах, имели свой особенный характер.

*

С живописцами, скульпторами и архитекторами из мастерских встречались в «столовке», которая была своего рода Академическим клубом. Здесь за 16 копеек можно было поучить отличный борщ, полпорции котлет и клюквенный

кисель с молоком, и ко всему этому полагался белый пышный ситник вволю.³ Сюда же приходили свои и посторонние, чтобы посидеть, покалякать и выпить за две копейки стакан сладкого чаю.

Из «своих» приходило несколько чрезвычайно живописных завсегдатаев. Огромный, с развевающимися усами, мускулистый Беляшин, всей своей внешностью и подрагивающей молодецкой походкой очень напоминавший рьяного жеребца: вот сейчас заржет! Сам он любил изображать себя в академическом альбоме, всегда лежавшем на одном из столов, в виде скачущего центавра. Несмотря на свою грубоватую и вовсе не поэтическую внешность, был он отличным гравёром и очень любил музыку. Часто Беляшин просил Андрея сыграть ему то прелюдии Шопена, то Крейсleriану Шумана и в награду одаривал его своими прекрасными гравюрами.

Степан Колесников, весьма ценимый академическими профессорами, в столовке славился своим необыкновенным обжорством. Злые языки говорили, что не раз слышали как прислуживавшая девка, заказывавшая блюда для обедающих, громко кричала из буфетной в кухню: «Калёсникову ячницу из дести яёц!»

Необыкновенным аппетитом отличался и красавец Иван Мясоедов. Проглотив несколько кровавых бифштексов он начинал мерно покачиваться и наконец засыпал над пустой тарелкой. Безукоризненно правильными чертами лица и великолепной фигурой напоминал он античного гладиатора, изваянного рукой большого мастера. Нуждаясь часто в презренном металле для бифштексов, он продавал по сходной цене свои фотографии, где весь его костюм состоял из одного лишь фигового листка. Был он на них так невероятно красив и античен, что их охотно покупали, как покупали бы снимки с античных статуй. На первом после поступления Андрея Академическом «греческом» балу Мясоедов произвел истинный фурор, появившись в виде воина в шлеме и со щитом и получив почти единогласно премию за лучший костюм.

На втором академическом балу, посвященном эпохе Людовика XIV-го, столь же блистательный успех имел стар-

³ Неимущие, главным образом живописцы, брали за 6 копеек борщ с мясом и наваливали в него невероятное количество ситника, горчицы и всего что стояло на столе.

ший приятель Андрея, архитектор Ястржембский, который великолепно изобразил самого Короля-Солнце.

Из академических живописцев Андрей часто встречался с А. Яковлевым (Сашей-Яшей) и его «Аяксом» Шухаевым, с которыми он был в крепкой дружбе как на родине, так и за рубежом, вплоть до смерти Яковлева и исчезновения Шухаева в темных недрах Советской России. Все посещавшие столовку живописцы к великому удивлению Андрея, как будто стоворившись находили, что он очень похож на Врубелевского Демона и на перерыв хотели писать его. Когда в Петербурге впервые появился знаменитый «сидящий Демон» многие посетители выставки, на ее открытии спрашивали Андрея не он ли позировал Врубелю для этой картины. Всё это особенно удивляло его потому что ему был совершенно чужд всякий демонизм, всегда возбуждавший в нем враждебное чувство.

В столовке Андрей познакомился со скульптором Манизером, бывшим отличным виолончелистом. В его домашней мастерской был хороший рояль и Андрей часто ходил к нему разыгрывать виолончельные сонаты Бетховена. Впоследствии уже в революционное время Андрею пришлось столкнуться с ним уже на другом поприще.

Часто посещали столовку и тогдашние знаменитости. Здесь читал свои стихи Александр Блок, производивший на слушателей огромное впечатление своим прекрасным каменным лицом и монотонно-выразительной дикцией, Гумилев и очаровательно женственная Анна Ахматова, Игорь Северянин, производивший на Андрея и его друзей отталкивающее впечатление своими «ананасами в шампанском». «Это какая-то шоферская поэзия», — говорили они.

Раза два приходил Шаляпин и тогда это был праздник для академистов. Его странные, окруженные белыми ресницами глаза, то метали молнии, то безудержно смеялись, когда он им рассказывал самые фантастические истории. Потом начиналось гениально-несравненное пение и однажды Андрею пришлось, к его великому страху, аккомпанировать ему «по слуху», когда Шаляпин запел какую-то русскую песню.

В той же столовке Андрей познакомился и быстро подружился с милейшим и талантливым Вадимом Фалилеевым, научившим его тем приемам, которыми сам пользовался для своих цветных гравюр на линолеуме. — «Возьмите спицу от старого зонтика, — сказал он, — дайте ее хорошенько отточить и вставьте в деревянную ручку: отрежьте столько дощеч-

чек линолеума, сколько хотите иметь тонов в вашей гравюре — можете наклеить их для большей солидности на толстый картон. Теперь у вас есть все, что требуется, чтобы резать гравюру. Чтобы ее печатать нужно иметь желатиновый валик, кусок матового стекла и типографские краски. Можно употреблять и масляные, прибавляя к ним типографского лаку». — Андрей тотчас же воспользовался его советами, вырезал крошечную гравюру в три доски изображающую снежный пейзаж, и на обратной стороне первого отпечатка написал историческую дату: 1 октября 1908 года.

В то время Фалилеев был очень увлечен Е. Н. Качурой, державшей с ним вместе вступительный экзамен в 1903 году, но тогда отвергнутой и принятой лишь в 1905-ом. (При общей миловидности у нее был один недостаток: ее нос был раздвоен). Это была способная художница с большой бравурой делавшая рисунки с натуры, и Фалилеев решил научить ее офорту. Для первого опыта Качура награвировала свой автопортрет, нельзя сказать чтобы удачно, но учитель все же решил вынести работу ученицы на суд друзей. Все замялись, не решаясь высказать отрицательного суждения, т. к. давно заметили слабость Вадима к юной Катеньке. Нарушил молчание ничего не заметивший Тырса, громко сказав: «а нос-то один!» Все сделали вид, что не расслышали, а бедный Фалилеев пробормотал; «конечно, она очень мила, но офорт ей не удался». Тогда Тырса еще громче повторил: «да, но нос-то все-таки один!» Не взирая ни на неудачную гравюру, ни на нос, Фалилеев-таки женился на Качуре, которая стала весьма достойной его подругой жизни, но друзья, ревнуя его, утверждали, что «Фалилеев окачурился!»

Вскоре он вышел на конкурс, получил в 1911 году заграничную поездку и надолго исчез с горизонта Андрея. Дружеские отношения с обоими Фалилеевыми возобновились и продолжались до самой их смерти уже в Риме куда они переехали в 1938 году из Германии.

После первой цветной гравюры, еще в классах Академии, Андрей продолжал с большим увлечением делать новые, стараясь усовершенствовать свою технику и изучая для этого с одной стороны многоцветные гравюры Уго да Карпи и его последователей, с другой японские гравюры, которыми все тогда очень увлекались. Серию цветных гравюр в 3 и 4 доски, пейзажного характера он дал на устроенную в залах Академии Художеств «выставку рисунков и эстампов»; где получил какую-то премию. Еще в бытность свою в Академии,

Андрей сделал несколько графических работ для печати, среди которых фронтиспис для «Аполлона»⁴ и, по просьбе Гумилева, виньетки для сборника стихов Анны Ахматовой. Эти работы, сделанные под впечатлением увлекавших тогда Андрея увражей Персье и Фонтэн вскоре показались ему слишком линейно сухими, и его последующие графические работы, приобретают уже иной, более свободный и сочный характер.

*

По окончании всех архитектурных работ и проектов на трех первых курсах для перехода в «мастерские» и получения права производства работ, нужно было сдать ряд экзаменов по научным предметам: по общей истории искусства, высшей математике, сопротивлению материалов, строительному искусству и пр. Все эти экзамены прошли для Андрея довольно гладко за исключением экзамена по перспективе. Это может показаться странным, имея ввиду что все композиции с натуры и архитектурные фантазии Андрея представляют собою как бы гимны перспективе. Но дело в том, что Андрей всегда имел отвращение к построенной перспективе, считая ее фальшивой, плоской и невыразительной и потому не ходил на лекции и не мог заставить себя изучать правила ее построения. Как никак экзамен нужно было держать и Андрей отважился пойти на него зная только одно правило: как построить в перспективе точку! Четыре часа простоял он у доски строя одну точку за другой, и когда, после невероятного волевого напряжения и каких-то наитий, он наконец разрешил данную задачу — усталости его не было предела, но экзамен был все-таки сдан и Андрей перешел в мастерские, выбрав ту где профессором был Леонтий Николаевич Бенуа.

Все товарищи Андрея еще до окончания классов и особенно после перехода в мастерские становились помощниками известных архитекторов. По свойственной ему с раннего детства строптивой независимости, Андрей не переносил несамостоятельной работы и потому, тотчас по переходе в мастерские, предпочел более скромно оплаченные но самостоятельные работы по обмерам и исследованию памятников старинной архитектуры. Прежде чем описывать эти его работы, сыгравшие очень большую роль в его художественно-

⁴ Помещенный впервые в февральском номере 1913 года и затем вновь воспроизведенный во всех №№ 1914-го.

архитектурном формировании, стоит сказать несколько слов о тех влияниях, которые он испытал вне стен Академии, как в Петербурге так и вне его.

В Петербурге прежде всего была его царственная архитектура и затем театры и концерты. Здесь не место описывать красоты «Северной Пальмиры», но все же необходимо отметить, что ее архитектурные памятники, Нева и каналы, набережные и призрачный свет белых ночей оказали несомненное влияние на всё последующее творчество Андрея, наложив на него неизгладимый отпечаток.

Среди театров особенно запомнился Мариинский. Уже самая зала с ее голубым бархатом и великолепными позолотами производила совсем особенное впечатление, а когда Андрей смотрел сверху на партер и бенеуары, ему казалось что под ногами целое море сверкающих бриллиантов, изумрудов, рубинов и сапфиров. (Впоследствии к его удивлению и разочарованию, ни в одной из европейских столиц, ни на одной премьере не увидел он этого необычайного сверкания драгоценных камней). На сцене блистал в то время в своих лучших ролях еще молодой и полногласный Шаляпин и несравненный Собинов дерзнул петь Глюковского Орфея, роль которого до него поручалась лишь женщинам. В балете происходили небывалые в других странах постановки, как феерии «Лебединого озера» или «Павильона Армиды» Александра Бенуа и столь же умопомрачительные выступления Павловой, Карсавиной и Кшесинской, Фокиных и Нижинского в расцвете их сил и таланта. И как контраст — первые выступления босоножки Айседоры Дункан.

В концертах в Петербурге выступали все самые значительные артисты того времени. В белоколонной зале Дворянского Собора происходили симфонические концерты и выступления таких солистов как Пюньо, Изай, Гофман и Энеско и здесь Андрей слушая музыку, зарисовывал всегда зачаровывавшие его люстры. Здесь же он рисовал музыку, т. е. образы, которые возникали в его воображении когда он ее слушал. Толчком послужила музыка Регера в то время как автор, несомненно один из крупнейших композиторов того времени, дирижировал оркестром исполнявшим его произведения. Эту музыку Андрей изобразил в виде странных извивающихся существ, с головами похожими на раскрывающиеся небывалые цветы, а блистательное исполнение Гофманом полонеза Шопена — в виде сверкающих брызг от ритмических ударов. Но в общем эти изображения музыки были лишь временным

«каприччио» Андрея и не оставили большого следа в его творчестве.

Среди великолепных симфонических концертов руководимых А. И. Зилоти на всю жизнь запомнился изумительный квартет голосов Неждановой, Собинова, Збруевой и Серебрякова в девятой симфонии Бетховена. Тут же выступали и гиганты отечественной музыки: уже увенчанный славой и почестями Глазунов, высокий и стройный Римский-Корсаков, похожий на адмирала в штатском и бесконечно талантливый Лядов поражающий несоответствием его наружности одутловато-желтого заспанного купеческого сына с его блестящей и ярко-красочной музыкой.

Концерты камерной музыки происходили в зале Консерватории. Здесь юный Сергей Прокофьев, прозванный друзьями Белым Негром, исполнял свои первые, то лирически задумчивые, то дерзко озорные композиции и здесь же, до самой смерти играл свои произведения Скрябин, вовсе не виртуозное, но высоко-вдохновенное исполнение которого все состояло из проникновенных полетов. После его кончины Рахманинов, до тех пор игравший только свои произведения, дал концерт весь посвященный Скрябину. Мастерская и может-быть слишком блестящая игра гениального пианиста разведела даже сидевшего неподалеку от Андрея «Белого Негра», всегда неодобрительно относившегося к произведениям Рахманинова: — «Да, — сказал он соседу, — конечно это очень замечательно», — и помолчав немного: — «а потом опять начнет свои обывательские композиции играть!»

*

До своего переезда в Петербург все зимы Андрей оставался в своей родной Туле и никогда не бывал в деревне зимою и впервые он ее увидел когда однажды Криммер пригласил его вместе с Талепоровским и Тырсой провести рождественские праздники на приспособленной и к зимнему жилью даче Криммера под Лугою куда все приехали уже поздно вечером. Когда по утру, выйдя на воздух Андрей увидел одетые инеем белые деревья на фоне удивительного синего неба и синие тени на искрящемся снегу, он долго не мог прийти в себя от овладевшего им восторга.

Все последующие дни этих рождественских каникул остались для Андрея одним из самых светлых воспоминаний того времени. Несмотря на сильный мороз, все начали писать

этюды маслом; перчатки мешали писать, а без них нельзя было выдержать больше нескольких минут, и потому в промежутках все бегали, топтались на снегу, надевали варежки или дүли на замерзшие пальцы. К вечеру собрались в очаровательной гостиной, уставленной мебелью красного дерева с огромными розанами на синем фоне обивки; лежа на ковре перед пылающим камином, делились впечатлениями и вели бесконечные разговоры об искусстве. Вернувшись в Петербург совершенно очарованный Андрей привез с собой ряд масляных снежных этюдов и несколько рисунков для будущих цветных гравюр.

А. Белобородов

ОМСК. ДИРЕКТОРИЯ. КОЛЧАК

Положение у Колчака было не легкое. С одной стороны, он не чувствовал поддержки высшего офицерства ставки, т. е. генералов и ст. офицеров генштаба — Колчак был моряк и естественно все эти «генштабисты» не считали его авторитетом в военном деле, что Колчак прекрасно чувствовал. С другой — в самом правительстве, среди министров, не было ни одного сколько-нибудь выдающегося человека. Все они, начиная с Вологодского, были средней руки русские интеллигенты из сибирской провинции. Михайлов, несомненно очень способный, был человеком с большими недостатками и недаром его называли «славный молодой каторжник»; он родился на каторге, отец его был народоволец Адриан Михайлов. Человеком волевым, решительным и очень порядочным был Пепеляев. Он и Колчаку был предан, что доказал, оставшись с ним, — но что он мог сделать один?

Между тем, государственный аппарат разрастался. Был образован главный штаб, главное артил. управление. Помимо всего, очень сложны были отношения с союзниками. Генерал Жанен делал что хотел, а ген. Стефанек, человек весьма благородный, при всем своем желании не мог заставить чехов воевать. Чехи не хотели оставаться на фронте и, занимая линию сибирской ж. д., проявляли самоуправства. В глубоком тылу также было неблагополучно — там царила атаманина. В Семипалатинске и Семиречье Анненков сформировал свои собственные полки, нарядил их в фантастические формы и никого и ничего не признавал. В Чите царил Семенов, находившийся всецело в руках японцев. Далее на ст. Даурия свирепствовал знаменитый Унгерн. Там нередко задерживали командированных Омском людей, снимали с поездов, были случаи расстрелов и, наконец, в Приморье орудовал ат. Калмыков. Бесчинства, разбой не прекращались... Такова была обстановка, в которой адм. Колчаку приходилось вести борьбу с большевиками. Единственная надежда была на фронт: победа должна была решить всё. И к февралю начал обозначаться крупный

успех и на юге у Деникина и у нас в Сибири. Только Юденича постигла неудача — он начал поспешный отход от Петрограда.

В начале марта в Семипалатинск, где находился штаб степного корпуса, которым командовал ген. Бржезовский, был командирован генерал военный юрист и с ним следователь по особо важным делам Валеский. Генерал и Валеский должны были обследовать положение в Семипалатинске, опросить ген. Бржезовского о действиях Анненкова и вообще подробно ознакомиться с жизнью корпуса. Лебедев назначил меня сопровождать генерала. Я только что был произведен в полковники. Сыромятников, поздравляя меня, смеясь сказал: «Это за участие в перевороте». Не знаю, так ли это было. Думаю, что Сыромятников шутил.

Путешествие это, как и жизнь почти 3 недели в Семипалатинске и возвращение на пароходе, — одно из самых светлых воспоминаний за годы войны, революции и гражданской смуты. Может быть потому, что шла весна — буйная, неудержимая, с могучим разливом сибирских рек, с гоголом косяков гусей и кряканьем уток, может быть потому, что очаровал кондовый быт Семипалатинска — с его сибирским гостеприимством и радушием — не знаю. Во всяком случае, уже в вагоне создалось какое-то беспечное и веселое настроение. И генерал, и особенно Валеский были любители хорошо выпить и поесть, и в нашем салоне за рюмкой водки мы просиживали иной раз далеко за полночь, предаваясь воспоминаниям. В Ново-Николаевске стояли почти целый день. Осматривали этот богатый сибирский город, до революции — центр хлебной торговли. Утром на четвертый день прибыли в Семипалатинск. Нас встретил какой-то поручик из штаба корпуса, который провел нас в единственную в городе гостиницу и затем пригласил к себе на пельмени к часу дня. Гостиница была типичной русской провинциальной гостиницей с тем же половым, с тем же запахом шей, с теми же продавленными диванами в номерах. В такой вот гостинице, вероятно, останавливался Хлестаков. Утро было посвящено штабу корпуса и знакомству с ген. Бржезовским. Это был плотный, невысокого роста еще не старый человек — георгиевский кавалер. Его очень хвалили, говорили, что это был доблестный офицер и безукоризненно честный. Начальником штаба был полковник генштаба еще молодой, но совершенно лысый Щербаков, и. д. генкварма капитан Зезин, высокий, представительный, а офицер для поручений, совсем юный, георгиевский кавалер Бафталовский.

К часу дня мы были у поручика. Он снимал комнату у полной, очень пригожей сибирячки-вдовы и, кажется, устроился со всеми «удобствами». На столе стоял большой графин с водкой, в котором красовался великолепный петух с красной «бородкой», густым иссиня-черным хвостом, в огненном оперении. Гости должны были «спасать» петуха, т. е. опустошить графин — таков был сибирский обычай. Хозяйка разнесла глубокие тарелки до краев наполненные пельменями, а затем на подносе каждому по чашке сливок. Когда пельмени были съедены, появилось блюдо с жареными пельменями. Хозяйка нет-нет присаживалась, наливала себе рюмку и неизменно повторяла: «ну давайте, давайте, надо петуха спасти»... Петух «тонул» и «спасался» несколько раз. Поднося рюмку ко рту, генерал каждый раз повторял: «Хватит удар! ей-Богу хватит удар!» Всё время, что мы прожили в Семипалатинске, мы были нарасхват. Несколько раз обедали у корпусного интенданта полковника Толмачева, но особенно отличался гостеприимством прис. поверенный Н. А. Пастухов. Пастухов был природный сибиряк, томич, сын бедных крестьян. Он очень образно рассказывал, как мальчиком он с завистью смотрел на ребят, идущих в школу. С большим трудом удалось ему поступить в гимназию и уже с младших классов он начал зарабатывать уроками, учась, как он говорил, на медные деньги. Гимназию кончил с золотой медалью и поступил в томский университет. Блондин, невысокого роста с очень милым, приятным лицом, Пастухов начал свою карьеру присяжного поверенного в Семипалатинске и очень скоро стал прекрасно зарабатывать. Его жена, полная, розовощекая — тоже сибирячка, вела хозяйство на широкую ногу — они были бездетны и их обширная квартира в отдельном особняке всегда была полна гостей. За стол садилось обедать человек 20 — всё больше штабные офицеры. Гомерически пили, не менее гомерически ели — пельмени, пироги, сибирские шаньги, беляши, замечательные омули, стерлядки... Пели хором сибирские песни, пор. Насонов, офицер запаса из сибирских купцов — могучий, богатырски сложенный человек, великолепно сам себе аккомпанировал на гитаре и пел песенки Вертинского. Наш генерал исправно кушал, пил, всё время повторяя, что его «хватит удар». Какая отвратительная вещь революция — кто мог подумать тогда, среди этой привольной, крепкой жизни, что многих из этих людей ждет трагическая участь? Ген. Бржезовский был красными насмерть запорот шомполами, та же участь постигла беднягу Пастухова, этого

милейшего русского человека-крестьянина. В чем была его вина? «Постоянно принимал у себя белогвардейцев!» И многие кончили также трагически. Только небольшая группа, собранная кап. Бафталовским, взяв винтовки, сумела ночью выйти из Семипалатинска и уйти в китайский Туркестан — Синьцзянь, откуда, походным порядком, прошла через весь Китай в Шанхай. Но тогда никто об этом не думал. Фронт был далеко — за Алтаем.

В большом помещении, с просторным залом со сценой было офицерское собрание штаба корпуса. Там устраивались танцевальные вечера, концерты, ставились спектакли — этим делом ведал ловкий, приятный и веселый кап. Зезин. В буфете прислуживали пленные немецкие солдаты. Они кое-как уже выучились объясняться по-русски, но офицеров величали по-немецки: «хер оберст», «хер обер-лейтенант», «гауптман» и т. д. Поражала необыкновенная дешевизна в Семипалатинске. В разгар гражданской войны, в городе не было недостатка ни в чем. Десяток яиц, напр., стоил 20-25 коп. на сибирские деньги!

У меня, в сущности, не было никакого дела. Утро до 12 ч. генерал и Валеский проводили в штабе, а я гулял по городу. Осмотрел дом, где жил Достоевский. Смотрел, как с грохотом трескался лед на Иртыше. Шла весна. По немощеным улицам бурно текли ручьи, воздух был напоен гомоном перелетных птиц. Тянулись гуси, стаями летели утки... Обедали почти всегда у Пастуховых — они даже мысли не допускали, чтобы мы были не у них. Потом шли к себе, отдыхали и часа два Валеский занимался составлением отчета, в чем я ему помогал. Генерал обычно сидел, слушал — дело происходило у него в номере — вставлял свои замечания, после чего мы шли или в собрание, или опять к Пастуховым, где обильный ужин с массой настоек и, конечно, с «петухом» затягивался иной раз до поздней ночи. И возвращаясь в гостиницу, генерал неизменно повторял: «Кончено! Больше не буду! Иначе хватит удар...» Валеский толкал меня в бок и посмеивался, а на другой день опять «спасали петуха». Более трех недель угарно и весело мы провели в Семипалатинске. Не хотели отпускать. Анненкова мы так и не видели, а из его войск, только раз видели один полк, разряженный в экзотическую форму, когда он проходил по городу. Возвращались мы на пароходе. Как раз пришел новый прекрасный пароход Двинаренко. Эти несколько пароходов, по образцу волжского о-ва «Самолет», стали недавно ходить по Иртышу. Пароходство принадлежало Двина-

ренко, предприимчивому сибирскому купцу. Пароход был совсем новый с отличными каютами I и II классов, салоном, рестораном, электрическим освещением.

Иртыш совсем очистился от льда. Стояла чудесная, тихая, солнечная погода. Иртыш разлился широким морем. Кое-где на синеем берегу виднелись зимние становища киргизов. Из-под мерно шлепающих колес парохода, иногда вздымались стаи уток, — отлетев немного, они с громким плеском опять садились на воду, оставляя за собой серебристые струйки. На зеленеющем, на зеркальной глади, островке метался тощий со взбитой серо-желтой шерстью, лобастый волк. Пассажиров было немного. Конечно, в первый же день мы все «объединились» за общим столом в прекрасной столовой парохода за не менее прекрасной едой. Полдня стояли в Павлодаре, когда-то тоже богатом хлебом сибирском городе. Наконец утром, на четвертый день мы прибыли в Омск. Везде было радостное настроение. В ставке царило оживление, Лебедев был очень доволен — шло наступление, армии Пепеляева и Гайды были недалеко от Бузулука, еще немного и подойдут к Волге. Довольны были и англичане, в бюро печати пророчили в скором времени полный разгром большевиков. Жардецкий и к. д. обсуждали проект будущих выборов во всероссийское учредительное собрание, чтобы не повторить ошибок прошлого и чтобы не захватили власть «ес-еры», как все время называл их Жардецкий. Таковы были настроения. И мне захотелось на фронт. Я вдруг начал представлять себе, как будет освобождена Самара, как мы будем торжественно туда входить, как возьмем Симбирск, Сызрань... Сказал Лебедеву, что хочу в армию — он одобрил мое решение. Пожелал успеха и Сыромятников: «только имейте в виду, что красные сосредотачивают большие силы против нас, да и в тылу не все благополучно — крестьяне бунтуют, уж очень там Красильников со своими казаками свирепствует». Это было не очень ободряющее напутствие. Тем не менее, вера в победу настолько была велика, что решен был и переезд семьи.

Лебедев откомандировал меня от ставки и дал предписание явиться к нач. артиллерии армии Гайды, генерал-майору Томашевскому. Нам дали вагон, чистый, удобный. Простился с англичанами, которые находили мое решение очень правильным. Зашел к Пепеляеву, как-никак нас с ним многое связывало: и Самара, и общность политических взглядов. Он принял меня сразу, вне очереди. Виктор Николаевич сидел за письменным столом, немного грузный, большой, серьезный, но в

хорошем настроении: «ну, у брательника дела идут хорошо, скоро будем на Волге, вы правильно делаете, поезжайте»... сказал он мне, перебирая какие-то бумаги... Могла ли мне придти тогда в голову мысль, что его ждет такая трагическая судьба?

Итак, простившись с Омском мы тронулись. В Екатеринбурге прожили в вагоне двое суток, пока нашли две комнаты. Никогда не забуду первого вечера в Екатеринбурге. Белые ночи, мертвая тишина и среди этой тишины каждый час раздавались глухие металлические удары — ночные сторожа отсчитывали часы. За время гражданской войны у меня развилось удивительное чувство. Я безошибочно ощущал обстановку. Так за несколько суток до ухода из имения я почувствовал совершенно ясно, что надо уходить. Это же чувство вдруг неожиданно появилось в Сызрани. И когда в Екатеринбурге я вышел поздно вечером на пустынную улицу мне вдруг стало ясно, что город обречен! Я словно видел сквозь белесую тьму, как на город надвигается катастрофа! Помню пошел посмотреть на дом Ипатьева, где так трагически закончила свои дни царская семья. Кирпичный белый дом самого обычного типа, какие часто встречаются в провинциальных городах. Подъезд, а рядом под полукруглой железной крышей ступеньки в подвальное помещение. Я спустился вниз, попробовал дверь — она была заперта. Воображение рисовало всю чудовищную картину этого отвратительного преступления. Гулкие удары в железные щиты привели меня в себя.

Утром я пошел в штаб являться Томашевскому. Встретил он меня неласково, был очень недоволен, что Лебедев его не запросил заранее о моей командировке — «Я не знаю, что думают в Омске? Откуда я вам возьму дивизион? У нас ни дивизионов, ни батарей свободных нет... может быть освободится Уфимский дивизион, а пока, что я буду с вами делать? — говорил Томашевский, — я вас прикомандирую к моему управлению, а вы можете время от времени наведываться, м. б. что-нибудь и очистится». Теперь я очень каюсь, что затеял всю эту историю.

Через несколько дней я отправился опять к Томашевскому. Принял не сразу — ждал минут 30. Был сух, неприветлив. Сказал, что «пока» еще ничего нет. Я спросил, как дела на фронте, правда ли, что наша армия отступает? Не собирается ли Екатеринбург эвакуироваться? Мой вопрос привел его в раздражение: — «Ни о какой эвакуации не мо-

жет быть и речи! На фронте если и есть временный неуспех — так это никакого значения на общий ход военных операций иметь не может... советую вам поменьше об этом думать и тем более говорить!» — закончил ген. Томашевский... Я поднялся, он протянул мне руку и я вышел. Мне было все ясно. Я прошел хорошую школу гражданской войны. Я видел не раз этих генералов, которые с свирепым видом заявляли, — «Ни о какой эвакуации не может быть и речи!», — когда фронт уже стремительно откатывался. Я решил больше к Томашевскому не ходить, а пошел прямо на вокзал, самому посмотреть, что там делается. На втором пути стоял блестящий поезд ген. Гайды с вагонами I и II кл. Я спросил нач. станции — чьи это вагоны? Он мне сказал, что это вагоны командующего армией, нач. штаба и других генералов. «А начальника артиллерии?», — спросил я, — «Да, и ген. Томашевского, — ответил он, — Поезд приказано держать наготове, все вещи уже в вагонах,» добавил он. — «Вы думаете будет эвакуация?» — спросил я. — «Ну, а как же, и нам приказано быть наготове». . . Не теряя времени я тут же пошел к редактору фронтовой газеты Янчевецкому — его поезд стоял на запасном пути товарной станции. Янчевецкий оказался милейшим человеком. Он принял меня в вагоне «редакции», где было нечто вроде его кабинета — с письменным столом, картами, несколькими стульями. Он мне прямо, не скрывая, сказал, что идет отступление, что Екатеринбург будет оставлен вероятно, что хотя об этом не велено говорить, и писать, но сводки с фронта говорят сами за себя. Не знаю, чем я вызвал к себе такое отношение человека, который видел меня первый раз в жизни, — но он, узнав о том, что мои дочери больны, просто сказал: «Знаете, что. Я думаю, что смогу вам дать теплушку. У меня в поезде есть в хвосте запасная, вам только надо будет самому ухитриться прицепить ее к какому-нибудь поезду. Детей и жену надо конечно вывезти отсюда». Это был не последний случай, что судьба посылала мне неожиданных спасителей. Янчевецкий был очень интересный человек. Он много в жизни видел, многое знал, был интересным собеседником, талантливым журналистом. Мы с ним много говорили о китайском походе, о ген. Линевице, говорили о Колчаке, которому он очень симпатизировал, но на положение смотрел мрачно. Очень критически говорил о чехах, которые, по его мнению, играют в руку большевиков и не менее критически отзывался о союзниках: «Вы вот видели? Англичане уже уходят. Стоило обозначиться не-

удаче и союзники быстро эвакуируются. В чем их помощь? Два-три батальона в тылу? А эта комическая батарея французов? А что делается в тылу? Семенов, Унгерн, Калмыков? А вы знаете какие восстания крестьян в Сибири? Положение Колчака тяжелое... А кто его окружает? Разве один Пепеляев еще человек с характером, а ведь остальные это же провинциальные чиновники — какой у них государственный опыт?»

Путешествие назад в Омск было мучительным и чуть не кончилось катастрофой. В этой теплушке мы чуть не сгорели. Приехав в Омск, я сразу пошел в ставку и явился Лебедеву. Рассказал ему все подробно про обстановку в Екатеринбурге, про то, как встретил меня Томашевский, и наконец про наше путешествие. Лебедев находил, что положение на фронте серьезно, но считал, что может быть Екатеринбург удастся удержать. Мне он сразу предложил место в недавно сформированном артиллерийском училище, лектора по тактике артиллерии. «Я думаю, что вам будет спокойней и лучше в училище, чем опять занимать должность штаб-офицера для поручений, да и чин ваш уже немного высок для этой должности». Я поблагодарил Лебедева.

Между тем, в Омске появился новый человек — профессор В. В. Болдырев. Высокий, худой, с горящими глазами и лицом аскета — он страстно проповедовал религиозную войну против коммунизма. Он устраивал публичные доклады, на которые мы несколько раз ходили. Болдырев утверждал, что борьбу надо вести с крестом в руках, что надо создавать всенародное ополчение «дружины св. креста», а для магометанского мира — «полумесяца», что в эти дружины должны записываться добровольцы, что надо организовать призыв этих добровольцев и формировать из них части. К этому времени с фронта приехал ген.-лейт. Голицын. Адм. Колчак вполне сочувствовал идее Болдырева и решил создать управление по формированию дружин св. креста и полумесяца. Во главе этого учреждения был поставлен ген. Голицын. Голицына я никогда раньше не видел и ничего о нем не слышал. Он начал свою службу в Заамурском военном округе. Высокий, красивый, удивительно приятный в обращении, он обладал в большой степени тем, что называется шарм. Потом о нем я многое узнал уже в Маньчжурии, где встретил многих б. замурцев, в том числе б. начальника штабы округа ген. Володченко. В военных кругах Голицына называли «кондитером». По словам Володченко, это был необыкновенно ловкий, умный и очаровательный карьерист. «Ка-

питан Голицын, это ж был поразительный штукарь! — говорил Володченко — недаром его прозвали «кондитером» и дамы от него в восторге были, а вы знаете что такое «дамы»? — Как бы то ни было Голицын горячо принялся за дело. Себе в помощники он взял молодого ген.-м. Торейкина. И вот, как-то, часов около 6-ти вечера, неожиданно, к нашему дому подкатил извозчик и из него вышли Е. Н. Толстая и ген. Голицын.

Елизавета Николаевна Толстая приехала в Омск с американским Красным Крестом, как сестра милосердия. Раньше она была все время при вел. кн. Елизавете Федоровне, они вместе были и арестованы. Во время ареста в. кн. сняла с себя наперсный крест с распятием из темного палисандрового дерева и надела его на Толстую — Толстая его никогда не снимала. Обе были отправлены в тюрьму. Вел. кн. вскоре была зверски убита, а Толстая освобождена из тюрьмы, когда Екатеринбург взяла наша армия. Веселый, очаровательный, красивый — Голицын вошел с Толстой, которая в своем платье сестры милосердия, с наперсным крестом на груди, казалась худенькой и маленькой рядом с ним. Толстая познакомила нас с Голицыным. Все сели. Я точно помню первую фразу, которую Голицын произнес: — «Ну, что полковник — как дела? А я вот имею сделать вам некое гнусное предложение, — он вопросительно помолчал — не хотите ли быть моим уполномоченным по формированию дружин св. Креста и полумесяца всего Иркутского района? Только вот одно: дело срочное и надо решать немедленно! Самое позднее ответ должен быть дан завтра утром, т. к. послезавтра в 8 ч. утра надо выехать». Все это было явно дело рук Толстой. Я даже несколько растерялся от неожиданности... «Итак, — сказал Голицын, — если решите, жду вас завтра к 9 ч. у себя в управлении. За семью не беспокойтесь, мы ее вам доставим, когда устроитесь в Иркутске» — протягивая руку, произнес он. Кажется никогда в жизни я не испытывал такой нерешительности как в этот раз. После почти бессонной ночи я все же отправился к Голицыну и согласился ехать в Иркутск. Когда я вошел к Голицыну, я увидел стоящего перед ним очень высокого, массивного подполковника с погонами с зелеными просветами пограничной стражи. — «Ну вот и отлично, — встретил меня Голицын, — а тут как раз ваш помощник — подполковник Демиденко». Это был офицер заамурского военного округа, который только что проехал югом через фронт, с женой и дочерью, из армии Деникина.

Это был грубый, темный человек, «держиморда», нечто вроде Скалозуба. Впоследствии мне с ним приходилось нелегко. Весь день ушел на хлопоты. Простился с училищем, зашел к англичанам, был у Лебедева, который от души пожелал успеха. Днем получил предписание и приказ, 2 миллиона аванса, а утром в 9 ч. мы должны были отправиться. Я сознавал огромную ответственность, которая будет лежать на мне по формированию дружин св. Креста и полумесяца.

Великий сибирский путь. Ехали мы больше недели, часто подолгу останавливаясь на больших станциях. Мрачное впечатление производили виселицы, которые время от времени попадались вдоль пути. Особенно сильное впечатление, помню, произвела такая виселица, которую мы увидели сейчас же за станцией Тайшет. Было поздно, уже около 11 час., когда я, глядя в окно, увидел в ночной темноте, прямо у полотна ж. д. виселицу и на ней медленно покачивающиеся три трупы. Картина была ужасная. Это все были в большинстве жертвы карательных отрядов Красильникова, усмирявшего крестьянские бунты. Как все это мало вязалось со св. Крестом? На душе было смутно и тревожно. Днем были в Красноярске. Со станции Тайга начиналась сибирская тайга. Я не отрываясь смотрел в окно, восхищенный величественной картиной могучих кедров, лиственниц, елей. Они стеной подходили к самому полотну ж. д. В Иркутск приехали вечером. Вагон поставили на запасный путь. Отправился осматривать город. Первое что поразило — это улица, идущая от вокзала, на которой сплошь, по обе стороны, стояли китайские харчевни и лавки, а над ними покачивались вывески в виде эмблем из жести и цветной материи, обозначающие чем торгует лавка, с яркими красными и золотыми иероглифами. Утром предстояло сделать визиты командиру войсками, гражданскому губернатору и найти помещение для управления и наших квартир. Командующий войсками был старый офицер генштаба, ген.-л. Артемьев. Это был приветливый, высокий, седой человек, он мало верил в наше предприятие. Он принадлежал к тому сорту старых офицеров, которые никак не могли принять революцию и жили целиком прошлым. Должность моя была совершенно самостоятельная и я никому не был подчинен кроме Голицына, тем не менее Артемьев обещал мне полное содействие. У него были два адъютанта — кап. Келлер и поручик Каршин — оба офицеры военного времени и оба по образованию юристы. Артемьев с адъютантами занимал б. дворец генерал-губернатора. Ко-

мендантом был старый пехотный полковник Аксаков, который немедленно отвел нам помещение в «Амурской Гостинице», где в двух этажах мы и разместились. Начальником гарнизона был молодой энергичный и решительный ген. м. сводного гвардейского казачьего полка Сычев. Впоследствии, в эмиграции, он всецело связался с советскими, в 1946 г. уехал из Шанхая в СССР. Затем я нанес визит губернатору. Это был старый с.-р. Яковлев. Станные в жизни бывают встречи. Яковлев произвел на меня неизгладимое впечатление. Мы с ним просидели часа два и не заметили как пролетело время. Яковлев был очень умный и, как большинство всех умных людей, чрезвычайно приятный. Он обещал мне полную поддержку всем, но совершенно не верил не только в дело, порученное мне, но и вообще в успех белого движения: «Ну подумайте сами, как может иметь успех белая идея, если на юге, у Деникина, идут с лозунгами: «бей жидов, спасай Россию»! Мало этого, все эти помещики, б. предводители и прочие мечтают о возврате им их латифундий! А здесь у нас что делается? У Семенова, Унгерна, Калмыкова? И вот видите по началу как будто успех был на всех фронтах, а в результате полное везде отступление. Очень сомневаюсь, чтобы удалось поднять мужиков теперь на борьбу символом св. Креста, да и не запоздали ли уже? Пробуйте, начинайте, если что будет надо, я к вашим услугам».

Дав объявление в местную газету, я быстро сформировал управление — из делопроизводителя, чиновника военного времени Ердякова, счетовода Беляева, машинистки. Надо было привлечь на нашу сторону общественность. Мне было не легко — общее настроение было пессимистическое, не очень то ободряюще действовали люди стоящие у власти. Я посетил главу иркутской к. д. партии Н. Н. Горчакова. Худой, одержимый идеей демократии, он был представителем той прекраснородушной русской интеллигенции, которая больше никогда не повторится. Во многом он напоминал Жардецкого. Писал страстные передовицы в местной газете, выступал с не менее страстными речами на собраниях. Стараниями Горчакова было устроено собрание местных к.-д. коммерсантов и общественных деятелей. Набралось у меня в управлении человек 25. Я подробно изложил идею Болдырева: создать дружины св. Креста на добровольческих началах, просил помочь мне в этом деле. Сам Горчаков с большим энтузиазмом отнесся к мысли начать борьбу на религиозной основе. Было решено разбить Иркутскую область на районы и назначить

туда платных агитаторов. Горчаков и представители общест-венности взялись наметить лиц годных для этой работы. За-тем мы наметили устройство большого собрания, на котором бы выступили с докладами Горчаков, профессор Миролюбов и др. Мною были написаны несколько воззваний к населе-нию, которые были отпечатаны в местной типографии и рас-клеены по городу. Вскоре явился ко мне подполковник Франк, пожилой пехотный офицер, выразивший желание стать во главе будущего батальона, за ним пришел кап. Зуев, ко-торого я назначил помощником Франка и несколько других офицеров. Таким образом костяк 1-го батальона намечался. Ген. Артемьев отвел место для будущих дружин в старых казармах на той стороне Ангары. Постепенно начали подби-раться добровольцы — в большинстве это были или безра-ботные или люди неизвестной профессии. Вскоре был устро-ен митинг в театре с выступлением ораторов и небольшой музыкальной программой. На это надо было разрешение гу-бернатора. Яковлев его тотчас же дал. Я пригласил выступ-ить Н. Н. Горчакова и профессора Миролюбова. Собрание было назначено в 5 ч. К этому времени театр оказался по-лон — стояли в проходах. В губернаторской ложе, напро-тив сцены, сидел Яковлев. Я открыл собрание, рассказав про В. Болдырева, про его идею борьбы с коммунизмом на ре-лигиозной почве, передал то, что сам Болдырев говорил от-носительно того, как безбожной, атеистической власти ком-мунистов необходимо противопоставить идею религии. После небольшого концертного отделения — оркестр сыграл не-сколько вещей из русских опер — выступил проф. Миролю-бов, его речь была посвящена гл. обр. вопросам религии и веры, а за ним говорил Горчаков. Говорил он долго, часа пол-тора. Говорил страстно, убедительно. Вся его речь носила чисто политический характер — он обличал большевистскую власть, — как власть насилия, бесправия, безбожия, призы-вал всех благомыслящих людей сплотиться вокруг правитель-ства Колчака для борьбы с поработителями народа, помочь святому делу — формировать дружины св. Креста и полуме-сяца и т. д. и т. д. Посторонний наблюдатель, который бы присутствовал на этом собрании, непременно бы убедился в полном успехе идеи проф. Болдырева — к сожалению это было не так. Набор шел очень туго, крестьяне никак не хо-тели идти воевать с большевиками. Между прочим, никто из военного командования на этом собрании не был — ни Ар-темьев, ни Сычев, ни Аксаков — хотя приглашения я им по-

слал. Я никогда вопроса этого не углублял и не доискивался причины, тем более что формирование дружин ни в какой мере не касалось ни командующего войсками округа, ни других военных властей. К концу октября удалось сформировать батальон из 300 человек при 8 офицерах и командире подполк. Франке. Был молебен, был прощальный обед, который устроили офицеры батальона и батальон погрузился в поезд. На ближайшей станции «Зима» был мой уполномоченный бывший железнодорожный жандармский подполк. Никифоров — от него должны были присоединиться еще человек 40, которых ему удалось набрать. Дошел ли Франк со своим батальоном до фронта или нет — этого я никогда не узнал. Как бы то ни было, надо было думать о формировании следующей дружины и я назначил на место Франка кап. Зуева. Через несколько дней после этого, я получил телеграмму из Омска, что у жены тиф и она в опасном положении. Наступали холода, регулярного ж. д. движения уже не было. Ходили товаро-пассажирские поезда. Тем не менее я решил ехать, надо было вывозить детей, а жену не знал застану ли в живых?

На пятые сутки, глубокой ночью — было 4 ч. утра — наш поезд подошел к Омску. На путях стояла масса составов, среди них был поезд американского Кр. Креста. Я принялся стучать в вагон II класса. Какая-то заспанная американка, сестра милосердия, сказала, что все больные еще в госпитале, который вечером будет грузиться в поезд. На вокзале, несмотря на ранний час, была суета — знакомая картина эвакуации. Едва досидев до 7 ч. я пошел к Е. Н. Толстой, она меня тепло встретила, была спокойна, сказала, что у жены накануне был кризис, который благополучно прошел и, вероятно, теперь опасность миновала — вечером госпиталь будет грузиться в поезд. Я спросил каково положение на фронте, где адм. Колчак, ген. Голицын, Болдырев. «На фронте отступление — надеются, что удастся задержаться, адмирал решил перевести правительство в Иркутск, куда и сам переедет. Ген. Голицын и Болдырев отправляют дружину на фронт. Дитерихс затеял формировать какой-то корпус неизвестно из кого и из чего, и говорит, что Россию спасет Михаил, ну, а т. к. он Михаил, то понятно на кого он намекает. Они с женой устраивают все время какие-то моления», — рассказывала мне Толстая. Более часу мы проговорили. Больше мне не суждено было видеть Елизавету Николаевну. В походе Голицын заболел тифом и остался в Красноярске

под чужой фамилией, осталась с ним и Толстая. Что с ними было дальше никто не знал.

Весь Омск был в движении. Уходили поезда с чехами, грузились правительственные учреждения, уезжали иностранные миссии. Поезд ген. Нокса уже ушел. Наш поезд должен был отправиться утром. Выздоровливающая жена лежала в купе, на нижнем диване. Больше недели длилось наше путешествие. У меня, как у коменданта поезда, было много дела. На каждой остановке, на каждом полустанке приходилось упорно и настойчиво добиваться, чтобы нас пропускали, не задерживая. Нас все время обгоняли чешские эшелоны, идущие на Восток. Часто шли по левому пути. Не доезжая Тайги, мы безнадежно застряли. Я бросился уговаривать начальника станции пустить и нас по левому пути. Он никак на это не соглашался. По счастью подошел чешский эшелон с «воинским грузом» — масса награбленного имущества — я обратился к начальнику чеху и он, узнав, что это поезд американского Красного Креста, просто приказал пустить нас по левому пути. Не случись этого, мы бы вероятно также «замерзли», как замерзли десятки эшелонов на великом сибирском пути. С этого момента мы ехали свободно. И в первых числах декабря прибыли в Иркутск.

Стояла суровая сибирская зима, когда мы выгружались из вагона было около 40°. Воздух тих и неподвижен. Ангара, пенясь и искрясь, несла свои кристально прозрачные воды. Над водой стоял пар, словно прозрачный туман окутывал реку. Бабы-сибирячки в коротких бараньих полушубках, в валенках до колен, с подоткнутыми юбками, из-под которых виднелись голые колени, полоскали у разводного деревянного моста белье. Разлетающиеся брызги тут же замерзали в воздухе и словно бриллиантовая пыль падали назад в быстробегущую воду. Иркутск очень изменился за это время — появилось много новых людей. В гостинице «Россия» жил минфин И. А. Михайлов. По городу ходили самые разнообразные слухи, никто не знал, что делается на фронте, где находится правительство. Ни о какой записи добровольцев не было и речи. Яковлев не сомневался в провале белого движения. Ген. Артемьев и его нач. штаба ген. Вагин все ждали «более точных сообщений». А через несколько дней разразилось восстание рабочих. Продолжалось оно всего лишь один день. Энергичный ген. Сычев лично командовал юнкерами. Все же было несколько человек убитых и десятков раненых. Я помню особенно тягостное впечатление произвел на меня

раненый юнкер. Много пришлось мне видеть убитых, искалеченных, тяжело раненых, но вид этого юноши, почти мальчика 17-18 лет, был особенно тягостен. Он лежал в лазарете, куда его только что перенесли с раздробленным тазом, он был в сознании, тяжело захлебываясь, дышал, он умирал. За что погибла эта молодая жизнь?.. У Зуева, на той стороне Ангары, было всего 24 добровольца, т. е. взвод — больше не записывалось. Посылать их было некуда и они жили в казарме на полном довольствии.

Как-то за мной прислал полк. Аксаков — он хотел меня видеть. Когда я пришел, он сообщил мне, что в 12 ч. ночи должна состояться казнь пяти преступников, он, как комендант обязан присутствовать, но т. к. чувствует себя плохо, очень просил заменить его. Я согласился. Иркутская тюрьма, большое трехэтажное здание, помещалось на окраине, другая тюрьма, Александровская, для пересыльных, была за городом по другую сторону. К 11 1/2 ч. я был у тюрьмы. К этому часу приехал прокурор, врач и батюшка. Сторож нам открыл большую калитку в железных воротах и мы вошли. Направо была дверь, ведущая в контору тюрьмы. Начальник тюрьмы представил список осужденных прокурору. Малиновский, приговоренный к повешению за убийство на дороге целой семьи — родителей и троих детей, которых он зарезал, — с целью грабежа. Армянин, который поздно вечером забрался к какой-то одинокой старушке и ограбил ее, взяв несколько десятков рублей, при этом у него в кармане был большой перочинный нож — суд признал это вооруженным грабежом. Затем молодой деревенский парень 20 лет, мобилизованный в белую армию, перебежал к красным, но тут же попал в плен. Потом беглый каторжник и, наконец, мелкий чиновник петроградского государственного банка, коммунист, перешедший линию фронта в числе других коммунистов для пропаганды в тылу белых армий. Когда его взяли в плен, при нем нашли дневник — школьную тетрадь, в клеенчатом переплете. Дневник был за 1917-1919 г.г. Прокурор хотел его уничтожить, но я его попросил себе. Я его прочел. Интересного в нем ничего не было. Писал малограмотный человек. Так пишут старшие писаря. День за днем он описывает ход революции. Его приводит в восторг толпа, поющая интернационал, ораторы, произносящие речи, он мечтает о том, чтобы коммунисты захватили власть, и что это «единственно справедливые люди», которые по-настоящему установят мир и благоденствие на земле! И все в этом роде.

Во главе с начальником тюрьмы и надзирателями мы вошли в коридор, где были камеры смертников. Надзиратель заглянул в волчек, потом, гремя ключами, открыл дверь. В камере полумрак, с нар поднимается высокий красивый человек с копной вьющихся черных волос на голове — это Малиновский. Батюшка делает шаг вперед — «Не надо», — говорит Малиновский и грубо ругается. Следующий армянин. Он нервно ходит по камере. Когда дверь открыли, к нему вошел батюшка и прикрыл дверь. Армянин начал что-то шептать. Потом батюшка пошел к парню. Он плачет: «Дяденька, помилуйте! Я же не виноват! Ну за что меня казнят?» — Батюшка обнимает его левой рукой и шепотом что-то говорит. Мы отходим. Тягостное впечатление. Хочется жить этому парню. В чем его вина на самом деле? Какое преступление он совершил? Белые, красные, гражданская война, что он понимал во всем этом? Пришли одни — захватили, потом другие, перебежал к другим, потом опять захватили — теперь смерть! А в 20 лет так хочется жить! Каторжник вышел развязно с наглым видом, батюшку отстранил рукой: «Обо мне не беспокойтесь, обойдусь и без вас!» — сказал. Наконец, открыли камеру коммуниста. Он сидел и что-то писал. Это был тонкий носовой платок, исписанный химическим карандашом. Прокурор взял платок, взглянул на него и протянул мне. «Хотите?» — я взял. Этот платок смертника я хранил до Харбина, откуда вместе с другими бумагами, дневниками и документами, отправил в Прагу в «Р.З.А». На платке этот человек описывал свои ощущения перед смертью. Начал он запись за два часа до казни, отмечая каждые полчаса, а затем за минуту до нашего прихода. Он писал, что в жизни ему терять нечего, что смерти не боится, что ничего хорошего он за свою жизнь не видел, всегда нуждался и мечтал о революции. От исповеди он отказался. Все пятеро выстроились в ряд впереди караула. Затем тронулись во двор тюрьмы. Там был деревянный навес с покатой крышей. Была глубокая, тихая морозная ночь. Под навесом стояли пять боченков и над каждым из них висела петля от веревки, перекинутой через балку. Стоял китаец-палач, горели две свечи в медных подсвечниках. Черные тени ложились от двух боченков, и тени веревок точно змеи тянулись по земле, извиваясь. Караул построился. Мы стояли на правом фланге, прокурор, нач. тюрьмы, доктор и я. Батюшки не было — он свой долг выполнил. Прокурор вынул из портфеля белую бумагу и при гробовой тишине прочел приговор. Приговор был пред-

ставлен ком. войсками, который его утвердил. Мерцали свечи. Китаец стоял с каменным лицом, осужденные — каждый у боченка. У солдат караула мелкой дрожью дрожали винтовки, которые были у ноги. Когда приговор был прочитан, палач стал подсаживать осужденных на боченки. Парень все время валился и восклицал: «дяденьки, помилуйте! не виноват я!» Малиновский, каторжник и коммунист влезли сами. Армянин попросил закурить. Прокурор разрешил. Сильно, нервно затянувшись, он сказал с характерным армянским акцентом: «И за что вешают? Какое преступление сделал? Какой вооруженный грабеж? Один перочинный ножик был? Да и тот в кармане!» — Прежде чем надеть петли на шею, китаец их приспустил и начал натирать мылом, кусочек которого у него был между ладонями. Затем он надел петли на шею, а веревки подтянул, замотав концы за крючки, вбитые в столбы. — «Мы все равно победим!» — сказал коммунист. Прокурор махнул рукой. Китаец, согнувшись, быстрым движением стал выбивать из-под ног боченки. Как-то вдруг нелепо и странно люди закачались в воздухе и тут же раздался резкий сухой треск и Малиновский оказался сидящим на земле. Руками он опирался о землю: «Вешать не умеете!» — и он матерно выругался. Китаец начал закидывать другую веревку. Малиновский сам залез на боченок, сам надел петлю, китаец также быстро выбил боченок. Резкий толчек и Малиновский опять на земле с петлей на шее. Оборванный конец веревки болтался под потолком. Он начал ругаться еще больше. У солдат караула винтовки дрожали мелкой дрожью. «Вот это я понимаю! — сказал прокурор, — в жизни не видел ничего подобного!» Только на третий раз огромная фигура Малиновского закачалась на веревке. Было во всем этом что-то отвратительное и страшное. «Ну что с ним делать? — думал я, глядя на это страшное существо в образе человека. — Вырезал семью, резал маленьких детей, в последние минуты жизни полон злобы и ненависти... горилла...» Доктор заявил, что надо ждать 20 минут т. к. очень часто у повешенных еще бьется пульс в течение этого времени. Он стал подходить к повешенным и щупать пульс. Армянин и коммунист уже скончались, у остальных сердце еще билось. Караулу скомандовали «вольно». Мы закурили. Вправо у стены стояли пять простых гробов из теса. В них положат трупы. Одежда и башмаки казненных пошли в пользу китайца. Когда большевики заняли Иркутск, они этого китайца тоже повесили под этим же самым навесом. Минут через 15 доктор

объявил, что все кончено. В третьем часу мы поехали по домам. Город спал. Было мертвенно тихо в морозном воздухе.

Через несколько дней я узнал, что на вокзале стоит поезд ген. Дитерихса. Поехал к нему в надежде узнать, что делается на фронте, где Колчак и правительство. С Дитерихсом я был знаком еще с фронта великой войны. Поезд Дитерихса состоял из нескольких вагонов, который предоставили ему чехи. Сам он занимал пульмановский вагон I класса с салоном, в остальных вагонах II кл. помещался приют для девочек-сирот, которым ведала его жена. Когда я поднялся на площадку вагона, вышел адъютант, молодой штабс-капитан. Я назвал себя, он доложил, и Дитерихс тотчас же меня принял. Войдя в салон, я увидел прямо перед собой большой письменный стол, за которым сидел сухопарый, невысокий ген. Дитерихс. Его лицо, серебряные генеральские погоны, защитный китель, отчетливо выступали на фоне большого черного полотна на стене за ним, с белым крестом. По бокам — слева и справа на столе стояли массивные, белого металла, шандалы со свечами — по три в каждом. В салоне был полумрак, поэтому белый крест на черном фоне, фигура самого Дитерихса, торжественно восседавшего за столом, все это резко, с какой-то мистической таинственностью, выделялось в полумраке салона. Дитерихс предложил мне сесть против него. Спросил, как успешно идет формирование дружин, и не дав мне сказать несколько слов, начал сейчас же сам говорить о спасении России. По его словам Россию спасет Михаил... «С крестом в руках Михаил встанет во главе воинства, которое войдет в Кремль!» — говорил Дитерихс. А так как сам он был Михаил, то совершенно ясно кого он подразумевал. «Этому есть множество свидетельств, видений и предсказаний, — продолжал он, — сам я пока буду, вероятно, в Верхнеудинске, возможно оттуда удастся начать партизанское движение. Дело Колчака конечно, он ничего не сумел толком сделать!» — Я спросил Дитерихса где адмирал и министры. — «Точно не знаю, во всяком случае, вероятно, уже не в Омске. Где-то на пути к Иркутску. Министры, кажется, разбежались, выписали себе жалование за год вперед по 15 тысяч иен и, вероятно, теперь на пути в Маньчжурию. С Колчаком остался один Пепеляев и, кажется, Мартыянов, ну конечно и Тимирева». — Все время Дитерихс очень неодобрительно отзывался и о Колчаке, и о его министрах. Когда я встал, Дитерихс протянул мне руку со словами: «Придется скоро уходить, если захотите, у меня всегда вам

найдется работа. Мы завтра утром трогаемся». Со странным чувством оставлял я Дитерихса.

Так в полной тревожной неизвестности проходил декабрь. Дела у меня почти никакого не было. Несколько раз был у Зуева, вел хозяйственные расчеты, навещал Артемьева. Действовал на нервы Демиденко, мой помощник. Революцию он считал «жидовским делом», русский народ «быдлом». Всю затею «с крестом» находил бессмыслицей. «Этому хамью надо палку, а не крест», — говорил он. А 24 и 25 декабря, в окрестностях Иркутска и у Александровской тюрьмы неизвестный штабс-капитан Калашников поднял восстание. Железнодорожный вокзал и предместье Глазгово были захвачены повстанцами. В тылу образовался социалистический центр, который был за мир с большевиками и прекращение гражданской войны. За несколько дней до этого Семенов прислал батальон забайкальцев, состоящий из бурят. С его приходом казалось, что Иркутск во всяком случае удастся отстоять. Но вышло не так. Ген. Жанен от имени союзников заявил, что повстанцы не большевики и что союзное командование будет нейтральным во время переговоров повстанцев с сибирским правительством, объявив линию ж. дороги также нейтральной под охраной чехов, что значило, что правительство не могло пользоваться линией ж. д., а повстанцы могли. Все, в сущности, было передано в руки чехов. Ген. Сычев, совместно с семеновским батальоном, намеревался выступить против повстанцев, но Жанен заявил, что он этого не допустит и что чехи выступят против правительственных войск! Мы сразу же оказались в осажденном городе. Затрещали пулеметы и винтовочные выстрелы.

Вокзал заняли чехи. Пришел кап. Зуев и сообщил, что все добровольцы сдали винтовки и разошлись по домам. Я прикомандировал Зуева к управлению, сказав, что он свободен уйти когда захочет. Был у Артемьева — он ничего не знал и сказал «что надо ждать, что будет дальше». Потом отправился к Яковлеву — он просто вполне откровенно заявил, что надо уходить и что он думает переправиться на ту сторону и устроиться в каком-нибудь чешском эшелоне. Яковлев благополучно доехал до Харбина. И вот бывают же у некоторых людей поступки необъяснимые, совершенно непонятные. Яковлев несомненно умный и культурный человек, в первые же месяцы в Харбине, решил ехать в СССР. Тогда только что была основана Дальневосточная республика «ДВР» — «буферная республика»... Он, при встречах, уго-

варивал и меня: «эмиграция обречена на вымирание, говорил он, возрождение начнется там, где русский народ!» Я возражал: «Дело не в эмиграции, допустим, даже, что вы правы, но это не значит, что мы должны идти на службу к большевикам. Когда начнется возрождение, мы не знаем, а пока что режим насилия, лжи и полного отсутствия свободы...» Разговоры иной раз были долгие. Ничто не могло убедить Яковлева. Он поехал — и вскоре был расстрелян. Удивительно! Старый с. р. он не знал, с кем имеет дело?

Горчаков, Миролюбов решили тоже уходить, считая положение безнадежным, даже несмотря на то, что образовался новый политический центр под председательством Червен-Водали. А вечером 28-го декабря к нам зашел Петр Карлович Гран и, не переступая порога, сказал жене: «Надо уходить». Меня в это время не было дома. Со стороны Грана было, конечно, очень благородно зайти и нас предупредить. Однако, мое положение было крайне трудным: с одной стороны было ясно, что оставаться нельзя, с другой — мне казалось, что я должен получить какие-то распоряжения от Голицына, узнать где он, как распорядиться с имуществом и т. д. Как бы то ни было, я так и не знал, на что решиться и, как говорится, спрятал голову под крыло, как страус, и решил ждать. Между тем, многие уже уехали — Михайлов, Гран и др. Морозы стояли около 40°, но было так тихо, что не только я, но и старик Артемьев разгуливали по городу в кителе и фуражке, без всяких фуфаяк и теплого белья. Особенно хороши были вечера — белый девственный снег искрился словно голубоватые бриллианты при лунном свете.

5-го января вдруг неожиданно пришел вечером подполковник Буров. Это был доблестный офицер, георгиевский кавалер. Он был немногословен: «Надо уходить немедленно. Все уходят. Берите винтовку и идем в училище, которое через несколько часов выступает. Пойдем по дороге вдоль Ангары к Байкалу. Против станции Михалево нам вероятно удастся переправиться на ту сторону. Я сейчас иду домой — вот мой адрес. Я соберусь, а вы через полчаса приходите и мы отправимся — итак жду!» Буров ушел. Я надел бараний полушубок, который был со мной с первых дней войны, 750 патронов к нему, положил в карман 5 тыс. сибирских денег и засунул за пазуху футляр с двумя бритвами «Мортон» — с рукоятками из слоновой кости. Этими бритвами брились мой дед и отец. Простился я с женой, няней и детьми — утром они должны были переехать на ту сторону и сесть в какой-нибудь эшелон,

идуший на Восток. Вокзал находился в руках чехов, были там и японцы. Поднялся наверх к Демиденко. Сдал ему денежный ящик, имущество и канцелярию, получив от него расписку. Уходить он отказался, сказав: «красных бояться нечего!»

...Вышел на улицу. Высоко в небе стояла опаловая луна. Лежал глубокий снег по обочинам дороги. Пошел искать Бурова. Странное дело — номера дома, который он мне дал, я никак не мог отыскать. Город словно вымер, искрился морозной пылью воздух и только вддали, в стороне где-то щелкали выстрелы. Бывает вот так в жизни: «ну что ж, не нашел и не нашел, пойду домой и лягу спать, а там видно будет», подумал я, и даже почувствовал какое-то облегчение. Однако решил все же зайти к Артемьеву. Каково же было мое удивление, когда я увидел большое здание ген. губернаторского дворца, погруженным в полную темноту. Всюду были настежь открытые двери. Я направился к коменданту — там была та же картина, а рядом гауптвахта, где обычно сидели арестованные, была вся освещена, но все камеры были пусты и двери настежь. Итак все ушли! И я пошел домой. Вхожу и вижу жена, няня и сидит Буров: «Я вас ждал, ждал и решил сам зайти — сказал он. — Готовы? Ну идемте!» Еще раз простился с женой и детьми.

Вышли на улицу с винтовками за плечами и зашагали к училищу, которое было километрах в 2-х от города. Шли молча в ногу, под валенками поскрипывал сухой, искрящийся снег. Когда мы подошли к училищу, весь плац был словно огромная рыночная площадь. Масса груженных саней, обоз семеновского батальона, между возами ходили с раскосыми глазами, в мохнатых папахах, скуластые забайкальцы. Юнкера седлали лошадей, какие-то сестры милосердия сидели в розвальнях. Мы с Буровым вошли в училище. Там уже заканчивались последние сборы. В большой столовой еще кто-то ужинал. Сел за стол и Буров. Я есть не хотел и пошел к телефону. Как иногда в такие минуты запоминаются мелочи! Врезалось в память, как Буров нес из кухни тарелку с 2 котлетами и картофелем! В телефоне говорили тысячи голосов. Говорил Калашников, говорил кто-то от революционного центра, говорил ген. Потапов, который перешел к повстанцам и принял на себя должность коменданта. Сквозь этот гам голосов услышал голос жены. Сказал, что дошли благополучно и сейчас выступаем. Первыми вышли — сотня юнкеров, затем батальон, а за ними вытянулся обоз. Буров и я шли в хвосте батальона и впереди обоза. Дорога была укатана, под по-

лозьями скрипел снег. Шуршали, сталкивались, ломались льдины. Было 5-е января, а Ангара еще не встала. Около 2-х часов ночи мы проходили около большой сопки, которая круто спускалась к дороге. Вдруг сверху, с горы, застрочил пулемет. Послышались резкие звенящие голоса: «Батальон в цепь ложись!» И мы все залегли в снегу. Защелкали затворы винтовок. Обоз сгрудился к нам. Буров лежал рядом со мной. «Это партизаны Карандашвили тут орудуют», — сказал он. «Мы их отобьем, если только забайкальцы не перейдут на их сторону!» Но забайкальцы крепко лежали и по команде дружно открыли огонь. Стали стрелять и мы с Бутовым. Это первый раз в жизни, что я лежал в пехотной цепи. Резко, словно хлопущи, щелкали в морозном воздухе выстрелы. Стреляли мы вверх, в гору, но в кого я до сих пор не знаю? Пулеметы Карандашвили строчили над нашими головами и никого у нас даже не задело. Не знаю, были ли потери у Карандашвили, но минут через 30 пули перестали свистеть, наступила тишина, а с ней и команда «встать, построиться!» И мы тронулись дальше. Говорили, что Карандашвили был с небольшим отрядом — он бродил где-то в сопках, когда увидел наш отряд. Юнкеров он пропустил, а нас принял за обоз, который решил захватить, но тут неожиданно оказался батальон и он, постреляв, ушел.

Рассвет едва брезжил, когда мы подошли к большой избе, стоящей на самом берегу Ангары, как раз против станции Михалево. Открыли дверь и сразу ничего не могли увидеть, такой нас окутал, словно облако, пар. Все большое помещение освещенное ярким светом лампы, было забито людьми. В глубине, у стены, тесно прижавшись друг к другу, сидели ген. Артемьев, ген. Сычев, адм. Смирнов, Аксаков, адъютанты, какие-то офицеры. Те, кому не было места на лавках, сидели прямо на полу. Тесно было так, что мы с Бутовым войти не могли и, постояв с минуту, повернули назад. Занимался рассвет. Ждали с той стороны парохода. Там стоял поезд семевского ген. Скипетрова. Все дело было в этом пароходе — иначе, если бы он не пришел, мы все оказались в ловушке, но вот наконец, раздвигая с шумом быстро плывущие льдины, гулко шлепая колесами, показался пароход. На мостике, в тулупе, с ушанкой на голове, стоял капитан. Пароход шел боком, борясь с течением, медленно приближаясь к нам. Наконец он пристал. Закинули тросы. Пароход ошвартовался. В первую очередь начали грузить батальон, а за ним юнкеров. Мы все остальные должны были быть переправлены во

вторую очередь. Также боком, медленно, раздвигая несущиеся льдины, пароход отвалил на ту сторону. В десятом часу подошел он вторично и началась погрузка генералитета и нас. Адмирал Смирнов, — морской министр, имел с собой два больших чемодана, набитых до отказа деньгами омского правительства. Это мы увидели, когда по шаткому трапу поднимался морской министр: у него случайно открылся один из чемоданов, и он, присев, стал быстро уминать пачки денег, закрывая чемодан. Впрочем чемоданы с деньгами вывез не один Смирнов. Всю казну уральского войска вывез ген. Хорошкин. Уполномоченный Красного Креста Киндяков также забрал все деньги, ассигнованные на Красный Крест, как и уполномоченный союза городов Жданов.

Трудно описать чувство радости, когда, переступив борт парохода, я спустился по трапу в трюм, где уже находились генералы, адъютанты, какие-то офицеры, которых я видел впервые, сестры милосердия, которые были с обозом. Чувство блаженного покоя и смертельной усталости охватило все существо. Зашлепали колеса, зашуршали, стучаясь о борт, льдины и мы поплыли на ту сторону, приближаясь к ст. Михалево. Тут стоял великолепный поезд ген. Скипетрова. Лишь только мы сошли на берег, как появился адъютант Скипетрова и, увидя ген. Артемьева, сообщил ему, что все немедленно должны явиться к ген. Скипетрову. Около вагона I класса ходили с винтовками за плечами забайкальские казаки. Начали втягиваться за ген. Артемьевым в вагон I кл. Теплый коридор, устланный теплой дорожкой, купе, дальше открытые двери в салон. Стали в затылок. Впереди генералы, я стоял четвертым, хвост был еще наружи у ступенек. Бурова потерял — еще раз увидеться, в последний раз, пришлось только в Харбине. Первым пошел «являться» Артемьев, за ним Сычев, Аксаков и я. Пока Артемьев «представлялся» я заглянул в открытое купе налево, рядом с салоном. Там сидела на диване, поджав под себя ноги, молодая, довольно интересная женщина. Она была в защитном френче, таких же галифе и желтых сапожках. Все было новенькое и элегантное. Эта дама небрежным движением правой руки полировала ногти на левой, поглядывая на нас. Как говорили это была жена ген. Скипетрова. Артемьев вышел и, ни слова не говоря, направился к выходу. Вошел Сычев, за ним следовал Аксаков. Я несколько продвинулся вперед и, заглядывая через плечо Аксакова, увидел влево большой стол накрытый белой скатертью, на котором стояли бутылки с вином, графин с

водкой, окорока ветчины, телятины, икра, масса закусок. За столом сидел плотный, среднего роста шатен в золотых генеральских погонах — ген. Скипетров, а напротив него ген. Сычев. Перед ним стояла налитая рюмка водки. Я тут только вспомнил, что сегодня было 6-е января — сочельник и поэтому, очевидно, случаю и был накрыт столь великолепный стол. Лишь только Сычев вышел, я его спросил шепотом: — в чем дело? Сычев мне ответил: «приказано всем записаться в отряд Скипетрова, канцелярия в станционном помещении, там надо зарегистрироваться». Сычев прошел, вошел Аксаков. Я почувствовал, что надо во что бы то ни стало уходить. Служить у Семенова я не собирался ни одной минуты.

Осторожно, сделав шаг назад, я пошел к выходу. Лишь только спустился, ко мне стали обращаться все с тем же вопросом: «ну что?». Я прошел вдоль вагонов, подальше от станции, все боясь как бы меня не вернули. И вот, смотрю, мне навстречу идет инж. Ковалевский. «Здравствуйте! Только что пришли? С генералами? Ну слава Богу, а я, знаете, назначен управляющим забайкальской ж. д. у ат. Семенова. Вот мой вагон. Удалось достать банку спирта. Идемте ко мне, выпьем и закусим как раз адмиральский час», — говорил Ковалевский, шагая рядом со мной. Мы вошли в очень хороший вагон II кл. с салоном. Ковалевский сейчас же принялся расставлять тарелки, рюмки, открывать консервы. Сняв с себя полушубок, я обнаружил, что мои дедовские бритвы исчезли — очевидно, они выпали, когда я лежал в цепи. Деньги 5 тысяч, которые я захватил с собой, по счастью, лежали в боковом кармане. Ковалевский рассказал, что пропустил уже несколько поездов с беженцами. Проехала семья проф. Болдырева — жена с сыном и няней. Сам Болдырев остался в Иркутске дожидаться адм. Колчака. Дождаться адмирала ему так и не пришлось — он заболел тифом и умер, когда Иркутск уже заняли большевики.

Чувство истинного блаженства охватило все мое существо, когда я выпил первую рюмку водки. Разговор с Ковалевским вертелся около событий последнего времени: — что будет дальше? Оставалась только Чита под охраной японцев. Где Колчак? Удастся ли ему проехать на Д. Восток? Какковы намерения союзников и чехов и т. д. А затем Ковалевский предложил мне растянуться на диване и «хорошенько отдохнуть». «Я пойду посмотреть путь и встречать поезда», — сказал он и вышел. Я с наслаждением растянулся на диване. Но вот, что значат нервы: казалось бы в другое время

я заснул как убитый после всего пережитого, а тут я пролежал часа полтора в каком-то забытьи и меня словно что-то встряхнуло: «Ведь я не являлся!» — пронеслось у меня. — «Меня непременно обнаружат! С семеновскими генералами шутки плохи! Этот Скипетров, чего доброго, сочтет меня за дезертира? Надо во что бы то ни стало уходить!» Я быстро поднялся, надел свой тулупчик, взял карабин и вышел. Было уже темно, около шести часов, у здания станции маячили какие-то люди. Я стоял в раздумьи. Вдруг услышал грохот приближающегося поезда. Ярко освещенный поезд из пяти вагонов пронесся мимо станции и скипетровского эшелона и, скрежеща тормозами, остановился впереди. Я бросился к вагонам. Оказывается, это был поезд высокого комиссара Англии Эллиота. Поезд состоял из багажного вагона, вагона I класса, двух вагонов II кл. и вагона электрической станции. Зовуще ярко светились окна вагонов. Я вскочил в вагон II кл. В коридоре масса чемоданов, тюков, свертков... «Русские!» — мелькнуло у меня в голове. В это время из одного купе выглянула женщина. Это была генеральша Матковская. Я обрадовался: — «Разрешите мне здесь пристроиться!» — сказал я, назвав себя. — «Ни в коем случае! нет места!» «Я буду стоять в коридоре, ей Богу, я никому не помешаю!» — «Я говорю вам, нет места и пожалуйста оставьте наш вагон!» Убеждать и просить было бессмысленно. Меня охватило чувство глухой злобы. Побежал к другому вагону. Там попросту не пустили: «Места нет!» — кричал чей-то женский голос. Я бросился в вагон самого Эллиота. Вошел в ярко освещенный коридор прекрасного пульмановского вагона. Там меня встретил переводчик, русский прапорщик. — «Что вам угодно?» — спросил он с несколько надменным видом. Услыхав, что я хотел бы видеть Эллиота, он коротко бросил: — «Сер Эллиот у себя в купэ и никого не принимает», — с этими словами он повернулся ко мне спиной! На мое счастье дверь среднего купэ отодвинулась и показался в халате сам высокий комиссар Англии. «В чем дело?» — спросил Эллиот. Я быстро назвал себя и попросил разрешения сесть в его поезд. «Устраивайтесь, если найдете место, может быть в вагоне-станции как-нибудь проедете, но только я ничего не знаю о том, что вы едете в моем поезде», — сказал Эллиот. Прапорщик преобразился: он почтительно слушал и, когда я поблагодарив, поспешил к двери, бросился меня проводить! Оставались минуты; побежал в хвост поезда. Лишь только поднялся на площадку — меня встретил проводник: «Ну что

ж входите, тут уже есть один!» — сказал он и пропустил меня в ярко освещенный коридор. Вагон дрожал от стука моторов, было тепло и пахло смазочным маслом. «Вот сюда», — сказал проводник, отодвигая дверь первого купе. Купе было на двоих, с поднятой полкой, у окна был откинут столик. В потолке ярко горела лампочка, купе блистало чистотой, золотисто-желтым лакированным деревом. Сразу стало жарко. Начал снимать полушубок. В это время вошел молодой, среднего роста человек в защитной рубашке и галифэ. Он старательно вытирал руки о сальную ветошь. — «Капитан Воинов», — представился он. «Я тут еду в качестве помощника истопника, спасибо англичанам, удалось в Омске сесть. Мы не задерживаясь все поезда обгоняли. Поезд Верховного где-то за Красноярском оставили. Много эшелонов «замерзли», топить паровозы нечем. Располагайтесь пожалуйста, скоро закусить можно будет, ведь сегодня сочельник. Проводники славные ребята, а вот в тех вагонах наши сами устроились и никого пускать не хотят... сволочи, вот что!» — Я ему рассказал, что произошло со мной. «А я и не пытался, они никого не пускают, я прямо сюда, сказал, что буду помогать истопнику, ну они и взяли меня». Поезд тронулся. Подъезжали к Байкалу. Я вышел на площадку. Высоко в небе светила луна. Мороз обжигал лицо. Воздух был неподвижен. Глухим эхом, перекликаясь в горах, раздавались паровозные гудки. Поезд влетел в туннель. Это была кругобайкальская ж. д. Справа, прямо к небу, высились громады гор, слева, внизу блистала синевато-опаловым сиянием ледяная гладь Байкала. «Славное море, священный Байкал... Эй баргузин, пошевеливай вал, плыть молодцу недалечко!» — Какая величественная красота! Вот тут, в этих горах, водится лучший в мире соболь — «баргузинский», в Байкале замечательный омуль! Поезд с грохотом то врвался в туннели, погружаясь в черный мрак, то вылетал в яркий лунный свет. И эта грандиозная, величественная картина как-то не вязалась с революцией, с ужасами гражданской войны, со всем тем, что только что было пережито, всё это казалось далеко позади, словно страшный, дурной сон. Чувство безопасности, покоя омрачалось только мыслью о семье: удастся ли им выбраться? Когда я вошел в купе, Воинов на откинutom столике у окна сооружал елку. Оказывается, проводник ему принес ветку елки и несколько огарков. Он ухитрился ее воткнуть в пустую бутылку и наклеить свечки. Потом он достал колбасу и хлеб, и в это время появился армянин —

содержатель буфета высокого комиссара. Он предложил бутылку коньяку, которую я у него купил за 500 руб. Мы с Воиновым «пышно» встретили Рождество 1920 г. Угостили и наших благодетелей-проводников. А потом я растянулся на лавке, подложив под голову мягкий бараний полушубок и блаженно заснул как убитый под ритмический стук колес... Ранним утром, при ярком солнце, среди сверкающей бриллиантами снежной равнины, мы подошли к станции Верхнеудинск. Здесь стоял поезд ген. Дитерихса. Я тепло простился с Воиновым, которого никогда больше не видел. Хотел дать денег проводнику, но он решительно отказался и я вышел на платформу. Гулким эхом раздался гудок паровоза, и поезд высокого комиссара Англии тронулся дальше.

Я направился к поезду Дитерихса. Из теплушки, в хвосте поезда, вышел невысокого роста блондин, в тулупе и фуражке инженера путей сообщения. — «Инженер Черторогов», — сказал он, протягивая мне руку. Он объяснил, что живет в теплушке при поезде, а ген. Дитерихс в городе, где снял дом для приюта и живет сам с адъютантами. Зашагал по широкой заснеженной улице к Дитерихсу. Кругом возвышались величественные горы, словно сахарные головы. По бокам улицы стояли крепко сбитые деревянные одноэтажные сибирские дома, на крышах которых лежал толстый слой девственно-белого снега. Оконца с резными наличниками напоминали сказочные картинки Билибина. В просторном доме меня встретили уже знакомые адъютанты. Они мне сказали, что сейчас идет служба в «домовой церкви», которую устроила жена генерала. Когда моление кончилось, Дитерихс принял меня у себя в кабинете, где я увидел приблизительно ту же обстановку, что и в вагоне в Иркутске. Я рассказал о своих приключениях, прибавив, что я хотел бы подождать семью, чтобы вместе ехать в Харбин. Он предложил мне жить у Черторогова, заметив, что намеревается отправить жену с приютом в Китай, а сам, смотря по обстоятельствам, начнет формировать партизанские отряды, продолжая борьбу в Забайкалье. Предложил и мне присоединиться к нему.

Я прожил больше недели в вагоне Черторогова. Уральский казак — Черторогов оказался славным парнем. Его теплушка была устроена под комнату. Была кровать, стол, стулья, шкаф, мне он раскинул гинтер, посередине стояла хорошая железная печка, на которой мы не раз варили пельмени. Наконец, как-то утром подошел поезд из вагонов IV класса и теплушек. Тут были вагоны китайской миссии,

вагон датского Красного Креста. Я обошел весь поезд. Он был полон беженцев из Омска и Иркутска. В одном из вагонов, к своей великой радости, я нашел жену, детей и няню. Поезд был под охраной японцев. Он стоял долго и я успел проститься с Дитерихсом и Чертороговым. Дитерихс, сжав мне руку, по обыкновению еще раз повторил, что ждет меня в свой будущий отряд. Всему этому не суждено было сбыться. Через 1 1/2 месяца поезд ген. Дитерихса стоял в Харбине.

Ехали мы очень хорошо. Погода стояла все такая же ровная: солнечная, тихая, с крепким морозом и чудесным сахарным снегом. Подолгу стояли на станциях. Выходили группами, катались на салазках с краснощекими сибирскими ребятами — здоровыми крепышами. Осматривали места, где жили декабристы.

Только два места вызвали беспокойство — Чита, резиденция ат. Семенова и Даурия, где царил барон Унгерн Штернберг. В поезде было много офицеров — все они сняли погоны и постарались иметь вид частных людей, но это, разумеется, не очень-то могло спасти. Однако, благодаря, вероятно, иностранным флагам, никакого контроля и осмотра поезда ни в Чите, ни в Даурии не было. Мы только в окна видели в Даурии в мохнатых папахах раскосых монгол с винтовками в руках, выстроившихся вдоль платформы. Разумеется, ни один человек из нашего поезда ни в Чите, ни в Даурии выходить не рисковал. Проф. Устрялов, Теренин и некоторые другие переживали в это время панический ужас. В Чите японская охрана нас оставила. Днем 1-го февраля мы переехали страшный разъезд 86-ой, где унгерновская стража снимала людей, которые часто исчезали, и поезд подошел к ст. Маньчжурия. Чувство глубочайшего облегчения охватило всех в нашем поезде. Первое, что особенно поразило — китайский базар. Лавки шли тут же прямо от вокзала. Фазаны, куропатки, тетерева — висели целыми гирляндами. В окнах стояли четверти водки, банки с кетовой икрой, коробки консервов, висели туши диких кабанов, коз, в лавках лежала битая домашняя птица. А 3-го февраля 1920 г. наш поезд прогрохотал через сунгарийский мост и уже окончательно остановился на станции Харбин — было 4 часа дня. На путях стояло много эшелонов с беженцами. Предстояла новая жизнь — в эмиграции.

И. С. Ильин

О ЛЮДЯХ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДПОЛЬЯ

В «Современном мире» в 1912 г. в № 3 и 4 появился очерк И. Коновалова под заглавием «Дневник агитатора». Вместе с другими статьями этого автора, изображающими в мрачном свете положение крестьянства, «Дневник» вошел в книгу И. Коновалова «Очерки современной деревни». С его портретом она напечатана после его смерти в 1913 г. товариществом писателей. Ленин прочитал все, что написал Коновалов. Он относился к нему по особому, выделяя из общего ранга. Желая почтить кого-нибудь из партийных товарищей бóльшим вниманием (что, впрочем, случалось с ним редко), он к фамилии его прикладывал имя и отчество. Так Федосеев, вовлекший его в марксизм, был для него не просто Федосеев, а всегда «Николай Евграфович». То же самое и в отношении к Коновалову. Он не просто И. Коновалов, а «покойный Иван Андреевич». В большой статье «Об аграрной программе» Ленин обильно цитирует книгу Коновалова, называет его «честным», «умным, беззаветно преданным своему делу наблюдателем». Он хотел прославить Коновалова с кафедры Государственной Думы, так как статья его была предназначена для произнесения в Г. Думе большевиком депутатом Шаговым 9 июня 1913 г.

Что мы знаем о Коновалове? Он уроженец саратовской губернии. Его отец маленький полицейский, все время испытывавший мучения, что из-за куска хлеба он должен нести службу, которая ему претит, его угнетает. При ничтожности заработка у него не было возможности дать сыну большое, как он того желал, образование. Тот смог окончить лишь четырехклассное городское училище, позволившее ему получить скромное место почтово-телеграфного служащего в г. Петровске. Здесь Ив. Коновалов знакомится с революционно настроенной молодежью и попадает в тюрьму. Он находится сначала в саратовской тюрьме, потом в самарской. Тюрьма, где происходит его знакомство с социал-демократами, делается для него революционным университетом. Он становится марксистом и обнаруживает незаурядные способности оратора, агит-

татора. Пафос, страсть его речей производят громадное впечатление на слушателей. После двухлетнего пребывания в тюрьме Коновалов получает свободу и немедленно переходит на нелегальное положение. В полном согласии с «Что делать» Ленина, он хочет быть профессиональным революционером, человеком подполья, отдающим всю свою энергию на то, чтобы «делать», разжигать, организовывать революцию. Начав революционную деятельность в городах Поволжья, Коновалов переезжает в Петербург и тут, осенью 1905 г., этот молодой человек (ему 22 года) выдвигается как яркая революционная фигура. Он ведет толпы народа освобождать заключенных из тюрьмы. Он во главе всяких уличных демонстраций. Он заседает в Совете Рабочих Депутатов. На одной из демонстраций полиция арестовывает «Николая» — такова его партийная кличка. Популярность его столь велика, что сам граф Витте (так утверждали), чтобы излишне не раздражать рабочих, приказал его немедленно освободить. В 1906 г. на собрании пропагандистов-большевиков Ленин знакомится с Коноваловым. Присутствующей на этом собрании Крупской (см. ее «Воспоминания») «ужасно не понравилась шаблонная постановка вопросов и манера говорить Николая». Но она должна признать, что он один из активнейших работников и «принадлежал к группе товарищей, которые стремились проникать во все слои беднейшего населения. Помню, он ходил в ночлежку вести агитацию». В партии в это время большие споры: выбирать или не выбирать в I Государственную Думу. Коновалов, яростный большевик-ленинец, стоит, конечно, за бойкот выборов. Весною 1906 г. Коновалов появляется в Москве и его агитационные выступления среди рабочих железных дорог и металлистов имеют огромный успех. У московских большевиков лучшим агитатором-оратором был тогда Станислав (Сokolov). Череванин, слышавший речи Коновалова, нашел, что «разжигать рабочую массу, особенно малосознательную, сырую, Коновалов может гораздо сильнее чем Станислав. Знания у него, видимо, немного, но из того, что знает, он с помощью последних статей и брошюр Ленина — делает бомбу».*

К меньшевикам Коновалов относился с большой неприязнью, в частности упрекал их в том, что они не чувствуют роли, которую должно сыграть крестьянство в победоносной

* Ни в одной статье Коновалова нет ссылки на Ленина. Как вообще нет ссылок на каких-либо «вождей» и направления в партии.

революции. В Москве Коновалов находился недолго, уехал в Казань, где был арестован и сослан в Сибирь, в Томскую губернию. Оттуда он скоро бежит и снова появляется в Петербурге. В 1907 г. принимает горячее участие в выборах во II Госуд. Думу и в выборах на пятый съезд партии в Лондоне. С разными поручениями, вероятно, от большевиков, он отправляется в Луганск и другие города Донецкого бассейна. Возвратившись в Петербург, присутствует на разных партийных конференциях, происходивших в Финляндии. В конце 1907 г. или начале 1908 — точно не знаю — он опять арестован и вместе с Томским, Бутурлиным привлечен по делу Петербургского Комитета. Весною 1909 г. он на свободе. С этого времени начинаются литературные выступления Коновалова.

Его статьи о деревне появляются в народническом журнале «Русское Богатство», в либеральном «Вестнике Европы», в меньшевистской «Нашей Заре» Потресова (очерк «Пролетаризация деревни» в 1910 г.). Чтобы ближе познакомиться с жизнью деревни Коновалов предпринимает поездки по России, появляется у себя на родине в Петровском уезде Саратовской губ., но когда, по поручению «Русского Богатства», приезжает в Тульскую губернию, полиция его оттуда высылает. Статьи он подписывает своим именем. Значит, он перестал быть как прежде нелегальным человеком, живущим под чужим паспортом. Как произошел этот переход из подполья в надполье — мне неизвестно. Я сказал, что появившиеся в печати статьи Коновалова о деревне крайне мрачны. К аграрным законам Столыпина он относился резко отрицательно. По его мнению — они могут только ухудшить крестьянскую жизнь. Положение малоземельных и безземельных крестьян он называет «безвыходным». Страданиям их может положить конец только «действительное решение вопроса», а из всего того, что, с оглядкой на цензуру, писал о деревне Коновалов видно, что такое решение, по его мнению, может дать только новая победоносная революция, продолжающая революцию 1905 года. Даже из сказанного должно быть ясно почему Ленин так хвалил «покойного Ивана Андреевича Коновалова» и брал из его статей объемистые цитаты. Большое внимание обратил на него и Горький, указавший в письме к Язвицкому в 1910 г. на статьи Коновалова как на образец описания нужд и жизни деревни.

В 1911 г. в майском номере меньшевистского «Голоса Социал-демократа», выходившего в Париже, напечатана следующая заметка: — «Первого мая в день рабочего праздника петербургские товарищи провожали в могилу Ивана Андреевича

Коновалова, известного многим под именем «большевика Николая». Пламенный агитатор, покойный товарищ за последние годы усердно занялся изучением пореволюционной деревни. Его очерки деревенской жизни обнаружили в нем талант недюжинного публициста. К сожалению этому таланту не суждено было развернуться и Иван Андреевич сам прервал свою многообещающую жизнь. Покойному было всего 28 лет».

Один из его близких товарищей в некрологе, помещенном 4 мая 1911 г. в «Саратовском Листке» называет самоубийство Коновалова актом «непостижимым». Он не знает, не видит никаких причин, которые могли бы толкнуть Коновалова покончить с собою. Необъясним, абсолютно непонятен этот акт и Брамму, другому близкому товарищу Коновалова. Все ищут объяснения этого ухода из жизни и никто его не находит. Что же случилось? Оставлю пока без ответа этот вопрос и обращусь к «Дневнику Агитатора». В журнал «Современный Мир» это произведение было доставлено после смерти Коновалова, но Кранихфельд — редактор журнала — не указал кто и при каких условиях ему его вручил. Меньшевистский литератор рабочий Кубиков в статье «Искусство и отношение к нему пролетариата» («Наша Заря», 1914 г. № 3) сделал о нем мимоходом следующее замечание: «наша мемуарная литература крайне бедна, но достаточно было покойному Коновалову в полубеллетристическом «Дневнике Агитатора» приоткрыть **завесу, скрывающую жизнь подполья**, как сразу перед этим волнуящим душу документом потускнели писания современных беллетристов».

Эта вещь, заслоненная, как и многие другие, вскоре пришедшей войной, не подверглась в печати анализу. Не помню было ли о ней, кроме приведенных слов Кубикова, что-либо и кем-либо сказано. Конечно, ненужно зря заявлять что «Дневник Агитатора» затмил писания современных беллетристов, но что он заслуживает не просто внимания, а очень большого внимания, это несомненно. Начинаясь записью 12 мая и кончаясь записью 18 августа, «Дневник» помечен 1907 г. Но в нем нет ничего прямо относящегося или прямо связанного с политическими событиями этого года. «Дневник» мог быть датирован и другим годом, так как показывает психологию, думы, взгляды, поведение группы подпольщиков не только в 1907 г., но их общее положение в годы взлета революции и ее падения. Он ведется от имени какого-то «товарища Виктора», но так как в своей основе носит бесспорно автобиографический характер, мы имеем право вместо «товарища Виктора»

поставить просто Коновалов. В «Дневнике» 70 печатных страниц, и, отстраняя все побочное, можно самое в нем существенное вкратце представить в следующем виде.

Коновалов начинает дневник жалобой на охватывающую его усталость. «Нервы мои начинают пошаливать. Каждое утро встаю с больной головой. Ночью я обычно переживаю то, что было днем, говорю на митингах, сходках, участвую во всевозможных совещаниях. Настроение тоскливое. Отчего скверное настроение? Ведь мы официальные пропагандисты жизнерадостности и вдруг беспричинная душевная боль».

13 мая он пишет: «все мы (в подпольи) больны и нервны. Да и не удивительно, если принять во внимание что такой жизнью мы живем четвертый год». Если бы была замена — мы, может быть, могли бы отдохнуть. «Говорю может-быть потому что уверен, что многие из нас не смогут отдохнуть по той простой причине, что **без революции, без постоянной жгучей атмосферы**, мы не сумеем жить.» Революция затихла и «мы самые чуткие барометры политической атмосферы, лучше других понимаем, что грозы и бури в скором времени не предвидятся. Мы нервничаем и хандрим от невозможности действовать так, как мы бы хотели». Что нам теперь делать?, спрашивает Коновалов и отвечает: «**надо стараться сгустить тучи**». Тучи принесут нужную нам революционную грозу. «Для нас чем быстрее, чем отчаяннее ход — тем лучше наша жизнь».

Коновалов сообщает о весьма интересном разговоре с «товарищем Герасимом». У того, как у Коновалова, тоже тоскливое чувство. — «Силы тратятся, нервы натягиваются, а в результате пустота. Есть ли в этом известный смысл? Только для нас. Нам нужно что-нибудь делать, **иначе мы останемся не у дел. Без революции мы как рыба без воды**. Наша теперешняя деятельность есть не что иное как борьба за существование. Вот взять хотя бы меня. Я конторщик по своей профессии и агитатор. О первом я забываю, а последним живу. Без последнего не представляю себе жизни хотя бы на полгода. А теперь сознание все больше мне подсказывает, что скоро я останусь только конторщиком, а агитатором в потенции. А это равносильно смерти».

За сим следует удивительное заявление: «и вот я голосую за резолюцию, в которой говорится о необходимости широкой агитации». Что это значит? Думает ли товарищ Герасим, что в период затишья партия, приняв резолюцию о «широкой агитации», всколыхнет усиленной агитацией рабочие массы, вызовет этим какой-то взлет революции, революционного настро-

ения и тогда все Герасимы будут чувствовать себя «у дел», как рыба в нужной им воде? Но может-быть он думает о другом: специальность Герасима есть агитаторство, произношение особого рода зажигательных речей. Он например, «гипнотизировал» своих слушателей, когда говорил «каким-то надтреснутым, рыдающим голосом». Если партия выносит резолюцию, требующую вести широкую агитацию, спрос на агитаторов, в том числе и на Герасима, повышается и тем самым приносит ему большое удовлетворение. Тогда он делает то дело, в котором видит смысл своей жизни.

После разговора с Герасимом, Коновалов заносит в свой дневник мысль, с которой он **«никак не может освоиться»**. До сих пор он не интересовался тем, что делают его товарищи вне партийной работы. Он лишь хорошо знал — кто и за какую резолюцию голосовал. Они были для него членами районных или заводских комитетов, пропагандистами, агитаторами, всякого рода организаторами, в том числе нужной партии техники. И вот теперь с величайшим удивлением узнает, что **вне подполья Герасим только конторщик**, простой счетовод занимающий скромную должность. Это не вяжется с тем, что делает Герасим как член революционной партии. Ведь это он, «блестящий» оратор, произносит столь действующие на чувство рабочей массы пламенные речи. На митингах и сходках его встречают и провожают «громом аплодисментов». О нем говорит «даже буржуазная печать». И такой человек вне партии «только конторщик»? «Никак не могу себе представить его за работой в конторе». Деятельное участие Герасима в революции возвышает его, придает ему значение, большой рост, но если революция надолго или совсем потухнет, что делается с Герасимом? Невозможно допустить чтобы он остался только каким-то счетоводом, конторщиком. Коновалов думает и о другом деятеле подполья — товарище Ниле. Он слышал что он приказчик, небольшой торговый служащий. В капиталистическом обществе, конечно, нужно кому-то «отмеривать ситцы, взвешивать колбасу», но «почему это должен делать агитатор пролетарской партии?» Это мелкое, житейское, прозаическое дело не для него. Он выше этого. Не колбасу он должен «взвешивать», а только служить революции, отдавая ей все свои силы и время.

От мысли о своих товарищах Коновалов переходит к волнующим его мыслям о самом себе. Все настойчивее выясняется, что «революция временно прекращается, наступает период затишья. Но если так, что же буду делать я революцио-

нер-профессионал?». « Я уже шесть лет не знаю никакой профессии кроме революции». Я был почтово-телеграфным служащим, неужели придется к этому возвращаться, « снова стучать ключем?» Впрочем на почте служить не придется, « меня не примут, я ведь нелегальный, неблагонадежный». Чтобы жить, когда отхлынет совсем революция, придется **«заткнуть собою какую-нибудь дыру в жизни»**. Какая это будет дыра? «чтонибудь в виде писца!» Но он не может забыть свои революционные подвиги осенью 1905 г. в Петербурге. Он считает для себя более чем унижительным, что после этого взлета на верх станет мелюзгой, только каким-то мелким писцом. «Затыкать собою какую-то дыру в жизни» — ни Коновалов, ни Герасим, ни Нил не желают. И Герасим, в полном согласии со своими взглядами, делает вывод: пулей в грудь кончает свою жизнь. В оставленной им записке лишь несколько слов: «революционная волна, которая давала цель моей жизни, умерла. Вместе с нею умираю и я. Ждать другой нет сил».

«У меня не хватило сил, пишет Коновалов, пойти к гробу Герасима. К тому же телом Герасима завладела полиция и мы не знаем где он схоронен и куда дать купленный нами венок. Неправильно то, что он написал. Если обобщить его мысль, то ведь всем нам придется отправиться на тот свет. Ошибочно, что только эта революционная волна давала цель и смысл его жизни. Это очень узко. До цели может-быть будет десятки волн. Борьба, каковы-бы не были ее результаты, должна жить, закалять, а поражение должно лишь вливать энергию».

Герасим застрелился, но это в подпольи прошло почти незаметно. Все силы заняты охраной, сохранением от полицейских набегов организации, а она лишается не только Герасима и расстрелянного Павла, захваченного в перестрелке с оружием в руках, но и агитатора Нила. Нил ходит с ума. Он фигура более сложная чем другие партийцы-подпольщики. В отличие от них он много читает. У него в комнате этажерка завалена книгами новейшей русской и иностранной литературы.

«Неужели, спрашивает Коновалов, ты читаешь все это? Какой смысл тратить время на чтение этой декаденщины? У нас дорог каждый час. Тратить его теперь полупроизводителю мы не имеем права: это преступление. Я не отрицаю важности знакомства с искусством, но раз идет это во вред моей революционной деятельности, я говорю, что надо ждать, ждать и быть невеждой».

«А читать все брошюры, которыми завален книжный рынок ты находишь время?»

«Поскольку это необходимо для моей деятельности».

Как бы ни отличался Нил от других партийцев — у него в сущности та же, что у них всех, боязнь; остаться с отличием революции не у дел и свою «ценность» потерять. В припадке безумия, он держит бредовые речи, крича, что революция не гаснет, а снова разворачивается. «Вы просите революции, а я уже слышу ее громовое приближение.. Я вижу богатырские схватки смелых и гордых. Разве вы не улавливаете приближающегося гула?» Молчание товарищей, видящих явное безумие Нила, приводит его в ярость. «Говорите, иначе я перестану вас уважать. Что вы какие то бесчувственные как старые туфли. Что вы смотрите на меня как совы? Вы хотите спать накануне великих событий? Но я Нил не засну. Вы помните дружину Нила? Удивляюсь как скоро у нас все забывается. А ведь когда я показывался с дружиной на Невском Проспекте — нас встречали и провожали бурей энтузиазма. Мы наводили ужас на казаков. Нил стало нарицательным словом. Все хотели быть Нилом».

Не нужно особенно удивляться, что Нил психически заболел. Такие случаи, как и самоубийства, в истории русского революционного движения нередки. В «жгучей атмосфере» подполья с его конспирациями, опасными замыслами, боязнью провокации, шпионством, постоянными полицейскими угрозами, крайне повышенной нервностью — трудно было сохранять здоровую психику. Коновалов в своем «Дневнике» об этом свидетельствует. 4 июня он пишет: «В городе так тихо, так обыденно, как будто не произошло ничего. Все идет своим чередом. Утром я встречаю как всегда людей, занятых обычным делом, делом житейским и мелким». Житейская мелкость для него — человека подполья — отвратительна. Он реагирует на нее накатом психоза с фантастическими видениями.

«Еще вчера утром, когда я выходил из дома мне все казалось, что я опоздал, что улицы уже покрыты баррикадами, что гул мести воодушевляет тысячи. Честное слово, я серьезно верил в это, я доказывал себе, что весть не разнеслась еще повсюду, что не все еще узнали о происшедшем».

За этим взлетом, недалеким от переживаний сумасшедшего Нила, следует реакция.

«По прежнему дымат фабричные и заводские трубы и тысячи рук бьют, вертят, стругают. Но почему они не схватились за оружие, за камни? Почему вместо обычного мурлыканья заводских песен, из уст их не вылетают звуки борьбы и мести? Я уже не верю, что завтра не будет похоже на сегодня. Будет

то же самое. Скучный, томительный скучный рабочий день, полный суетливости и мелких нужд. И ничего нельзя поделывать. Нет сил, которые заставили бы дрогнуть и раскачаться спокойную массу. Настроение пролетариата не каучуковый шар, который можно раздуть, приложив к собственным губам. Все вошло в старое русло. Но ведь не прекратится же решительно все. **Разве уж так сразу всё замрет и нас выкинет за борт».**

Сколько у Коновалова, как человека подполья, презрительного отношения к «скучному рабочему дню» и сколько у него непокидающей, неисчезающей боязни быть «выкинутым» за борт и стать «только писцом», если революция замрет. Но он утешает себя: полиция, охранка, не разгромила, не уничтожила всю организацию. На смену павшим приходят новые силы, хотя на интеллигенцию теперь нечего надеяться. Будучи временным попутчиком пролетариата она отхлынула и «скатертью ей дорога». За то пролетарская интеллигенция остается с нами. Пусть сейчас нет широкого революционного размаха, а все-таки революция, как «капля за каплей камень долбит», и хотя маленькая подпольная работа все же есть. Однако, чувствуется, что даже ее при давящей его усталости трудно вести, Коновалов решает «взять на месяц отпуск», отдохнуть и затем «отдохнувший и успокоившийся снова брошусь в бой кипучий». Он едет на Волгу, потом в деревню. Он хочет вести правильный образ жизни, «вообще пожить животной жизнью» и освободиться от мысли, что «не нужен ни я, ни другие» т. е. не нужны ни Герасимы, ни Нилы, ни Павлы.

У Коновалова бывают моменты когда, освобождаясь от повышенной самооценки — мысли о своей огромной нужности и важности как деятеле революционного подполья, — он относится к себе критически. — «Я не жил вовсе личной жизнью. Я не знаком с целым рядом сторон ее. Чувствуя себя как рыба в воде в революционном мире, я беспомощен при иной житейской мелочи. Подполье дало одностороннее развитие, почти атрофировав некоторые стороны души. Я шесть лет в подпольи и тюрьмах. Кругозор сузился до тюремных стен. Остался только уродливо развитый человек без определенных занятий».

Этот портрет фигуры из подполья, профессионального революционера, прошедшего чрез «огонь, воды и медные трубы» — мало привлекателен. Может ли человек с уродливым кругозором в пределах тюремных стен — претендовать на роль полезного общественного деятеля? Но Коновалов ненадолго предается критическому самоумалению, у него вспыхивает гордый против этого протест с восстановленным признанием

своей большой ценности. Он не хочет считать себя только «уродливо развитым человеком». «Вздор все это! Досадно за такие мысли. Право кажется, что я начинаю презирать самого себя. Ложь! Гнусная, проклятая ложь!» Он верит, что революция отнюдь не умерла и он нужен ей. «Я верю, верю и буду верить. И понесу эту веру другим. Огненным, страстным словом растоплю лед разочарованности, огнем зажгу сердца усталых. Иди, говори! Но тебя не будут слушать, посмеются, как над фанатиком. Будут слушать, будут слушать! Хочется рвать на себе волосы, кричать и мстить беспощадной мстостью».

Временный отход от подполья не приносит Коновалову желанного спокойствия и отдыха. Другие люди «умеют пользоваться отдыхом, а я не умею. Я к отдыху стараюсь примешивать что-то особое, задачи политического момента». Люди не подполья, с которыми встречается Коновалов, ему чужды, его раздражают. Среди них он чувствует себя кем-то «долго жившим на необитаемом острове». Все ему кажется серыми, скучными, они не интересуются «вопросами партийного порядка», не выходящими из мозга Коновалова. «Пьют, едят, любят солнечным закатом, страстно спорят о вопросах мелких и незначительных, а политика для них что-то очень далекое, второстепенное, или вовсе постороннее». У большинства крестьян и рабочих масса мелких вопросов отодвигает на задний план вопросы, которыми наполнена мысль Коновалова, но упрека за это он им не хочет бросить. «С рабочими и крестьянами я свой человек. Я чувствую, что мне нельзя уйти от них, что без силы, которую они вливают в меня, **без надежд, которые я возлагаю на них — я ненужный человек**». Я и все люди подполья «без массы — лишние люди».

Вместо одного месяца Коновалов проводит два месяца вне революционной работы, но мысли о том, чтобы отдохнуть, забыться, почитать, свелись к простым иллюзиям. И Коновалов возвращается на свой революционный пост. «Сегодня, пишет он 19 июля, целый день подводил итоги своей жизни за два последние месяца. Словно я проснулся после долгого сна, тяжелого кошмара. Откуда взялась эта **неуверенность в своих силах**, это разочарованность? Смешно! Почему этот мучительный анализ? Откуда взялось все это? Какая сила бросила меня из стороны в сторону? Эта проклятая сила свела с ума Нила, привела к самоубийству Герасима. Вот я вышел из подполья, хватался за то, за другое, за третье, а что дало мне это? Ровно ничего. Ничего кроме тоски и муки. **И подполье снова манит к себе. Только там я чувствую себя в своей атмосфере**».

Можно быть уверенным в том, что Ленин с большим одобрением читал эти слова «покойного Ивана Андреевича». Заявления меньшевистской газеты «Луч», что «массе в подполье делать нечего» и что оживающие у петербургских рабочих симпатии к подполью — «факт прискорбный» — Ленин противопоставлял: «**только подполье** ставит и решает вопросы нарастающей революции и наставляет революционную с. д. работу». «Две-три сотни подпольщиков — выражают интересы и нужды миллионов и десятков миллионов». «Лозунги подполья есть лозунги революции». Отказ от подполья — отказ от революции. Беглецы из подполья — суть «ренегаты», «ликвидаторы революции», «мерзавцы», «отступники», «худшие советчики» и «опасные враги рабочего движения»!!

18 августа Коновалов берет свой дневник и вносит в него заключительный аккорд:

«Сейчас перечитал мои заметки. Много успело изгладиться и кажется **смешным** и странным. Уже месяц, как я непрерывно занят, заместив товарищей, уехавших «отдохнуть». Теперь я посмеиваюсь над их «отдыхом». Начинается период нового подъема. Настроение заметно подымается. Очень скоро настанет время, когда никто из нас не захочет отдыхать».

Слова, что начинается «новый подъем» ясно показывают, что датирование конца дневника «18 августом 1907 г.» не соответствовало времени, когда он был написан. Ни о каком революционном подъеме не могло быть и речи в конце 1907 г. Революция была разгромлена, ее вожди бежали за границу и первым таким беглецом был Ленин.



В 1917 г. после февральской революции при разборе бумаг Департамента Полиции найдено указание, что среди множества других разоблаченных лиц — И. Коновалов тоже был агентом охранного отделения. В тот год было слишком много больших событий и разоблачение Коновалова до меня не дошло. Узнал об этом с большим запозданием, проверять все было уже трудно, но я тут-же сказал, что здесь что-то не так, это невозможно! Почему? Раз были возможны и Азеф, и Малиновский — почему не мог быть агентом охранки Коновалов? Гарви мне говорил, что агентом охранки Коновалов был уже в 1906 г. и якобы доносил о членах Петербургского Комитета. Я в это не верю. По словам Крупской «в годы реакции Коновалов стал провокатором, но не выдержал и покончил с собой». В 1908 г. он сидел в тюрьме и выпущен из нее весной 1909 г.

Если его непостижимое падение совершилось — то только тогда, а не раньше. Как, почему, при каких обстоятельствах оно произошло — мы этого, вероятно, никогда не узнаем. Можно предположить, что, побуждаемый какими-то исключительно важными для него личными причинами, Коновалов тогда себе поставил целью во что бы то ни стало, любой ценою, выйти из тюрьмы и он добился этого освобождения, дав Департаменту полиции какое-то согласие быть его агентом. Но из всего им написанного со дня выхода из тюрьмы, т. е. за то время когда он числился агентом полиции (тогда мог быть написан и «Дневник Агитатора») ясно видно, что свою революционную веру он отнюдь не потерял. Департамент полиции, повидимому, это сознавал. На его поездки в провинцию, в деревню для описания ее послевоенного положения он смотрел явно подозрительно, а из Тульской губернии просто приказал ему уехать. Обращает на себя внимание, что ни одну из своих статей, вызвавших такую большую похвалу Ленина, Коновалов не поместил в большевистской прессе, хотя был и, конечно, остался большевиком. Ни Азеф, ни Малиновский, ни один из сотен разоблаченных провокаторов с собой не покончил. Коновалов это сделал, сам себя казнив. Он не был, как другие, агентом охранки, в этом я глубоко уверен. О его «Дневнике Агитатора» нельзя сказать, что он написан рукою провокатора. Будучи документом несомненной социологической важности, бросая свет на группу социал-демократов подпольщиков, общественную группу особой масти, несомненно отличающейся от интеллигентов с. д., подвизавшихся в подпольи до 1905 г., «Дневник Агитатора» дает возможность лучше понять то, что происходило в рабочей среде Петербурга в годы предшествующие войне.

Ракитников в «Нашей Заре» (1913 г. № 9) писал, что победы большевистской «Правды» «заставляют задуматься как это случилось, что опорные пункты меньшевистского направления и специально «ликвидаторства» уходят из-под влияния течения, которое заложило фундамент открытых рабочих организаций в России и одно только деятельно работало в них в течение последних лет». Указание Ракитникова правильно: «опорные пункты» меньшевизма в Петербурге действительно уходили из рук меньшевиков. Они терпеливо строили профессиональные союзы, но в 1913 г. только в трех союзах у них осталось влияние, а в 14 других стали главенствовать большевики — правдисты. Меньшевики организовывали страховые учреждения, однако, при выборах в петербургское страховое

учреждение 84% уполномоченных пошли за большевиками. При постановке опроса какую часть социал-демократической фракции Госуд. Думы нужно поддерживать — 6.700 питерских рабочих высказались за большевистскую фракцию, возглавленную Малиновским и только 2.900 за меньшевистскую. Большевистская «Правда», выходявшая под разными именованиями, имела тираж достигавший 40.000 экземпляров, а меньшевистские органы более 16.000 не имели. Мартов в той же «Нашей Заре» в 1914 г. с крайним раздражением писал: «победы «Правды» над организованным рабочим движением тем и характерны, что кучка людей в буквальном смысле **без имени** или с именами неудобно-называемыми, представляющая собой не интеллигенцию, а скорее интеллигентский люмпен-пролетариат, берет в руки палку и становится «капралом», имея в качестве идейного знамени имя одного только интеллигента Ленина». Что стояло тогда на знамени Ленина, к чему он призывал? Он призывал к политической стачке как средству «расшевелить, раскачать, взбудоражить народ», к «революционной стачке, упорной, перебрасывающейся с места на место, из одного конца страны в другой, стачке повторной, развертывающей красное знамя на улицах столиц». Стачки могли быть заменяемы демонстрациями, но «самое главное, чтобы стачки, митинги, демонстрации шли **непрерывно**» и приводили «к свержению монархии народным восстанием» («Соц. Дем.» 1913 г. № 12). Все это движение должно быть пропитано тремя, по терминологии Ленина в легальной печати — «неурезанными лозунгами»: демократическая республика, а ее без восстания получить нельзя; конфискация всей помещичьей земли, что тоже требует восстания; и 8 часовой рабочий день. Третий лозунг, поскольку он проводится законодательным путем, меньшевики могли принять, но не два первых, ибо призывать к восстанию, когда нет революции более чем бессмысленно. В стране перед войною было большое общественное оживление, были всякого рода и большие стачки, шел большой экономический прогресс и в промышленности, и в сельском хозяйстве, а революцией о которой мечтал Ленин, даже и не пахло. Эпигоны Ленина, потом это признали, заявив, что «с 1908 г. примерно до 1915 г. большевизм считал, что непосредственно-революционной ситуации в России **уже нет**» (см. «КПСС в резолюциях и решениях съездов», седьмое издание, часть II, стр. 164). Петербург был кажется единственным местом в стране, где употребляя выражение Мартова, «капралам» удалось разжечь некоторые слои рабочих до такой

точки «кипения», что в начале 1914 г. могли появиться баррикады. Но кто эти «капралы»? Это большевистское подполье Петербурга, те Герасимы, Нилы, Викторы, понять которых очень много помог Коновалов. Меньшевики стремились к организации открытой партии. Специфическое заговорщицкое подполье им не было нужно и они его не имели. Их нелегальный «Организ. Комитет» только игрушка. Большевики, наоборот, за открытым легальным фронтом рабочих организаций и в них их главенством, имели, кроме того, скрытую подпольную организацию. Она, конечно, им была нужна. Ведь подготавливать с «неурезанными лозунгами» восстание можно лишь «под полом», а не на площади, не на глазах у всех. Видя как «правдисты» захватывают легальные, открытые рабочие организации и усаживаются на «этих аренах далеких от подполья», некоторые меньшевики стали приходить к заключению, что в сущности и большевики фактически бросают, уходят из подполья. Мысль, что большевизм фактически порывал бы с подпольем была ошибочна. Именно в Петербурге существовало немногочисленное, но очень крепкое подполье. На вершине большевистской организации и в редакции «Правды» в 1911—1913 г. появились Молотов, Свердлов, Сталин, Каменев, но не в них была сила большевистского подполья, а в той **очень активной** «кучке людей без имени», которую Мартов был склонен считать «интеллигентским люмпенпролетариатом». Некоторое, в очень уменьшенном виде, подобие этой кучки существовало в Москве в 1913 году. В Петербурге жизнь в «жгучей атмосфере подполья» давала смысл самому существованию «кучки людей без имени». Они ненавидели меньшевиков, те не принимали — «неурезанные лозунги», значит, по их мнению, полностью отвергали революцию, традиции, лозунги, дух 1905 года. Но раз нет революции, нет «звуков борьбы и мести», если попржнему, не останавливаясь, «дымят фабричные и заводские трубы», если завтра, как сегодня все тот-же «томительно скучный рабочий день» — то во что тогда обращаются питерские подпольщики? «Без революции мы как рыба без воды». «Мы тогда лишние, ненужные». «Мы тогда не у дел».* Обманывая поли-

* В подпольи у социалистов-революционеров были свои Герасимы и Викторы, тоже боящиеся остаться «не у дел» при прекращении революции. Показания такого подпольщика как Савинков (см. его «То чего не было») в этом отношении очень ценны. Описываемого им Болотова «что-то кольнуло» когда был опубликован манифест 17 октября 1905 г., с обещанием свобод. Его «отравило недоумение»

цию шпионов, провокаторов, подпольщику нужно уметь созывать многолюдные собрания, заставляя эти собрания внимательно слушать себя, ему важно этими людьми командовать, видеть, что они считают его выше, важнее себя, поэтому обязаны делать то, к чему он «пламенно» призывает, хотя для него как и для них это может окончиться тюрьмой, ссылкой и даже расстрелом. Зарядившись непомерно раздутой мыслью о своей общественной революционной значимости, с вытекающим отсюда правом быть «капралом», «руководителем», сей подпольщик, как это видно из «Дневника» Коновалова, уже не может мириться с тем, что без революции, вне революции, он только «конторщик», только маленький «приказчик», делающий мизерное дело — «отмерять ситцы или взвешивать колбасу». Герасим говорил, что для него «это равносильно смерти». Совсем иная ситуация когда непрерывно идут бурные стачки, происходят стычки с полицией, когда политическая атмосфера накаляется и подпольщики бросают мысли в огонь, насыщая стачечников «неурезанными лозунгами», призывающими к восстанию. В этой обстановке капралы подполья чувствуют себя как рыба в воде и с увлечением и уверенностью поют гимн Интернационала: «кто был ничем — тот станет всем». И, действительно, когда Ленин в 1917 г. пришел к власти, уцепившись за него, взлетели на верх страны Герасимы, Нилы, Викторы, все «Иваны» подполья и, несмотря на то, что к этому были абсолютно не подготовлены, стали важными комиссарами-«руководителями» во всех областях жизни. Отсюда понятно их обожание Ленина, ведь без него и октябрьской революции эти герои подполья остались бы только маленькими незаметными конторщиками, приказчиками, телеграфистами . . .

Н. Валентинов

— как приспособиться к создавшейся при свободах новой жизни, «как жить вне подполья, вне комитета, вне конспирации, отвыкнуть от партийных привычек и устроить не мир, а свою «муравьиную жизнь». Ставя этот вопрос, Болотов признался, что «кроме революционного опыта у него нет богатства, кроме навыков конспирации он не вынес из партии ничего и многотрудная жизнь миллионов серых людей ему неизвестна». Ему «стало жаль, что **так скоро все кончено** и он остался «как поденщик после расчета бесприютен и сир». Потому, он желает не только продолжения революции, а ее «развития в самой кровавой форме», поэтому, он хочет «работать в терроре». Сравните с убеждениями Коновалова — чтобы не остаться не у дел — «надо стараться сгустить тучи».

ПРОИЗВОЛ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СССР

Докладывая пленуму ЦК 19-го ноября 1962 г. в течение пяти с половиной часов, Н. С. Хрущев не поспешил на статистические данные о росте промышленного производства и перевыполнения планов рабочими. Так, например, промышленное производство средств производства возросло за 1959-62 годы на 51 процент вместо 41 процента по контрольным цифрам. Сверх задания рабочими произведено было промышленной продукции за 1959-62 гг. на 28 миллиардов рублей, по словам Хрущева. При этом народное хозяйство СССР получило сверх контрольных цифр 2,5 млн. тонн чугуна, 13 млн. тонн стали, около 17 млн. тонн нефти и т. д. Но «производство ряда предметов народного потребления отстает от заданий контрольных цифр».

Щеголяя статистикой промышленного производства, Хрущев не заикнулся ни о статистике заработной платы, ни о статистике стоимости жизни. Он не упомянул даже, что, вопреки плану, были сильно повышены цены на мясо и масло, что вызвало понижение реальной заработной платы, в то время как рабочие дали много промышленной продукции «сверх задания». Поэтому Хрущев выразил свое удовлетворение значительным ростом производительности труда. «За четыре года семилетки», Хрущев подчеркнул, «мы добились на этом главном направлении определенных успехов. Две трети всего прироста промышленной продукции получено за счет роста производительности труда».

Настаивая на усиленной кампании за пересмотр норм и на дальнейшем росте производительности труда за счет резервов рабочей энергии, Хрущев заявил:

«Вы пойдите к рабочим, откровенно поговорите с ними, скажите, что надо поднять на такой-то уровень производительность труда и за счет чего это можно сделать. Рабочие сами нам подскажут, потому что у каждого рабочего есть свой резерв. Я сам был рабочим и хорошо знаю, **что без резерва рабочий не живет**». («Труд» 20 ноября 1962 г. Наш курсив, Ю. Г.)

Это послужило сигналом для кампании за пересмотр норм и снижение расценок для выжимания «резерва» рабочей энергии. Но из пятичасовой речи Хрущева терпеливый читатель не узнал ничего о положении «рабочих от станка», создавших своим потом индустриальную мощь СССР. Превратив своим «самоотверженным трудом» СССР во вторую индустриальную державу, рабочие массы в СССР являются самыми незащищенными жертвами диктатуры. Не получая от колхозников **достаточного количества сельскохозяйственных продуктов**, необходимых стране, Хрущев вынужден был повысить закупочные цены на скот и птицу 1-го июня 1962 г. Одновременно он значительно повысил государственные розничные цены на мясопродукты и животное масло, **сократив реальную заработную плату и потребление рабочих, значительно перевыполняющих производственные планы**. Более того, сокращая с ростом индустриализации потребление рабочими насущных продуктов питания, как мясо и масло, коммунистическая диктатура требует от них все большего роста производительности труда за счет «резервов» рабочих. Неустанно требуя от рабочих роста производительности труда, советское правительство не решается до сих пор печатать статистику заработной платы и стоимости жизни, дабы не обнаружить низкую заработную плату и жалкий уровень жизни рабочих масс в сравнении с правящим «новым» классом.

На фоне безмолвия рабочих масс за непроницаемым железным занавесом советских фабрик и заводов, их нужды и мытарства находят некоторый отголосок лишь в жалобах тех рабочих и служащих, которые осмеливаются довести свой протест до сведения советской печати и поскольку последняя уделит этим жалобам внимание.

Судя по этим жалобам, рабочие страдают от произвольного снижения заработной платы, произвольных увольнений, произвольного удлинения рабочего дня, произвольной отмены дней отдыха, нарушения законов о технике безопасности, антисанитарных условий труда, весьма распространенной грубости работодателей и их «хамского отношения к людям».

Так, например, А. Баринов, рабочий опытного завода Украинского научно-исследовательского института огнеупоров в Харькове, заявил на отчетно-выборном профсоюзном собрании, что «в цехах у нас холодно, из-за этого люди часто болеют». На этом собрании присутствовал директор завода И. Ф. Усатилов, и последствия своего заявления А. Баринов так описал в письме в редакцию «Правды»:

«Сказал, а теперь и сам не рад. Тут же на собрании директор обрушился на меня: 'Баринов на сегодняшний день имеет шестой разряд, но работает плохо. Женщины, имеющие пятый разряд, делают столько же. Я думаю, что Баринов шестого разряда иметь не будет'. Я работаю на заводе тринадцать лет, выполняю нормы на 120 процентов, товарищи по цеху избрали меня профоргом. Неужели только за то, что я осмелился критиковать директора, он имел право так бестактно оскорбить меня, да еще на общем собрании?» («Правда», 26-го января 1962 г.)

Таким образом, рабочий Баринов, представитель профессионального союза и член коммунистической партии, за заявление о заболеваемости рабочих в холодном цехе был наказан директором завода И. Ф. Усатиковым, членом коммунистической партии!

Отправленная в Харьков, специальный корреспондент «Правды» для обследования жалобы Баринова, В. Русакова, подтвердила, что Баринов выступил на профсоюзном собрании «с **правильным** критическим замечанием» и что директор Усатилов угрожал оратору. И «это были не только угрозы». По настоянию директора через два дня было созвано собрание партгруппы завода. Было принято решение предложить партийному бюро института **исключить Баринова из партии** за то, что он, по сообщению Русаковой, «якобы клеветнически обвинил в бездеятельности» коммуниста Усатикова, директора завода, и Еволенко, главного механика. На этом собрании партгруппы завода парторг Ярковский записал в протоколе, что за решение об исключении из партии Баринова голосовали 17 человек, **«произвольно включив в это число и тех, кто при голосовании воздержался или вовсе не присутствовал на собрании».**

Вдобавок, после общего собрания рабочих, на котором Баринов был избран «в число передовиков», протокол был переписан и его фамилия была вычеркнута. Ввиду того, что коммунистическое начальство (директор, главный механик, мастер) так ополчилось против рядового коммунистического рабочего Баринова, другие рабочие, у которых Русакова справлялась по делу Баринова, «махнув рукой, сразу отошли в сторону. . . Да что тут толковать, — как-то нехотя ответил слесарь тов. Кауров, — **скажешь слово поперек начальству — мигом премии лишишься.**»

Когда незаконно уволенный токарь В. Кравцов подал жалобу в суд, который восстановил его на работе, ему вскоре

«всё-таки пришлось уйти из-за придинок администрации, которой не понравилось такое 'непослушание'». Убедившись в неограниченном произволе директора и его грубом обращении с рабочими, специальный корреспондент «Правды» пришел к выводу, что значение жалобы рабочего А. Барина выходит за пределы Харьковского завода и что «речь идет о **стиле** работы хозяйственного руководителя, о его взаимоотношениях с коллективом». («Правда» 26-го января 1962 г., слово «стиль» подчеркнуто в «Правде», весь другой курсив наш, Ю. Г.)

Несмотря на это обследование, коснувшееся нескольких рабочих, пострадавших от произвола директора, специальный корреспондент «Правды» не сообщил ни о каких мерах обуздания директора завода и защиты рабочего Барина.

Из Сибири поступают жалобы рабочих на заболевания из-за неподготовки производственных помещений к работе зимой. Так, например, на заводе «Кузбассэлектромотор», в Кемерово: **«в цехах не отремонтированы двери и окна, не действуют тепловые завесы, протекают крыши»**. («Труд», 3 окт. 1962, курсив «Труда»). Завод этот и в -1961 г. не был как следует подготовлен к зиме, и вследствие «вопиющей беспечности директора» возросло число простудных заболеваний и «допущен перерасход средств государственного социального страхования» (там же).

На шахтах «Коксовая-1» и «Северная» Кемеровского совнархоза шахтеров заставляют приходиться за полтора-два часа до начала смены, чтобы получить наряды. Нарушая трудовое законодательство, «руководители предприятий» **неумеющие правильно организовать труд шахтеров**, прибегают к искусственному продлению рабочего дня». И это, несмотря на то, что ЦК профсоюза рабочих угольной промышленности еще в 1960 г. принял специальное постановление, осуждающее эту практику продления рабочего дня. («Труд» 2 октября 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

«Критиковать у нас нужно с оглядкой, скажешь, что не по вкусу начальству, **тебя лишат премии, снизят разряд, а то и уволят**», — так заявили рабочие электроподстанции в Брянске А. Докучаеву, специальному корреспонденту «Труда», приехавшему обследовать жалобу электрослесаря Нехаева, ноги которого были повреждены из-за нарушения правил техники безопасности. Когда мать этого электрослесаря просила директора высоковольтной сети Брянского совнархоза, В. И. Зверева, послать сына на лечение, помочь ему овладеть другой

профессией, директор говорил с старой женщиной «резко, даже оскорбительно». Это побудило электрослесаря написать письмо в областной совет профсоюзов, что окончательно вывело директора «из равновесия». «Тяжба» между электрослесарем и директором тянулась больше года и была передана в народный суд. Обследовав на месте жалобу электрослесаря и других рабочих и выслушав директора В. И. Зверева, специальный корреспондент «Труда» обратился к нему с заявлением, в котором он, между прочим, пишет:

«Вы прямо-таки загорались, когда речь шла о трансформаторах, высоковольтных вводах. Но стоило завести разговор о людях, как взгляд ваш тускнел, голос становился глуше. . . Как ни странно, человек интересуется вас, тов. Зверев, лишь как производственник. Вас заботит только одно: выполняет ли он план. **В каких условиях трудится рабочий, как он живет, об этом вы, как видно, думаете мало. . .** Всё, что произошло с электрослесарем Нехаевым, нельзя считать случайным. Печальная история эта — **прямой результат вашего равнодушия к людям. Вы говорите о плане, даже не думая о тех, кто его выполняет. . .** Вы позволяете себе свысока смотреть на тех, кто делает с вами одно общее дело. Почему, например, ко всем рабочим, независимо от их возраста, вы обращаетесь на 'ты'?» («Труд», 6 сентября, 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Как видно из этого отчета об условиях труда, рабочие не смели пикнуть, боясь снижения зарплаты или увольнения; работодатель видит в рабочих лишь своего рода «пушечное мясо» в погоне за выполнением плана производства; не интересуясь условиями труда и нарушая технику безопасности, работодатель грубо лишает рабочего с поврежденными ногами элементарной заботы, обрекая его на мытарства длительной «тяжбы» при попустительстве областного совета профессиональных союзов, к которому пострадавший апеллировал.

Рабочие завода «Ударник» в Пинске жаловались на то, что директор завода Ковнацкий, член КПСС и секретарь партбюро Тихомиров «невнимательно относятся к нуждам и запросам трудящихся». В большинстве цехов этого завода нет душевых, не хватает гардеробов, «бытовки» «находятся в антисанитарном состоянии». Подобное небрежное отношение к условиям труда и нуждам рабочих не находит должного отпора со стороны партийных организаций. Ибо «если за невыполнение производственной программы с руководителями предприятий **строго спрашивают, то за пренебрежение к нуждам**

людей их лишь слегка журят». («Правда», 24 сентября, 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Неудивительно поэтому, что даже герои социалистического труда жалуются на работодателей, добивающихся «выполнения плана любой ценой» и не интересующихся, какими методами выполняются задания и планы. Так, например, рабочие, занятые в строительстве ГЭС в г. Днепродзержинске, пожаловались на грубость инженера Я. М. Графмана, члена партии, от которого они только и слышали: «Эй, ты, растяпа!», «Болван», «Шалопай», «Я тебе вставлю мозгу». Среди жаловавшихся были рабочие прославленного коллектива «Днепростроя». Но грубияна-инженера не только «не одернули», а наоборот, повысили и назначили директором завода железобетонных изделий. Будучи директором, Графман еще больше стал унижать достоинство рабочих и **«самоchinно расправляться с подчиненными. Стоило только рабочему чем-то не понравиться директору завода, как ему понижался разряд, человек незаконно лишался премии и т. п.»**. («Правда», 12 июня 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

В центральном комитете профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности **«жалобы рабочих месяцами залеживаются в столах сотрудников»**. Более того, «с 1959 г. издано уже четыре приказа о создании отдела техники безопасности, но положение осталось без перемен... До сих пор не утверждены правила и нормы по технике безопасности для многих производств». («Труд», 28 сентября 1962 г. — курсив наш, Ю. Г.).

На шахтах Донбасса сотни горняков вынуждены были выходить на работу в воскресенье, лишаясь заслуженного отдыха и несмотря на то, что это было «грубым нарушением трудового законодательства». Причину этих грубых нарушений «Труд» объяснил так: **«Явления беспринципности, 'бесхребетности' профсоюзных работников, их чрезмерной уступчивости перед некоторыми ретивыми хозяйственниками, попирающими права рабочих, нарушающими советские законы, не так уж редки на шахтах Донбасса»**. («Труд», 19 января 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Жалобы рабочих Днепропетровского мелькомбината на грубость и «самоуправство» директора Алексеева долгое время поступали в областной совет профсоюзов. Проверка показала, что Алексеев самолично отменял выходные дни на предприятиях, выгонял людей с работы, нарушал законы о труде, игнорировал права завкома. Установив эти факты, президиум

совпрофа постановил: «Обратить внимание директора мелькомбината на допускаемые им грубые нарушения прав завкома и норм трудового законодательства». После этого директор Алексеев уволил председателя завкома. «Что же», спрашивает «Труд», «предпринял совпроф, чтобы одернуть вконец распоясавшегося хозяйственника?» Оказывается, совпроф устроил в своем аппарате уволенного председателя завкома, **оставив в покое самодура директора**. Ибо **«явно недостает принципиальности руководителям Днепропетровского совпрофа»**. («Труд», 27 января 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

При попустительстве профессиональных совхозов советские работодатели могут не только произвольно увольнять рабочих или произвольно понижать заработную плату, но и нарушать коллективные договоры по следующим причинам: «Некоторые хозяйственные руководители не выполняют обязательств по коллективным договорам, **а профсоюзные организации мирятся с этим**. Бывает и так: если предприятие не справилось с плановым заданием, то хозяйственнику **приходится держать ответ перед совнархозом, а игнорирование колдоговорных обязательств, как правило, сходит ему с рук**». («Труд», 24 августа 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Не только совнархозы и профессиональные союзы и партийные организации закрывают глаза на грубые нарушения трудового законодательства и коллективных договоров, но и блюстители законов не наказывают этих работодателей, вопреки жалобам рабочих и разоблачениям в печати.

«На шахте имени Лутугина», жалуется рабочий В. Макаров из Чистякова, Донецкой области, «часто отменяются выходные дни. По календарю в месяце 27 рабочих дней, **а наша бригада работает все дни без исключения**. Я учусь в вечерней школе и по закону мне полагается свободный день для сдачи зачетов. Но когда я воспользовался таким днем, **меня из проходчиков перевели на другую, ниже оплачиваемую работу**». Эту жалобу рабочего Макарова «Труд» сопроводил следующими комментариями: — «Тревожный сигнал! К сожалению, он не единственный. О самовольной отмене дней отдыха и **грубых нарушениях** режима рабочего времени нам пишут также с других предприятий и строек... Еще в начале октября 1962 г. технические инспектора И. Аминев и А. Чеглаков писали в «Труде» что на заводах и фабриках Красноярска то и дело переносят выходные дни, **самочинно удлиняют рабочую смену**. В совнархозе прочитали корреспонденцию и лишь для вида пожурили директоров некоторых предприятий. Наруши-

тели закона остались безнаказанными. Стоит ли удивляться, что и в новом году они продолжают ту же порочную практику? Продолжают с ведома руководителей совнархоза. Но едва ли в меньшей степени виноваты в этом председатель совпрофа И. Кудрявцев и секретарь Ф. Вахрушев. Они потворствуют незаконным действиям хозяйственников, не требуют, чтобы фабрично-заводские комитеты строго контролировали соблюдение трудового законодательства». («Труд», 12 января 1963 г., курсив наш, Ю. Г.).

Из того же источника узнаем, что хозяйственники «расправляются за критику» и «незаконно увольняют рабочих». Более того, случается даже, что профсоюзные комитеты «идут на поводу у хозяйственников и неправильно решают трудовые споры. И их, защитников прав трудящихся, приходится поправлять судам и прокуратуре!»

В Казахстане, например, при рассмотрении трудовых дел суды восстановили на работе 64 процента произвольно уволенных рабочих и служащих. Но часто рабочие, возвращаемые на работу по решению суда, так страдают от мести работодателей, что вынуждены уходить с работы. Немало страдают от произвола работодателей и те группы рабочих, которые больше всего нуждаются в охране труда — подростки и женщины. Например, на Брянском заводе дорожных машин подростки обоего пола работали по семь часов в день вместо четырех-шести часов. Нарушались правила безопасности и труда подростков, что приводило к несчастным случаям на некоторых предприятиях. Произвол иных работодателей доходит до того, что они увольняют, вопреки закону, даже беременных женщин и не предоставляют работницам положенного перерыва для кормления детей.

Не только профорги «идут на поводу у хозяйственников», но даже иные прокуроры боятся портить отношения с влиятельными хозяйственниками. По жалобам из Алма-Аты, например, начальник Узун-Агачской автобазы незаконно уволил рабочих и служащих, нарушал технику безопасности, перевел бухгалтера на место рабочего, а экономиста на место бухгалтера с понижением их заработка на 25%. Ни незаконно уволенные, ни переведенные на другую работу не были восстановлены. «А прокурор, а местные власти?» — вопрошает «Труд» и отвечает: «Они не желают портить отношений с автомобильным королем районного масштаба. Голоса профсоюзных активистов, требующих обуздать самодура, остаются пока

голосами вопиющих в Казахской степи». («Труд», 13 июня 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Вследствие безнаказанности «самодуров»-работодателей и самодержавия на фабриках и в конторах, поступают жалобы на «старорежимные» методы унижения достоинства рабочих и служащих. Так, например, из Макеевки шахтер М. Полтавский сообщает, что начальник, горный инженер А. Шапкин, не разговаривает с рабочими, «а кричит на них нецензурными словами». Когда этот шахтер обратился с просьбой в райком партии **«осудить недостойное поведение коммуниста Шапкина»**, секретарь райкома направил это заявление в парторганизацию шахты, начальником которой был Шапкин. Неудивительно, что, «чувствуя безнаказанность, Шапкин распоясался еще больше». Его сквернословие и окрики слышались и в кабинете и в забоях шахты, и дело дошло до того, что Шапкин ударил рабочего. Этот «возмутительный поступок стал известен всей Макеевке. Лишь управляющий трестом 'Красногвардейскуголь'. С Арутюнов хранит олимпийское спокойствие. Нарсудья Кировского района тов. Ковалева решила тоже не заводить судебного дела на хулигана». Она направила письмо в партийную организацию вместо того, чтобы привлечь Шапкина к ответственности по суду. («Правда», 11 февраля 1963 г.)

Эта типичная круговая порука бюрократов-коммунистов — начальника шахты, секретаря райкома, управляющего трестом, народного судьи — объясняет не только безнаказанность работодателей даже, когда они собственноручно бьют рабочих, но и беззащитность рядовых рабочих, даже членов партии, не говоря уж о беспартийных рабочих и служащих.

Когда к члену партии Белову, управляющему отделением Госбанка в Лунине, близ Пензы, обратился с просьбой вахтер охраны Ермошин, то «вместо ответа раздался окрик: Вон отсюда!» А когда Ермошин повторил свою просьбу, Белов выскочил из-за стола и, «нанося побои», стал выталкивать его из кабинета. Сбежавшиеся на крики Ермошина сотрудники, «увидели страшную в своей дикости сцену: управляющий, грузный, высокий детина, тащил по коридору Ермошина». Потрясенные этим зрелищем женщины испуганно закричали: «Что вы делаете? Прекратите! Он же инвалид, больной!» — «Молчать! Не ваше дело!» — оглушил всех криком управляющий и толкнул охранника на крыльцо. . .»

Это событие особенно потрясло служащих банка, испытавших «немало вспышек самодурства управляющего». Когда

Белову понравилась квартира служащего Оралина, он приказал ему: «Выбирайся-ка из квартиры». На возражение Оралина, что он много лет жил в этой квартире, он получил в ответ: «Я здесь хозяин, поговоришь много — вообще без квартиры останешься». Служащему пришлось переехать в маленькую, старую квартиру, а Белов обзавелся новым домом с обширной усадьбой, которую называли «поместьем Белова». Он «по-хамски» относился к служащим, не разговаривал с ними, а кричал на них: «И слова-то какие употреблял **старорежимные, обидные, унижающие достоинство человека!**»

Белов считал, что отделение банка «его вотчина», а служащие — его работники. Он так и говорил: «мой банк», «мои деньги», «мои работники», «я тут хозяин». Всячески оскорбляя и унижая подчиненных, Белов грубо нарушал законы о труде, а чуть кто начинал возмущаться, пускал в ход грозный аргумент: «Выгоню». В банке не оказалось ни одной служащей, которая не плакала бы от оскорблений управляющего. **Но в течение десяти лет Белов вел себя как хозяин, которому все дозволено.**

Служащие Госбанка не раз сообщали о произволе Белова в райком партии, в райисполком, в областную контору, но там не прислушивались к жалобам трудящихся. Лунинский райком партии и райисполком заняли «беспринципную позицию», и «их работники всячески оберегали банковского самодура». Более того, они всячески выдвигали Белова, и несколько лет он был председателем районной ревизионной комиссии КПСС. «Он бы не распоясался так», сообщает спец. кор. «Правды» о Белове, «**если бы партийная организация района не смотрела сквозь пальцы на его самодурство.**»

Когда после упомянутого избиения вахтера охраны Беловым возмущенные служащие на профсоюзном собрании критиковали Белова, он грубо заявил: «Как вы смеете обсуждать меня, руководителя?!» И после этого он получил повышение, заняв пост начальника планово-финансового отдела с победным видом, чувствуя, что «**с ним ничего не могут сделать.**» Он повел себя так же, как в отношении Госбанка, начал грубить и кричать на экономистов и инженеров, которые с возмущением жалуются на это. («Правда», 25 февраля 1962 г.).

Как приходится расплачиваться всем, осмеливающимся критиковать произвол и беззаконие работодателей-коммунистов, видно из опыта инженера Шишкова. Как председатель комиссии контроля, Шишков подтвердил жалобы рабочих на то, что строящиеся дома сданы были к Новому Году, а доде-

львались в марте и апреле. Он критиковал не только «очковтирателей в жилищном строительстве», но выступил и против того, что цеха утопали в бракованных деталях; что директора завода и главный инженер, члены партии, выдавали латунные трубы, полученные готовыми от поставщиков, за изготовленные на заводе, и продавали их другим предприятиям. «И всю эту аферу оформили документально, фабриковали фиктивные наряды на обработку труб, на выплату заработной платы, ложные акты приемки готовой продукции».

За эту критику директор Болоховского машиностроительного завода Бедняк, где инженер Шишков работал, начал его преследовать, сняв его с должности начальника цеха, а потом конструктора и подвергая его «граду» выговоров. Когда другие работники на заводе поддержали Шишкова, **«директор стал запугивать одних, ублажать других».**

Секретарь партбюро Гладилин, к которому служащие не раз обращались с просьбой «призвать к ответу бюрократов и очковтирателей», ничего не делал. Тем не менее, члены партии на отчетно-выборном собрании завода, «критикуя Гладилина за беспринципность», вновь избрали его секретарем партбюро, а Шишкова членом партбюро. После этого собрания Гладилин вызвал Шишкова в кабинет, где директор завода щедро угощал водкой и коньяком членов нового партбюро. Тут же оказался и секретарь райкома партии Лысенко. Гладилин при этом заявил инженеру Шишкову: «Зря ты критикуешь директора. Его надо поддерживать». Когда Шишков спросил: «И недостатки покрывать?», Гладилин ответил: «У кого их не бывает... Заметил что — поговорим в своем кругу». Поняв, что Гладилин «сжился с директором», который за это осыпал его премиальными подачками, Шишков выступил на собраниях, заходил в партком, в райком, требуя пресечения злоупотреблений. Но «сигналы инженера, словно искры, гасли». Слишком влиятельны были в Болохове любители «показухи».

Шишков с группой других коммунистов начал писать письма в областной совет профессиональных союзов, в Совнархоз, в редакции газет. Но письма, «как бумеранги», возвращались к тем, кто в них обвинялся. Директор завода расправлялся с критиками и одарял премиями соучастников. Коммунисты, критиковавшие директора вместе с Шишковым, отступили, так как **«на них нажимали, и у них не хватило мужества устоять».**

А инженера Шишкова, продолжавшего критиковать директора, вызвал в Тулу инструктор обкома В. Д. Власов и заявил ему, что директор завода Бедняк «хороший руководитель» и не следует «лишний шум поднимать». Когда Шишков добился, наконец, что райком поручил помощнику прокурора Буряковскому обследовать обвинения Шишкова, прокурор, запасшись «справками с завода», долго «пел дифирамбы директору» на заседании партбюро и объявил, что «Шишков по его мнению, — клеветник, опасный человек». После этого заявления помощника прокурора директор завода, главный инженер, секретарь партбюро подняли кампанию против Шишкова «с залпом угроз и нелепых обвинений». Наконец, на заседании партбюро, в присутствии члена обкома Власова, секретарь партбюро Гладилин заявил Шишкову: — **«Проси извинения у директора за оскорбление и клевету. Иначе — вылетить из партии»**. Шишков ответил, что ему не за что извиняться. И последовало решение: «Исключить из партии», которое потрясло Шишкова, как «удар меча». («Правда», 9 августа 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Описание в органе ЦК КПСС полной беззащитности служащего Шишкова, честного человека, в его борьбе против злоупотреблений и террора директора-коммуниста, покрываемого «беспринципными» и продажными коммунистами в партбюро, райкоме, обкоме, совпрофе, совнархозе, прокуратуре — превосходит все, что могло бы придти на ум. Эта сплошная круговая порука аппаратчиков иллюстрирует глубину морального разложения правящего класса и беспомощную своеобразную классовую борьбу на фабриках и заводах. В настоящий период «развернутого строительства коммунизма» рабочие и служащие, осмеливающиеся критиковать произвол и злоупотребления работодателей, имеют гораздо больше шансов лишиться своих партийных билетов и работы, нежели избавиться от своих «самодуров» и «хапуг».

Доходит до того, что коммунист-работодатель угрожает увольнением коммунисту-служащему, если он не прекратит своей деятельности в профессиональном союзе. Например, А. И. Ермолаев, начальник управления Грозненского округа Госгортехнадзора РСФСР, член партии, разрешил инспектору Колосову и инженеру Касьянову сдать в эксплуатацию дом, несмотря на грубые нарушения «правил газовой технической инспекции». Когда в этом доме произошел несчастный случай с тяжелыми последствиями, Ермолаев, пытаясь всякими не-

правдами взвалить вину «с больной головы на здоровую», обвинил домоуправа и пожарную охрану.

А когда дело дошло до суда, прокурор поручил техническую экспертизу служащему Ермолаеву, инженеру Амплиеву, «общественному техническому инспектору» профессионального союза. Амплиев был также главой комиссии охраны труда обкома профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности. Он не раз выступал против тех, «кто грубо нарушал правила охраны труда и техники безопасности». На суде Амплиев «честно назвал виновников», и народный суд осудил инспектора Колосова и инженера Касьянова, а **главный виновник**, начальник управления Ермолаев, получил лишь выговор от Грозненского горкома партии.

После этого заседания горкома партии Ермолаев вызвал инженера Амплиева и в присутствии секретаря парткома тов. Байбус и председателя месткома тов. Гончаренко, заявил ему: — «Эта твоя общественная должность у меня уже в печенках сидит. Хочешь работать, кончай с профсоюзом!» Когда Амплиев возмутился и хотел уйти, председатель месткома задержал его, сказав: — «Зря критикуешь начальника. Одно ведь дело делаешь». Амплиев спросил: «Недостатки прикрывать?» И получил стереотипный ответ: «Заметил что — поговори в своем кругу. Зачем же в обком или в совпроф идти?» Затем инженер Амплиев тут же получил от секретаря парткома точно такой же приказ, как вышеупомянутый инженер Шишков получил от секретаря своего парткома, а именно: **«Проси извинения у начальника за оскорбление и клевету. Не угомонишься, пожалеешь»**. А когда Амплиев отказался, секретарь парткома Байбус осуществил угрозу и Амплиева, в его отсутствие, **исключили из партии**. «Люди эти», сообщает «Труд», «не стеснялись в выборе средств, чтобы оклеветать человека».

Всё это так потрясло Амплиева, что он заболел. Раньше его часто награждали почетной грамотой как квалифицированного, опытного специалиста. Вскоре больной инженер Амплиев получил приказ об увольнении с работы. Главный инспектор областного совета профсоюзов попытался разъяснить начальнику Ермолаеву, что увольнять работника во время болезни запрещено законом. Но тот и слушать не стал, и **этим вмешательство совпрофа и ограничилось**. Амплиев обратился к прокурору, который опротестовал незаконный приказ. Ермолаев подчинился, но через несколько дней вновь уволил больного Амплиева. («Труд», 1 сентября 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

На какую беззащитность и на какие унижения казенные профсоюзы обрекают трудящихся, видно из жалоб рабочих «Химстроя» в Коммунарске, Луганской области. Например, когда рабочий Н. В. Кошель, который возглавлял бригаду коммунистического труда несколько лет и фотография которого красовалась на доске почета, забежал в столовую за папиросами, он наткнулся на пьяного начальника управления Мироненко, который потребовал, чтобы Кошель пошел за водкой. Когда Кошель отказался, заявив, что и начальнику не следует пить в рабочее время, Мироненко отдал приказ о расформировании бригады Кошеля и начал мстить рабочим бригады. Кошель пошел «с острой болью в сердце» к руководителю профсоюзной организации, чтобы «выложить ему всё, что наболело на душе». Но чем ближе он подходил к заводу, «тем меньше оставалось надежды на восстановление справедливости». И, действительно, выслушав рабочего Кошеля, руководитель профсоюзной организации **«беспомощно развел руками и заявил: ‘Ничего сделать не могу’.**»

Вскоре рабочие бригады Кошеля написали коллективное письмо в Луганский областной совет профсоюзов «о беспорядках в управлении и беззаконии начальства». Для расследования приехал инструктор облсовпрофа тов. Синюшин, который **«ни с кем, кроме начальника, не поговорил»** и уехал в Луганск. После этого начальник Мироненко угрожающе заявил рабочим из бригады Кошеля: **«Жаловаться вздумали? .. Ну погодите, я вам отобью охоту!»** С тех пор начались ничем не прикрытые гонения на рабочих бригады Кошеля «вплоть до того, что **им стали явно незаконно срезать заработки**». Когда рабочие решили проверить расценки, то оказалось, что в наряды не включен целый ряд работ, которые они выполнили, в то время как, по указанию начальника Мироненко, была вписана заработная плата на некоего Слынько, человека, которого рабочие и в глаза не видели. В другой раз, после выполнения тяжелой и опасной работы, **«с каждого рабочего удержали по 60 рублей под видом якобы пересмотра расценок**». Произвол в снижении расценок и заработка дошел до того, что, по выражению главного бухгалтера треста И. Соловьева: «там сам черт не разберет. . . В прошлом году руководители «Химстроя» перерасходовали фонд заработной платы на 80 тысяч рублей. Ясно одно, что в управлении допускаются приписки». Таким образом начальник управления Мироненко ухитрился снижать рабочим зарплату и перерасходовать фонд зарплаты. И это с ведома

главного бухгалтера треста и управляющего треста И. И. Ковалю.

В письме в редакцию от имени бригады Кошеля «о вопиющих беспорядках в «Химстрое», о «самоуправстве начальника», о «приписках к нарядам и других безобразиях» рабочий Виктор Приймак сообщил между прочим: «Начальство наше во главе с тов. Мироненко распивает водку совершенно открыто, в рабочее время, особенно в пусковые периоды, когда получают премии за досрочное окончание работ. Они пьянствуют, а нам, рабочим, месяца два-три приходится 'достраивать' наспех сданные объекты, устранять недоделки... Самоуправство начальника управления дошло до того, что он, что хочет, то и творит. А когда мы осмелились написать письмо в облсовпроф, Мироненко стал нам мстить».

Никто не заступился за рабочих, жаловавшихся на «безобразия» начальника Мироненко, ни руководители треста «Коммунарскстрой», ни горком партии, ни областной совет профсоюзов! Неудивительно, что спец. корреспондент «Труда», проверивший жалобы рабочих «Химстроя», пришел к заключению, что Мироненке «всё нипочем». («Труд», 18 февраля 1962 г.).

Иные советские работодатели стараются всячески увеличить зарплату, расхваливая трудовые достижения рабочих. Так, например, при постройке Тюменского хлебозавода Н. А. Замятин, начальник стройучастка, подробно докладывал своему начальнику о бригаде бетонщиков, состоявшей «сплошь из одних орлов». Он получал похвалы от своего начальника и премии для отличных бетонщиков. Главный бухгалтер подписывал ведомости, и Замятин весьма гордился своими бетонщиками. После довольно длительного периода выяснилось, что бригада бетонщиков есть лишь миф, созданный самим Замятиным. И «вместо рабочих деньги получает сам творец несуществующей бригады!» («Труд», 30 сентября 1962 г.).

В советской пьесе «Хозяева жизни» Ю. Чепурин вывел «хозяйчиков» типа «удельных князьков». Но воображению драматурга не угнаться за действительным удельным князьком А. Ф. Галкиным, директором Богдинской научно-исследовательской агролесомелиоративной станции. Станция эта расположена в поселке вблизи Астрахани. Подъехав на машине ночью к юрте рабочего Шайкули Мукалиева, директор станции Галкин «кратко бросил: — водки!». Распив поллитра сорокаградусной, директор на рассвете потребовал еще. У рабочего водки больше не оказалось. Директор вспомнил, что родственник Мукалиева живет в пятидесяти километрах от

юрты, и приказал: «Едем, там наверняка есть водка. — Время неподходящее и овец выгонять надо, — попытался было возразить Мукалиев. — **Директору перечить? Да я тебя в бараний рог согну!** — завопил Галкин». Пришлось рабочему покориться и поехать. Его родственник, старик, «не смог отказать высокому начальству, бросился на поиски водки». Галкин выпил водку и свалился замертво. Очнулся директор лишь в полдень. На следующий день рабочий Мукалиев сообщил профсоюзному комитету о ночных похождениях директора, за которым и раньше водился этот грех. Поведение Галкина обсудили на общем собрании, и он признал свою вину. Но «душа его жаждала мести», и вскоре он уволил Мукалиева, даже не уведомив профсоюзный комитет. Комиссия по трудовым спорам признала увольнение незаконным. Но директор стоял на своем. Прокурор отверг обвинение против Мукалиева. Но и после этого директор не восстановил Мукалиева на работе. Более того, он не выполнил и двух постановлений народного суда об отмене незаконного увольнения рабочего Мукалиева.

Обследовав жалобу Мукалиева и других рабочих, спецкор. «Труда» сообщил: — «Галкин грубо нарушает трудовое законодательство. За последние три месяца он уволил пять человек, не получив согласия профсоюзного комитета. Директор по своему желанию изменяет режим рабочего дня, заставляет людей трудиться сверхурочно... Неоднократно активисты обращались в обком профсоюза, в облсовпроф, но так и не добились результата. Почему? Председатель обкома профсоюза тов. Сидельников и председатель совпрофа считают, **что во всем виноваты сами рабочие. Они якобы сводят счеты с хорошим директором.** («Труд», 23 февраля 1962 г., курсив наш, Ю. Г.).

Так ничинно действуют председатели обкома профсоюза и совпрофа. Но нет недостатка в «удельных князьках» и в колхозах. Так, например, И. Д. Козаченко, председатель колхоза имени Кирова в Волынской области, «срезал» 5 трудодней и 5 килограммов сахара у колхозницы Анастасии Тарасюк только за то, что она не вышла на работу, когда был болен ее ребенок. Когда она представила справку из яслей, председатель, отшвырнув справку, заявил: «Мне нет дела, что твой ребенок болен».

Во время тяжелых родов другой колхозницы, которую надо было срочно отвезти в больницу, фельдшер Стельмашук попросил машину, на которой приехал председатель Козаченко. Но он наотрез отказался дать машину, и когда фельдшер

сказал: «Я буду звонить в райком партии», Козаченко ответил: — «Звони хоть в обком и убирайся, иначе вышвырну тебя не только отсюда, но и из Шельвова». При этой грубой угрозе молча присутствовали председатель сельсовета и секретарь парторганизации колхоза. Убедившись после звонка в райцентр, что единственная машина «скорой помощи» уехала в другой конец района и не скоро вернется, фельдшер, ввиду опасного состояния роженицы, пошел вторично к председателю колхоза просить машину. Он застал его в конторе бригады, в обществе бригадира, председателя сельсовета, секретаря парторганизации, агронома колхоза и бухгалтера. И едва фельдшер Стельмашук заикнулся о машине, как на него посыпались грубые ругательства. «И ни председатель сельсовета, ни секретарь парторганизации, никто из присутствовавших при грубых угрозах фельдшеру не заступился ни за здоровье колхозницы, ни за фельдшера, трепетавшего за ее жизнь. Более того, председатель колхоза поспешил уехать домой на той самой машине, которую фельдшер просил для спасения роженицы. Фельдшеру оставалось одно: ждать 'скорую помощь' из райцентра. Она пришла только в 11 часов вечера».

Возмущенный фельдшер написал обо всем случившемся в редакцию «Правды». Проверив его жалобу, специальный корреспондент «Правды» сообщил, что **«черствое, бездушное а, точнее, хамское отношение к людям»** председателя колхоза Козаченко в тот день не было единичным эпизодом. Укрепив трудовую дисциплину в колхозе, Козаченко решил, **что ему всё нипочем**, незачем ни с кем и ни с чем считаться. Требовательность сменилась грубостью». Более того, корреспондент пришел к следующему выводу: «Быть может, по-иному относился бы к людям председатель, если бы его вовремя поправили товарищи по работе — секретарь партийной организации Пархомчук, председатель сельсовета Гурский и другие. **Но они целиком подчинились воле Козаченко и молчат. Партийная совесть не заговорила в них в тот момент, когда речь шла о спасении жизни человека.**» («Правда», 9 сентября 1962 г., курсив наш, Ю. Г.). Опять-таки, благодаря круговой поруке коммунистов, работодателю «всё нипочем», ему не надо ни с кем и ни с чем считаться.

Самодержавие работодателей на заводах и в шахтах всё больше олицетворяется «опасными самодурами», и жалобы рабочих на этот произвол принимают жуткий характер. В особенности жалобы на незаконные увольнения и мольбы беззащитных рабочих не лишать их куска хлеба отражают страх

безработицы. Так, например, И. К. Сидоров, начальник шахты номер 1 комбината «Сланцы», незаконно уволил электрослесаря Ракова, проводшего четыре месяца в больнице из-за несчастного случая во время отпуска. Раков был «передовым» рабочим, лучшим рационализатором комбината. Когда Раков взмолился, что у него семья и ему необходима работа, начальник Сидоров отрезал: «Ты уволен». Когда помощник Сидорова напомнил ему, что Раков мастер на все руки и что его должность электрослесаря не занята, **«зарвавшийся вельможа»** обрвал своего помощника, заявив: «Сам знаю, что делать, не будет Раков работать на шахте». Раков обратился в шахтком, но там **«испугались крутого нрава Сидорова и не взяли Ракова под защиту»**.

Сидоров **самовольно** удлинил на шахте рабочий день. План был выполнен, и начальники комбината похвалили Сидорова. С тех пор «начальник шахты **совсем распоясался**», и начал отменять выходные дни. Более того, рабочие, отдавшие шахте много лет труда, **«оказались в подчинении самодура, попирающего их человеческое достоинство»**. За десять месяцев этот **«громовеержец»** подверг административным взысканиям **252 человека, почти четвертую часть работающих на шахте. Он не жалел никого, чтобы отличиться перед начальством. Он предал забвению «нормы и правила охраны труда и технику безопасности в лавах и забоях»**.

Несмотря на то, что тов. В. И. Шувалов, начальник комбината «Сланцы», признал, что в жалобах шахтеров в письме в «Труд» «что ни слово, то правда», он заявил, что не так просто снять Сидорова, ибо «начальник шахты — номенклатура совнархоза». И за это «мягкосердечие» начальника комбината Шувалова пришлось расплачиваться шахтерам, когда обвалилась кровля, потому что Сидоров прибег к самым грубым нарушениям правил горного надзора, «игнорируя элементарные технические требования». Но несмотря на общее возмущение, вызванное несчастным случаем, виновник его, начальник Сидоров, не был наказан.

Президиум Ленинградского обкома профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности отнесся к авариям на шахте «так же формально», как и начальники комбината. В постановлении президиума от 10-го мая 1962 г. обком профсоюза просил отдел труда наложить штраф на директора комбината «Сланцы» тов. Шувалова и главного инженера тов. Ширенко за то, что «они не создали безопасные условия труда, **в результате чего на комбинате продолжают иметь место**

несчастные случаи». Но никто не был наказан, потому что обком профсоюза принял это постановление несколько месяцев после несчастного случая, упустив так называемый «срок исковой давности». На вопрос, почему обком профсоюза, упустив «срок исковой давности», вообще принял это постановление, председатель обкома профсоюза тов. Шишов ответил: «С нас тогда могли бы спросить». («Труд», 5 января 1963 г.).

Из-за такой беззащитности жалующихся партийных рабочих (это надо подчеркнуть!) неудивительно, что массы беспартийных молча страдают от «беззакония» и «самодурства» начальников, которым «всё нипочем» и «всё дозволено».

Бремя своей политики «пушек вместо масла» советское правительство обрушивает главным образом на рабочие массы. И тоталитарный произвол директоров, распоряжающихся рабочими как «пушечным мясом» для перевыполнения плана, не обуздывается, конечно, «бесхребетными» руководителями профсоюзов, идущими на поводу у этих же хозяйственников.

Юдифь Гринфельд

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Изучение советского права весьма назидательно. Оно позволяет раскрыть подлинную сущность ряда институтов, которыми прикрывается партийная власть, как то — выборы, профсоюзы, демократия. Общепринято утверждать, что, скажем, советские выборы — сплошная комедия, или что советские профсоюзы никакие не профсоюзы. На это с советской стороны отвечают, что только коммунистические выборы достойны этого названия, поскольку только в странах народной демократии упразднены классы и народ может выбирать своих «единых» народных депутатов, что только коммунистические профсоюзы — подлинные профсоюзы, поскольку в трудовом государстве они объединяют всех трудящихся и пользуются соответствующими правами и т. д. Подобные споры бесплодны, поелику стороны, как правило, оперируют разными критериями. Гораздо интереснее проанализировать подобные институты при помощи советских же критериев. Результаты бывают самые неожиданные.

Возьмем, например, вопрос о правовой природе коллективного договора в СССР. Нам представляется, что гораздо интересней дать относительно полный анализ такого ограниченного института, чем пытаться объять необъятное какой-нибудь «советской демократии» или «социалистической законности». Интересней потому, что в таком малом примере отражается весь механизм советского права.

Напомним, что на Западе коллективный договор (collective agreement, contrat collectif, Tarifvertrag), это — соглашение, заключаемое между профсоюзами и работодателями относительно условий труда. В Советском Союзе так же существует институт, именуемый коллективным договором, колдоговором. Он заключается в начале каждого года на предприятии. Что же представляет из себя этот документ?

Стороны колдоговора

Уже в этом, казалось бы, элементарном вопросе начинается неразбериха. Согласно ст. 4 проекта Основ законодательства о труде¹ «Коллективный договор заключается фабричным, заводским, местным комитетом профессионального союза от имени коллектива рабочих и служащих с администрацией предприятия».

В уставе профсоюзов² говорится просто, что коллективный договор заключается профсоюзным комитетом с администрацией предприятия. Без всяких «от имени коллектива рабочих и служащих». Следует отметить, что оба эти текста — и устав и проект Основ — были опубликованы в том же 1959 году.

В своем труде «Коллективный договор» профессор Пашерстник, который считался авторитетом в этой области, пишет, что второй стороной коллективного договора является само предприятие, а не его администрация. Администрация — лишь орган юридического лица.³ Со своей стороны другой известный автор, Догадов, утверждает, что директор, а не предприятие является стороной колдоговора.⁴

Эта путаница происходит из-за того, что правовая природа советского коллективного договора не была достаточно уточнена. Действительно, если рассматривать этот институт как настоящий договор, то его контрагентами бесспорно являются с одной стороны — профсоюзный комитет, с другой стороны — предприятие. Коллектив рабочих и служащих не юридическое лицо и следовательно не может быть стороной договора. Что же касается другой стороны, то имущественную ответственность по коллективному договору несет предприятие, а не его директор, и если этот последний смещается, колдоговор тем не менее остается в силе.

И невольно возникает вопрос, а является ли изучаемый нами институт подлинным договором? На это мы ответим в конце нашего анализа. Если мы имеем дело не с договором, а с каким-то иным юридическим актом, то нет смысла искать

¹ Советские профсоюзы, 1959, № 19.

² Труд, 2 апреля 1959.

³ А. Пашерстник, Коллективный договор, Москва, 1951, стр. 56.

⁴ В. Догадов, «К вопросу о субъектах советского коллективного договора и его правовой силе», Известия Академии Наук СССР, Отделение экономики и права, 1950, № 3.

«сторон договора». В таком случае достаточно установить, от кого же исходит этот акт. Исходит он от профсоюзного комитета предприятия и его директора.

Заключение коллективного договора

В начале каждого года советское предприятие получает от вышестоящего органа — как правило, от совнархоза — свой очередной план. Администрация начинает устанавливать порядок выполнения этого плана. Совместно с профсоюзным комитетом она разрабатывает проект нового коллективного договора. Проводится так называемая «колдоговорная кампания». Во время этой кампании рабочие должны критиковать выполнение прошлогоднего коллективного договора, проект нового и представлять свои предложения. Затем проект обсуждается на общем собрании рабочих и служащих. Администрация и профсоюзный комитет могут включить в него некоторые из поступивших предложений. После чего директор предприятия и председатель комитета подписывают этот документ.

Коллективный договор должен быть зарегистрирован. Регистрация производится органом, которому подчинено предприятие (как правило, совнархозом) и соответствующим профсоюзным органом (обычно совпрофом).⁵ Эти органы обязаны проверить представляемый им текст и исправить положения, противоречащие законодательству и плановым показателям.⁶ На деле они иногда полностью изменяют коллективный договор.⁷ После регистрации колдоговор получает юридическую силу.⁸

В случае если профсоюзный комитет и администрация предприятия не смогли достичь соглашения по каким-то пунктам коллективного договора, их разногласия «рассматриваются при регистрации... и решения по ним оформляются в отдельном протоколе».⁹ Интересно отметить, что советское пра-

⁵ См. Постановление президиума ВЦСПС от 1 февраля 1958. Бюллетень ВЦСПС, 1958, № 4.

⁶ Там же.

⁷ См. любопытный пример в Труде от 2 февраля 1949.

⁸ Трудовое право — Энциклопедический словарь, Москва, 1959, стр. 368.

⁹ См. примеч. 6.

во не предусматривает даже возможности того, что конфликт может остаться неразрешенным. Ведь разрешение конфликта поручено органам, которые в принципе представляют интересы двух разных сторон: государства и профсоюза. И тем не менее всегда находится решение, потому что у них есть суперарбитр — КПСС.

Можно ли после всего этого говорить, как это делают советские источники, о «заключении» коллективного договора. Ведь регистрационные органы могут изменить представленный им текст, в случае конфликта могут навязать сторонам свое решение и, наконец, только регистрация сообщает колдоговору юридическую силу.

Содержание коллективного договора

По своему содержанию советский колдоговор коренным образом отличается от коллективных договоров на Западе. В этом, собственно, нет ничего удивительного. На Западе этот документ определяет условия труда в данной отрасли экономики. В Советском Союзе условия труда определяются государством. Следовательно и содержание коллективного договора будет иным. «Коллективный договор является тем инструментом, при помощи которого профсоюзные организации могут и должны добиться ликвидации всех производственных неполадок, полного использования имеющихся резервов, дальнейшего роста производительности труда, выполнения количественных и качественных показателей производственных планов».¹⁰

Вот в чем суть советского коллективного договора, он должен дать возможность выполнить показатели плана. Поэтому-то он и «заключается» в начале каждого года, после того как предприятие получило свой годовой план. Коллективный договор это — программа работы предприятия на целый год.¹¹ Он охватывает большинство сторон этой работы и содержит обычно следующие главы: Выполнение плана, Оплата труда, Подготовка кадров, Трудовая дисциплина, Охрана труда, Жилищно-бытовые условия, Рабочее снабжение и общественное питание, Культурное обслуживание.

¹⁰ А. Карсаков, Коллективный договор на предприятии, Москва, 1953, стр. 64.

¹¹ Труд, 31 марта 1961.

Кроме того колдоговор содержит, как правило, ряд приложений — расписаний работ, которые должны быть проведены на предприятии в течение данного года.

Большинство пунктов советского коллективного договора составлены в форме обязательств администрации предприятия, профсоюзного комитета или их совместных обязательств. Некоторые из них носят чисто декларативный характер, другие воспроизводят отдельные положения закона или же плана. Но большинство статей устанавливают либо определенные правила, либо обязательства в юридическом смысле этого слова. Советские авторы соответственно различают в колдоговоре нормативную и обязательственную части.¹²

На Западе обязательственная часть устанавливает взаимные обязательства сторон. Стороны обязуются, например, учредить паритетную комиссию для разрешения возможных конфликтов, платить уговоренные штрафы и т. д. Как правило в западных договорах эта часть занимает весьма второстепенное место, она включается в них только для того, чтобы обеспечить выполнение основной — нормативной части, в которой определяются условия труда.

В советских коллективных договорах обязательственная часть занимает, наоборот, главное место. Каждый колдоговор начинается с обязательств администрации предприятия и профсоюзного комитета относящихся к выполнению плана. В следующих главах закреплены обязательства, касающиеся почти всех сторон работы предприятия.

Нормативная часть советского коллективного договора, как мы уже сказали, значительно отличается от соответствующей части договоров на Западе. В Советском Союзе условия труда устанавливаются государством. Поэтому в колдоговоре почти не бывает новых правил. В лучшем случае стороны уточняют в нем некоторые государственные нормы применительно к условиям данного предприятия.

Наконец советский коллективный договор содержит еще, как правило, обязательство рабочих и служащих добросовестно относиться к своей работе.

¹² Н. Александров, Советское трудовое право, Москва, 1959, стр. 147 и сл.

Действие, санкции, выполнение

Как мы уже сказали, советский колдоговор содержит ряд пунктов чисто декларативного характера. Остается проанализировать юридическое действие остальных положений и применимые в случае их нарушения санкции.

Догадов пишет относительно обязательств администрации: — «В действительности ответственность по коллективно-договорным обязательствам несет не предприятие как таковое, а руководитель предприятия, причем эту ответственность он несет не перед «контрагентом», а перед государством».¹³

Здесь возникает интересный вопрос. Коллективный договор заключается с профсоюзным комитетом, почему же тогда директор несет ответственность не перед ним, а перед государством? Тот же Догадов заявляет: — «Руководитель предприятия — должностное лицо. На нем лежит правовая обязанность — руководить предприятием так, чтобы обеспечить выполнение и перевыполнение хозяйственного плана. Коллективный договор, конкретизируя эту общую — правовую обязанность, налагает на руководителя предприятия ряд конкретных обязательств, направленных на выполнение и перевыполнение плана (обязательств провести такие-то и такие-то мероприятия). И понятно, что невыполнение этих обязательств может повлечь за собой наступление правовых последствий (правовой ответственности)... Руководитель предприятия за невыполнение своих коллективнодоговорных обязанностей может быть привлечен вышестоящим органом к дисциплинарной ответственности с наложением того или иного дисциплинарного взыскания (вплоть до увольнения от должности)».¹⁴

Об обязательствах профсоюзного комитета Догадов пишет: — «Коллективно-договорные обязательства фабрично-заводского комитета носят чисто общественный, морально-политический характер... Невыполнение фабрично-заводским комитетом возложенных на него коллективным договором обязанностей не может вызвать применение каких-либо правовых санкций. В частности не может быть речи о какой-либо иму-

¹³ См. примеч. 5.

¹⁴ Там же.

щественной ответственности профсоюзов за нарушение коллективных договоров».¹⁵

Действительно, согласно Кодексу законов о труде РСФСР, (ст. 20) «профессиональные союзы не несут имущественной ответственности по коллективным договорам».

То же самое относится к обязательствам рабочих и служащих.¹⁶

Следовательно в обязательственной части коллективного договора только обязательства директора носят юридический характер. И ответственность по ним он несет не перед своим контрагентом — профсоюзным комитетом, а перед государством.

Что же касается нормативной части, то тут у рабочих есть хотя бы теоретическая возможность защитить свои права. Указом Президиума Верховного совета СССР от 31 января 1957 года утверждено положение о порядке рассмотрения трудовых споров, которое распространяется и на нарушения нормативной части коллективного договора. Согласно этому положению рабочий, несогласный с каким-либо решением администрации предприятия, в данном случае — с ее толкованием содержащихся в колдоговоре правил, должен обратиться в комиссию по трудовым спорам. Это — паритетная комиссия, состоящая из равного числа представителей администрации предприятия и профсоюзного комитета, которая может принимать решения только по соглашению сторон. Если стороны не могут придти к соглашению, или если рабочий недоволен решением комиссии, он может обратиться в следующую инстанцию — в профсоюзный комитет. Это довольно любопытная процедура, поскольку — после попытки добиться по спорному вопросу соглашения — одной из сторон внезапно предоставляется возможность разрешить его самостоятельно. Такая система возможна лишь потому, что в Советском Союзе профсоюзы, по сути дела, не независимые рабочие организации, а органы государства. Наконец, если рабочий недоволен решением профкома, или если администрация предприятия считает, что было нарушено трудовое законодательство, они могут обжаловать его в народный суд.

Как мы уже сказали, эта процедура дает рабочему возможность защитить свои права. Но беда в том, что прав то

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же. См. также Трудовое право — Энциклопедический словарь, Москва, 1959, стр. 188.

вытекающих из колдоговора у него почти нет. Ведь нормативным положениям отведена лишь незначительная часть этого документа и в них почти не содержится новых правил. Таким образом получается парадокс: в отношении обязательственной части коллективного договора, в которой содержатся основные положения, рабочие лишены всякой защиты, а для нормативной части, в которой фактически ничего нет, предусмотрена система с тремя инстанциями.

Это приводит к тому, что коллективные договоры в Советском Союзе выполняются очень плохо.¹⁷ Годами в коллективный договор записываются те же обязательства, невыполнение которых вошло в привычку. Для них даже есть особое название, их называют «кочевые обязательства».

Правовая природа советского коллективного договора

Что же представляет собой, с правовой точки зрения, советский коллективный договор? Является ли он, во-первых, юридическим актом? И да, и нет. Как мы сказали, в советском колдоговоре содержится целый ряд чисто декларативных положений. Кроме того обязательства профсоюзного комитета и рабочих лишены всякой юридической силы. Следовательно в этой части советский коллективный договор вообще не является юридическим актом. Остаются обязательства предприятия, наделенные правовой силой. Говорить о правовой природе колдоговора можно только в отношении последних.

Является ли советский коллективный договор подлинным договором? На этот вопрос можно ответить только отрицательно. Советское право определяет договор как взаимную сделку.¹⁸ А в колдоговоре нет взаимных обязательств: по обязательствам предприятия директор несет ответственность не перед контрагентом, а перед государством; обязательства профкома и рабочих лишены юридической силы.

Напрашивается еще один вопрос: следует ли отнести изучаемый институт к частному или публичному праву? Теоретически деление права на публичное и частное в Советском Союзе упразднено. Но практически оно остается в силе, по-

¹⁷ Желающих подробнее ознакомиться с этим вопросом мы отсылаем к нашей работе: Т. Troyanov, *De la nature juridique du contrat collectif en URSS*, Lausanne, 1963.

¹⁸ См., например, Гражданский кодекс РСФСР, ст. 26 и Юридический словарь, Москва, 1956, т. 2, стр. 366.

скольку в СССР сохранились классические формы права. Советский коллективный договор исходит от государственных органов (директор предприятия, профсоюз, совнархоз — государственные органы). Он определяет обязательства директора перед государством относительно выполнения государственного плана. В случае невыполнения этих обязательств государство может наложить на него дисциплинарные взыскания. Все это указывает на то, что коллективный договор практически следует отнести к публичному праву.

В начале каждого года коллективный договор «заключается» на соответствующий период — один год. Как мы видели, этот документ содержит в основном обязательства относительно выполнения плана, конкретизирует его выполнение в рамках предприятия. Советские источники называют его «оружием в напряженной борьбе за выполнение и перевыполнение грандиозного хозяйственного плана».¹⁹

Какова же правовая природа этого института? Мы установили, во-первых, что это не договор, во-вторых, что его следует отнести к публичному праву. Советский колдоговор исходит от административных органов. Это — административный акт, распоряжение о порядке выполнения плана предприятия.

Зачем же советы камуфлируют этот акт под видом коллективного договора? Ведь между этими двумя институтами ровно нет ничего общего. Но в Советском Союзе это — далеко не единичный случай подобной маскировки. Так, назначение членов различных советов выдается за выборы, издание законов проводится под видом их голосования и т. д.

Зачем же, спрашивается, коммунисты к этому прибегают? Не проще ли было бы называть вещи своими именами? Видимо две причины толкают их на это. С одной стороны они как будто считают, и не без некоторого основания, что население легче проглатывает пилюли с подобной позолотой. А с другой стороны они пытаются — и опять таки небезуспешно — ввести таким образом в заблуждение западное общественное мнение.

Т. Троянов

¹⁹ См. примеч. 5.

НОВОЕ В АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКЕ

В настоящее время, все труднее точно определить взаимоотношения между церковью и государством в СССР. Прошло время, когда эти отношения укладывались в формулу: компромисс между двумя сторонами, из коих каждая компромиссом недовольна, но идет на него, потому что лучшего для себя в данный момент добиться не может. Государство сохранило за собою право антирелигиозной пропаганды, не давая церкви права пропаганды религиозной. Государство сохранило за собою монополию народного образования и устранило церковь от всякого в нем участия, за исключением подготовки священников. А церковь получила как-бы молчаливое признание своего права на бытие и известный иммунитет против вторжения местных властей. Но сейчас эти компромиссные положения уже не действительны. За последние годы, начиная с 1961-го, из СССР всё больше доходит до нас вестей о прямых гонениях на церковь, об оскорблении священнослужителей, об арестах верующих, о разгроме церковных учреждений и т. д. А в советской печати всё чаще встречаются недостойные выпады против иерархов и верующих.

Однако, неверно было бы понимать нынешнее положение вещей просто как новую атаку государства на церковь с целью силой искоренить религию, которой по словам 22-го съезда коммунистической партии, нет места в будущем коммунистическом обществе. Однако, у власти есть все основания не идти всё-таки на пролом, не уничтожать церковь и ее учреждения без оглядки; дело в том, что церковь оказывается чрезвычайно полезной во внешних отношениях Советского Союза с Западом. Еще недавно, во время приезда в Москву высокопоставленных американских и британских гостей для подписания пакта о прекращении ядерных испытаний, американские делегаты посетили Троице-Сергиевскую Лавру и удивлялись ее великолепию, ее оборудованию, обилию там народа и т. д. Это полезно для партийной власти, и это ей надлежит сохранить, несмотря на желательность полного искоренения религии. Казалось бы, такие цели несовместимы? Удастся ли советской власти найти какой-то новый компромисс? Трудно сказать.

Во всяком случае нынешнее положение определяется следующими фактами:

Во-первых, несомненно имеют место случаи грубого вторжения местных властей в деятельность церкви и ее учреждений. Наиболее серьезным фактом является разгром знаменитой Почаевской Лавры на Волыни, куда ежегодно стекались тысячи, если не десятки тысяч паломников с Волыни, из ближайших к ней частей Советского Союза и из более отдаленных районов. Заграницу проникло письмо, написанное, повидимому, группой верующих, живущих неподалеку от Почаевской Лавры. Копия с него была доставлена арх. Иоанном Сан-Франциским во всемирный совет церквей. В этом письме действия властей описываются так. Периодически, чем дальше, тем чаще, в Лавру врываются представители МГБ, хватают некоторых монахов и увозят, чаще всего в госпитали, где их признают или сумасшедшими или заразно больными, что устраняет для них возможность вернуться в Лавру. С другой стороны, верующим становится всё труднее пробираться в Почаевскую Лавру: транспортным учреждениям (они все правительственные) строго запрещено перевозить паломников. Как их отличают от других пассажиров, неизвестно; но паломников безжалостно скидывают с автобусов. Иногда арестовывают и ведут в милицию. Иногда просто бросают в лесах, которыми обильна Волынь; что с ними делается дальше, мы не знаем, но местным жителям воспрещено принимать паломников. Виновных в оказании им убежища привлекают к ответственности, наказывают, часто выселяют из района Почаевской Лавры. Так что и местному населению становится всё труднее оказывать содействие этим верующим. Число монахов в Почаевской Лавре сильно сократилось, повидимому со 140 до гонений до 36 по последним сведениям; но и эти сведения уже не совсем новы, может-быть сейчас их и еще меньше. И возможно, что недалек день, когда советская власть заявит, что Почаевская Лавра закрыта, из-за отсутствия в ней монахов.

Другой случай произошел в Молдавской республике. Там подвергся разгрому Хировский женский монастырь. Об этом известно только из советской печати. Версия эта чрезвычайно неправдоподобна. По ней молодые монахини, которых много в этом монастыре, будто бы завидовали колхозницам соседних деревень, «прислушивались к их песням, которые доносились к ним издалека» и каким-то образом перехватывали радиопередачи с светскими песнями. Это вызывало «страшное негодование» аскетической игуменьи, которая начала подвергать

монахинь всяким наказаниям, вплоть до избиения. А кончилось дело, конечно, тем, что какая-то «группа молодых монахинь» написала письмо в сельский совет, прося закрыть монастырь и освободить из плена все молодые существа, завлеченные туда всякими ложными обещаниями. Сельский совет, конечно, охотно внял этому письму; в монастырь были направлены представители власти, которые забрали всех монахинь, вывезли их из здания монастыря, разместили работоспособных по колхозам, а старых... об этом ничего не сообщается. Такова история разгрома Хировского женского монастыря по официальной советской версии.

За последнее время и из многих других местностей доходили сведения о закрытии церквей, это касалось преимущественно западных частей Советского Союза, которые попали под советскую власть в результате второй мировой войны. В этой части, до 1939 года принадлежавшей Польше, положение церкви было несравненно лучше, чем в Советском Союзе. И сеть церквей была здесь гораздо гуще, нежели в старосоветских областях. Недавно, в советской печати было сообщено, что в Тернопольской епархии (В. Галиция) действуют свыше 770 церквей. Если бы эта цифра была средней по всем епархиям, то получилось бы, что в Советском Союзе существует около пятидесяти тысяч открытых церквей; но даже по самым оптимистическим сведениям, их на самом деле не больше двадцати двух тысяч. Повидимому власть решила «освободить» этот западный край от «излишка» религиозных возможностей.

Во-вторых, советская печать сейчас не стесняясь систематически обвиняет иерархов православной церкви в самых неблагоприятных поступках; например, епископа Омского Венедикта обвинили в том, что он расхищает церковные деньги.

В-третьих, продолжается процесс закрытия духовных семинарий. Их немного — всего 8 — было открыто после перехода власти с позиции отрицания существования церкви на позицию компромисса. Из них три были недавно закрыты, оставалось пять; но, повидимому, две в ближайшее время будут закрыты; одна из них находится недалеко от Минска в Жировицком монастыре, а другая — в Одессе. В Киеве семинария никогда так и не была открыта. И теперь в советской печати появляются глумливые статьи по поводу этих подлежащих закрытию семинарий; указывают, что в Минской семинарии всего семь студентов и чуть ли не 30 преподавателей и столько же служебного персонала, что это стоит государству очень

больших денег. Было бы вернее сказать не государству, а церкви, ибо церковь собирает эти деньги с верующих. Местное население будто бы ненавидит молодых семинаристов и ждет не дождется, когда же эта семинария будет закрыта. И это время, вероятно, действительно недалеко, потому что при семи студентах содержать семинарию, конечно, невозможно.

Недавно было закрыто учреждение, игравшее большую роль в пополнении рядов духовенства, а именно факультет заочного преподавания при Ленинградской духовной академии. Этот факультет закрыт и этим очень затруднено пополнение кадров церкви, ибо существующих семинарий, и в особенности академий, не хватает для пополнения естественно редящихся рядов духовенства. Всё это говорит о том, что государство хочет сохранить только некоторое число учреждений для духовного образования, вероятно, в Москве и Ленинграде, пополняя оттуда кадры духовенства в пределах, нужных власти в соответствии с ее новыми целями.

В четвертых, за последнее время, было несколько, так сказать, показательных процессов. Судились, не говоря уже о суде над сектантами, Свидетелями Иеговы и пятидесятниками, но и Евангелисты, близкие к Баптистам, которые до недавнего времени пользовались сравнительно привилегированным положением. Подсудимых всегда обвиняют в одном и том же: что они отравляют молодые души ядом религии, губят детей и т. д. Это, за последнее время, распространилось и на православных. Так, в районе Пскова был суд не официальный, а общественный, в порядке хрущевских учреждений недавних лет, которые лишают суд всякой формальной обстановки. На таком суде разбиралось дело родителей, которые «довели» своих детей до того, что они вышли из школьной пионерской организации, принуждались к посту, что их пугали какими-то темными силами и т. д.

Во многих случаях, лица, выразившие симпатию к церкви и желавшие поступить в духовные семинарии, присуждалось к разным наказаниям, что лишало их возможности дальнейшего образования. Так, одну молодую девушку, которая под конец десятилетки стала более небрежно относиться к занятиям «под влиянием церковников», как говорится в советских сообщениях, заставили в конце концов отказаться от многих ее намерений, но всё-таки не обратили в лоно коммунизма.

В пятых, за последние три года (начиная с 1961 г.) появляются сведения о возобновлении состязания между церковью

и безбожниками в Пасхальную ночь. На площадях перед большими церквями, как в былые времена опять ставятся эстрады, на которых около полуночи появляются какие-то кривляки пародирующие духовенство и совершаемые им обряды; иногда безбожники даже врываются в церкви и начинают там бесчинствовать. Их останавливает милиция, которая в Пасхальную ночь окружает многие церкви для воспрепятствования слишком большим бесчинствам. На такой случай в 1961 г. наткнулась в Киеве одна моя студентка-американка, которая с возмущением рассказывала о виденном и слышанном. Воистину, возвращается «ветер на круги своя»: подобные сцены были обычны в период огульного гонения на церковь.

Все сообщенные факты свидетельствуют о каком-то новом плане натиска на религию. Искоренению подлежит вера, как массовое явление. Как никак в Советском Союзе остались десятки миллионов верующих. Власть не препятствует сохранению нескольких «религиозных заповедников», в первую очередь, Троицко-Сергиевской Лавры и двух духовных академий, профессура которых может даже участвовать в разных международных конференциях. Может быть допущено также сохранение и некоторого числа соборов, в таких исторически связанных с религией центрах, как Новгород, Киев, Москва, Владимир и др.

Но постоянный приток людей новых поколений в крупные и мелкие религиозные центры власть хочет пресечь. Удастся ли ей осуществить этот новый план антирелигиозной политики? В этой сфере коммунистов неоднократно постигали крупные неудачи.

Н. С. Тимашев

БИБЛИОГРАФИЯ

THE SOCIOLOGY OF LUIGI STURZO, by *NICHOLAS S. TIMA-SHEFF*. Baltimore-Dublin; Helicon Press, 1962. 247 pp. \$5.95.

Если бы Луиджи Стурцо был жив он несомненно приветствовал бы книгу профессора Тимашева, как великолепное воспроизведение его эмпирической системы социологии. Я даже сомневаюсь в том, чтобы сам Стурцо мог представить свою систему лучше или так же хорошо, как это сделал Тимашев. Только ученый, внимательно изучивший не совсем систематичные труды Стурцо, кроме того, чувствующий умственную симпатию к его основным мыслям и вдобавок досконально знающий социологические теории нашего времени, смог проанализировать, оценить и сделать критический разбор идей Стурцо настолько глубоко и ясно, как это сделано в этой книге.

Прочитав эту книгу внимательно, читатель получает полное понимание эмпирической социологии Стурцо (освобожденной от сверхъестественных и теологических элементов). Она вводит социологов в социологию, отличную по существу от главных типов современной социологии. Для Стурцо, «конкретная социология» исходит из концепции человека, как свободного, «целеустремленного» и рационального существа, обусловленного частично внешними факторами. Книга предлагает классификацию первичных и вторичных групп, анализ основных социальных структур, и динамических и кинетических процессов; большого внимания заслуживает формулировка двух основных социологических законов — закона движения к рациональности и закона циклического движения социальных организаций от плюрализма, через двойственность, к единству, а также, пронизательное подчеркивание значения элемента времени в жизни общества и, в связи с этим, — исторического метода в социологии. Эти и некоторые другие теории выдающегося итальянского мыслителя и политического вождя заслуживают серьезного изучения со стороны современных социологов. Не менее значительны критические выпады Стурцо против чрезмерного эмпиризма, «позитивизма», «психоаналитического» и других течений социологической мысли нашего времени. Несмотря на кое-какие слабости (хорошо отмеченные Тимашевым) в системе Стурцо, она содержит

ряд значительных идей, совершенно пренебрегаемых теперешними социологами. Знакомство с этими мыслями несомненно расширит современный чересчур узкий кругозор социологических идей, монотонно повторяемых многими из наших коллег. В последней главе книги профессор Тимашев указывает место учений Стурцо в общем течении социологической мысли. За исключением некоторой переоценки вклада Стурцо в общую социологию, эта глава хорошо показывает основные сходства и расхождения взглядов Стурцо в сравнении с преобладающими социологическими теориями нашего времени.

*Питирим А. Сорокин,
Харвардский Университет*

RAPHAEL R. ABRAMOVITCH, THE SOVIET REVOLUTION, International Universities Press Inc. New York. 1962.

Книга недавно скончавшегося Р. А. Абрамовича «Советская революция» принадлежит к той категории работ о революции и советском режиме, в которой важно не столько ее содержание сколько то, как рассказанные в ней события воспринимались и лично автором и теми кругами, где он, в определенные периоды его жизни, был признанным руководителем.

Во время революции Р. А. Абрамович был одним из лидеров меньшевиков-интернационалистов. В эмиграции он был не только одним из руководителей эмигрантской группы меньшевиков, но также видным интерпретатором большевизма в кругах западных социалистов, в частности, немецких и французских. За свою долгую политическую жизнь автор был вынужден, под влиянием зигзагов большевизма, непредвиденных оборотов международной политики и даже личных ударов судьбы многое пересмотреть и переоценить. Однако, написав свою книгу на склоне лет, он остался верен тем основным концепциям, которые выработались у него до, во время и в первые два десятилетия после революции. В этом смысле, т. е. в смысле восприятия революции и связанных с ней событий, книгу Р. А. можно действительно, как это делает профессор Сидней Хук в предисловии к ней, назвать «социалистической». Книга эта — своего рода итог событий, в которых автор или принимал непосредственное участие, или о которых он страстно писал. Каков же этот итог?

Отступив от обычного подхода «марксистских» историков, автор начинает историю революции не с последних десятилетий прошлого века, когда в России одновременно начали развиваться капитализм, проникать марксизм и нарождаться марксистские и другие

революционные партии, а с первой мировой войны и особенно с ее последних лет. Именно затянувшаяся война, полная слабость старой власти, усталость народа — породили революцию, заставшую, как известно, врасплох и все революционные партии, включая большевистскую. Война породила революцию, но она же, по выражению Ю. О. Мартова, ее и «убила». Неспособность или невозможность для людей февраля закончить войну создавала ту «революционную ситуацию», которая и привела к захвату власти большевиками. Не было бы войны, или был бы мир заключен своевременно, не было бы и революции.

Такие видные руководители армии, как генерал Алексеев, генерал Верховский и адмирал Вердеревский в узком кругу — в частных беседах или на заседаниях комиссий, — категорически высказывались против продолжения войны. «Мы могли бы добиться мира в любой момент, но кто посмел бы его предложить?», говорил ген. Алексеев. Эта трагическая преданность союзникам осуществлялась тогда, когда последние (как доказывает это приведенными многочисленными фактами автор) действовали так, как будто России не существовало, ибо важнейшие решения о войне принимались без ведома Временного Правительства.

Неспособность закончить войну «диалектически» предопределила дальнейшее развитие событий. Радикализация масс, в особенности солдат и матросов, с одной стороны, питала большевистскую стихию, с другой, обрекала их противников справа и слева на бездействие. «Октябрь» же был не пролетарской революцией (ибо пролетариат в нем активного участия не принимал), а заговором большевистского авангарда с помощью распропагандированных им солдат и матросов.

Много было в те роковые дни иллюзий и «недоразумений», которые всегда в конце концов шли на пользу Ленину и «ленинскому ядру» партии, державшему курс на установление «рабоче-крестьянской диктатуры» во что бы то ни стало. Эти «иллюзии и недоразумения» известны, но они приобретают особый смысл, когда рассказаны человеком, бывшем в самой гуще событий тех дней, а иногда и непосредственно в них участвовавшим. «Коалиционное» правительство большевиков и левых эсеров, Викжель, и ставка на «однородное» социалистическое правительство, ставка на умеренных и благоразумных большевиков типа Каменева и Рыкова — все это многими антибольшевистскими лидерами «революционной демократии», в том числе и автором, принималось всерьез. Ленина они считали безумцем и авантюристом, открывающим «двери контрреволюции». Этот тезис, оказался роковым, ибо парализовал активное сопротивление большевикам не только демократических сил,

но и самой «контр-революции», лидеры которой жили уверенностью, что после кратковременной коммуны неминуемо придут к власти они. Многие жили аналогией с революционной Францией, но в России тех лет не было успешного Кавеньяка или Тьера...¹

Роковая обреченность революционной демократии, вынужденной бороться одновременно на два фронта, выявилась особенно в дни корниловского заговора, когда Керенский должен был молчаливо искать поддержку и у большевиков, а ВЦИК советов, где главенствовали умеренные Церетели, Гоц и Дан раздавал оружие большевистски-распропагандированным красногвардейцам. Надо ли напоминать, что эта обреченность прошла через все фазисы гражданской войны, оказавшись одним из важнейших факторов победы и консолидации большевистской власти. И в то же время выборы в Учредительное собрание (уже после установления большевистской диктатуры), показали, что именно демократия пользуется громадной поддержкой страны.

Консолидация или «нормализация» режима, как выражается автор, пришла, как известно, после мучительных для страны экспериментов, в виде военного коммунизма и продразверсток, после того, как против «рабоче-крестьянской» власти восстали кронштадтские матросы, та «краса и гордость революции», которой большевики были, главным образом, обязаны захватом власти. Совпавший с окончанием гражданской войны и крушением надежд на европейскую или хотя бы германскую революцию, этот период является, в противовес предыдущему и, разумеется, последующему, периодом благоразумия. Автор, как нам кажется, несколько пре-

¹ Забегая вперед, нужно сказать, что эта теория о «спасении революции» от угрожающей «контр-революции» оказалась очень живучей. В марте 1930 г., в разгар коллективизации, Социалистический Интернационал, принял резолюцию (инспирированную меньшевиками), в которой Сталину напоминали, что его насилия в деревне чреваты опасностями, ибо они могут толкнуть крестьянское население в «стан контр-революции»... В стиле эпохи резолюция продолжала: «В этой попытке спасти революцию, сердца социалистических рабочих всего мира будут биться в унисон с советскими рабочими. Более того, если реакционный мировой капитализм попытается, пользуясь переживаемыми трудностями, навязать контр-революцию, мы окажем сопротивление такой попытке всей нашей силой» (стр. 383). Эта резолюция была принята после политического разгрома всех оппозиций, за год до показательного меньшевистского процесса и во время расправы над многомиллионным крестьянством.

увеличивает степень благоразумия Ленина в последние годы его жизни. Разумеется «амбивалентный» Ленин (реалистический и утопический) понял наконец, что в экономически отсталой и до тла разоренной стране «социализма» построить сейчас нельзя. Однако, оппортунистические и нарочито двусмысленные формулировки Ленина, всегда и всеми могли быть истолкованы по разному. Это верно не только в отношении пресловутого «мирного сосуществования» об «истинно-ленинском» толковании которого сейчас прекаются Москва и Пекин. Это верно и в отношении ленинских планов насчет НЭПА. Был ли НЭП действительно задуман «всерьез и надолго» — интерпретация, к которой склоняется автор — или это был маневр с целью набрать сил для нового прыжка, на этот раз «социалистического» (*reculer pour mieux sauter*). Не исключена возможность, что, как это доказывает автор, Ленина иногда охватывал приступ либерализации и он даже намеревался, особенно в начале, сохранить частичную свободу печати. Однако, логика сохранения аппарата диктатуры коммунистической партии неумолимо толкала власть на террор во всех сферах — политической, экономической, культурной и прочей — и едва ли кто-либо объясняет это лучше, чем сам автор, когда он доказывает обреченность НЭП'а, с одной стороны, и неизбежность полной победы Сталина и его аппарата, с другой.

Несмотря на отсутствие доступа к настоящим советским архивам, период «единодержавия» Сталина, связанный с целым комплексом процессов (с коллективизацией, голодом, индустриализацией, разгромом оппозиций, ежовщиной и, наконец, с войной) — хорошо изучен автором. При всей его эрудиции и огромной документации,² автор, вооруженный традиционными меньшевистскими концепциями, мог только (в яркой и доступной форме) обрисовать картину и сделать те выводы, которые до него уже сделали многие другие историки. Но основные элементы вышеупомянутых процессов, начавшихся в конце двадцатых годов и, как мне кажется, не закончившиеся и по сей день, до того капитально-важны и злободневны, что их следует повторить, хотя в общих чертах, они хорошо известны.

В этих процессах (как и во многих других), первенствующую роль играли и «объективный фактор», т. е. положение в стране и в окружающем мире, и субъективный фактор, т. е. Сталин. Трудно сказать, что или кто тут более важен. Схема нарисованная авто-

² основанной, главным образом, на исключительно интересных письмах и статьях, печатавшихся в те годы в «Социалистическом Вестнике».

ром, если и не отличается оригинальностью, то неотразима в убедительности.

Первородный грех — это захват власти ничтожным меньшинством, поставившим себе целью построить социализм в экономически отсталой, преимущественно, сельскохозяйственной стране. Власть, чьи утопические цели чужды и враждебны огромному большинству населения, по самой своей природе, становится тиранической и террористической. Сложившиеся условия заставляют эту власть временно отказаться от утопических целей, по крайней мере, в экономической области. Но дальнейшее развитие умеренного курса «привело бы к идеологической капитуляции перед меньшевиками и эсерами» и, соответственно, оказалось бы несовместимым с сохранением аппарата диктатуры коммунистической партии. «НЭП» имел, разумеется, и свои экономические пороки: «ножницы», безработица, достигавшая цифры в два миллиона. Решающим, однако, было нежелание аппарата помириться с угрожающей перспективой отмирания диктатуры.

Известно, какую злосчастную и одновременно трагическую роль в этом смысле сыграла троцкистская и другие «левые» оппозиции, форсировавшие курс на усиленную индустриализацию, на «социализм» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь именно троцкист Преображенский, дал ответ и указал перспективу на вопрос — можно ли (и если да, то как) построить социализм в одной стране. Его ответ был похож на известный анекдот: «Построить социализм в одной стране можно, но жить надо в другой стране». Действительно, построить «социализм» было можно, его и построили путем превращения крестьянства (т. е. 75 процентов населения страны) во «внутреннюю колонию». То, о чем Преображенский холодно и цинично говорил и писал, Сталин осуществил практически. Причем, если темпы Преображенского и его друзей, в экономике всё-таки разбиравшихся, имели еще какой-то смысл, то Сталин и его соратники, присвоив себе эту теорию, осуществили ее по пророческому предсказанию Каутского. Еще в 1921 году в книжке «От демократии к государственному рабству» этот маститый марксист предвидел, что «в Советском Союзе государственное рабство станет уделом десятков миллионов людей».

Историю сих «страшных лет России» приходилось читать много раз. И каждый раз трудно освободиться от навязчивого вопроса, относящегося не к экономике, социологии или политике, а к простой способности распознавания людей, к элементарной интуиции, которая в какой-то степени присуща каждому смертному. В конце концов, Сталин расправился со своими противниками самым простым путем, натравливая одних на других, заключая кратковремен-

ные «гнилые» союзы с одними против других. Загадкой остается, как эти люди, во многих отношениях способные и даже выдающиеся, умевшие вести самые сложные «диалектические» споры, а некоторые из них (например, Зиновьев) бывшие даже испытанными и бессовестными интриганам, как все они могли проглядеть истинного, живого Сталина. . . Привыкшие долгие годы мыслить готовыми формулами и догмами, они лишили себя способности видеть и понимать реальность и распознавать живых людей со всеми их страстями, амбициями, комплексами. «Сталин не может терпеть людей, которые даже ростом выше его», — говорил Бухарин в бытность свою в Париже. Однако, и он, повидимому, лучше других видевший и чувствовавший фобии и комплексы «вождя» (он им тогда уже был) не подозревал во что может вылиться комбинация болезненных комплексов и безграничной жестокости.

Неспособность видеть и понимать реальность распространилась и на очаги власти, на умение различать между реальной и номинальной властью. В этом отношении характерен один из приведенных автором эпизодов. В первой половине двадцатых годов, во время правления так называемого «триумvirата» (Зиновьева, Каменева, Сталина), Зиновьев стал замечать, что генсек и оргбюро концентрируют в своих руках все большую власть. На неофициальной «дачной» встрече с другими партийными вельможами, Зиновьев осторожно заметил, что «одно дело секретариат и оргбюро партии при Ленине, а другое без Ленина», и поэтому следовало бы принять какие-то меры к уменьшению власти этих учреждений. Сталин, до которого дошли высказанные Зиновьевым опасения, принял их весьма шутливо и джентльменски предложил кооптировать в оргбюро нескольких будущих вождей оппозиции. Интересно, однако, что почти никто из кооптированных на заседания оргбюро не явился. Считавшие себя политическими вождями, они пренебрегали «организационной» работой, не понимая, что в созданной ими партийной диктатуре именно оргбюро, ведавшее назначениями, перемещениями и увольнениями, подбором, по своему усмотрению, конгрессов и руководящих органов — являлось ключом к реальной власти в партии и в стране.

**
*

«Советская революция» Р. А. Абрамовича обрывается 1939 годом. Такая ранняя дата объясняется, вероятно, состоянием здоровья автора; но не исключена возможность, что Р. А. считал, что к 1939 году характер советского режима окончательно определился и все последующие события основной сущности режима не изменили.

Что же это за режим? В чем его социологическая и экономическая сущность? Автор, разумеется, не разделяет оптимистической концепции австрийского социалиста Отто Бауэра полагавшего, что «несмотря на бесчеловечность употребляемых им методов, Сталин создавал в России основные элементы социализма». По Бауэру в Европе происходили два параллельных процесса, оба социалистического характера: демократический (или «европейский») и «русский»; Бауэр полагал, что в результате взаимного сближения «русский» социализм должен приблизиться к демократическому социализму.

Р. Абрамович и, повидимому, большинство его единомышленников, разделяли по этому вопросу взгляды другого известного социалистического теоретика Рудольфа Гильфердинга. «Советский режим», — полагал Гильфердинг, — не является ни социалистическим и ни капиталистическим. Он также не является государственно-капиталистическим, ибо в отличие от последнего, в нем отсутствует рыночное хозяйство. Советская бюрократия, — утверждал Гильфердинг, — никогда не была правящим классом, а только послушным орудием компартии, точнее высшего руководства аппарата компартии. Бюрократия только выполняет приказы, исходящие от аппарата. Настоящая власть находится в руках высшего руководства партии, которое направляет экономику сообразно своим целям. В советском государстве экономика не является преобладающим элементом. Наоборот, политическая машина (т. е. аппарат компартии — Д. А.) преобладает над всей жизнью страны. Такое положение существует в России с первых дней советской власти, когда Ленин, Троцкий и другие большевики создали «первое тоталитарное государство в современной истории... тоталитарная власть существует *благодаря* экономике, но не *для* экономики и не для достижения благосостояния тех классов, которые она, якобы, представляет.» Аналогию с советским режимом, Гильфердинг находил в Римской империи периода преторианцев и императоров (стр. 359-361).

Интерпретация Гильфердинга, которую горячо разделяет автор, разумеется, интересна и оригинальна, особенно для того периода, когда она была изложена (1940 г.). Сомнительно, однако, можно ли такой сугубо-политический, целеустремленный и мессианский режим, как советский, определять только, или главным образом, по экономическим признакам или по его методам управления. Сомнительно также является ли эта интерпретация все еще действительной для хрущевской эры, которая все же отлична от сталинской.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен. 1963.

Выпуск избранных произведений Евг. Замятина надо признать чрезвычайно удачным. Как ни ограничены эмигрантские возможности, но ценно, что всё-таки здесь переиздаются такие книги, которые в СССР по идеологическим соображениям до сих пор изданы быть не могут. В свое время издательство имени Чехова выпустило утопическо-сатирический роман Замятина «Мы». Оно же издало сборник статей Замятина — «Лица». И теперь с большим удовлетворением отмечаешь отчетный сборник.

Эти три, вышедшие в эмиграции, книги Е. Замятина позволяют составить более или менее полное представление о творческом пути писателя. Судьба Замятина сложилась так, что, став вдохновителем литературного содружества «Серапионовы братья», он как бы принял на себя ответственность за судьбы этого, тогда еще молодого поколения писателей, за их дальнейший творческий рост. «У нас была счастливая молодость», сказал как-то Зощенко, имея в виду свое участие в «Серапионовых братьях». Этой «счастливой молодостью» Зощенко в какой-то мере обязан Замятину, который поддерживал его на заре творческой работы, как он поддержал и Л. Лунца, и В. Каверина, и Н. Никитина и других серапионов. Но надо сказать, что и после своей физической смерти, Е. Замятин как бы сохранил за собой эту роль — вдохновителя молодого поколения писателей. Так, мне точно известно, что приезжавшие на Запад советские писатели, весьма основательно разыскивали здесь произведения Замятина, ибо книги его, вышедшие в дореволюционное и пореволюционное время, давно в России стали библиографической редкостью.

В отчетный сборник, составленный М. Слонимом, вошли те повести и рассказы Замятина, которые выдержали испытание временем. Многие вещи Замятина оказались провидческими. Так его роман «Мы» предвосхитил «Год 1984» Орвела. Провидческим можно назвать и вошедший в этот сборник «Рассказ о самом главном». Это может-быть одно из самых трагических произведений в русской пореволюционной литературе. В этом рассказе есть уже что-то предвосхищающее «Процесс» Кафки. Кроме этого рассказа в отчетный сборник включены такие значительные произведения, как «Автобиография», «Уездное», «Сподручница грешных», «Север», «Ловец человеков», «Пещера», «Мамай», «Русь», «Икс», «Наводнение», «Лев», «Встреча» и «Бич Божий» (отрывок из неоконченного романа об Атилле). Перечитывая вновь эти повести и рассказы, видишь с каким формальным мастерством и во то же время с какой психоло-

гической зоркостью Замятин изображает современную ему Россию. Возьмем к примеру повесть «Уездное», написанную в 1912 году и уже тогда выдвинувшую Замятина в ряды оригинальных мастеров слова. Стиль этой повести представляет собой сочетание старого и традиционного с новым и необычным. С одной стороны — элементы лесковского сказа, с другой — футуристические мотивы. Вот как, например, рисует Е. Замятин портрет Барыбы, героя «Уездного»: — «только еще колючей выступят все углы чудного его лица... уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти, широченный четырехугольный рот и узенький лоб. Да и весь Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может и дикий, и странный, а всё же лад».

Под конец повести Барыба становится урядником, получив чин за доносы, за провокацию: — «белый, ни разу не стираный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах...» И Замятина как будто тревожит, что подобные национальные характеры, при случае могут стать хозяевами: — «покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался... Будто и не человек шел, а старая, воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба». Но разве будущее России не показало, сколько таких Барыб встало у кормила власти — в мундирах МГБ, на постах секретарей обкомов, председателей облисполкомов и пр.?

Если мы обратимся к рассказам Замятина из времен гражданской войны (возьмем хотя бы рассказы «Пещера» и «Мамай»), то увидим, что и в них сравнительно недавнее прошлое бросает тревожные отсветы в будущее. Замятин как бы боится, что на десятилетия пореволюционной русской жизни все эти катастрофы и бедствия наложат каинову печать, и несмотря на современную техническую цивилизацию, душа человека будет отброшена в каменный век, в первобытное. Мне думается, что большое значение творчества Замятина в том, что, обращаясь к судьбам России он раньше и глубже других предвидел, что то новое, что несет с собой революция, неизбежно станет тяжелой антикультурой.

Часто в рассказах Замятина стираются грани между реализмом и сюрреализмом, между реальностью и бредовым виденьем. Как мастер слова Е. Замятин необыкновенно многогранен: психологически, стилистически, тематически. Так, рассказ «Икс» — это уже предвосхищенная зощенковская Россия и зощенковские герои.

Сборник снабжен интересным предисловием М. Слонима. Однако автор предисловия напрасно пренебрегает черновой, тексто-

логической работой, ограничиваясь только перечнем книг Е. Замятина, напечатанных и в России и за рубежом. Читателю, естественно, хотелось бы знать, в каких периодических или эпизодических изданиях впервые появились эти повести и рассказы.

К сожалению надо отметить, что количество опечаток (при чем часто извращающих смысл) в книге чрезвычайно велико. В этом смысле книга издана неряшливо. Внешний вид ее тоже мог бы быть лучше.

Вяч. Завалишин

«МАРКОВЦЫ В БОЯХ И ПОХОДАХ ЗА РОССИЮ». Составил *В. Е. ПАВЛОВ*. Кн. первая. 1917-1918. Париж 1962.

Для полноты понимания исторических событий, и в частности такого явления как гражданская война, важно знать, как эти события отражались в сознании рядовых участников и какова была их будничная боевая жизнь. Ответ на это с достаточной полнотой дает недавно вышедшая в Париже первая часть книги «Марковцы в боях и походах за Россию». Книга эта не является ни историческим исследованием, ни законченной научной работой, а всего лишь богатейшим источником, сводкой документов, и фактов, откуда можно почерпнуть единственный в своем роде материал, без знакомства с которым нельзя бы было написать правдивый труд по истории гражданской войны в России.

Книга представляет собой «автобиографию» Марковского полка — одной из боевых частей сначала «Добровольческой Армии» Алексева, Корнилова и Деникина, а потом «Русской Армии» Врангеля. «Марковцы» были одним из краеугольных камней вооруженной борьбы на Юге России с самого начала и до конца. Их эпопея начинается с прибытия в ноябре и декабре 1917 года на Дон, группами и в одиночку. Это молодые офицеры-фронтовики, отказавшиеся примириться с большевистским переворотом. Из них создаются офицерские роты и батальоны, которые ведут неравную борьбу с наступающими на границы Донской области отрядами Красной Гвардии, прикрывают столь важный Ростовский ж. д. узел. Перед выступлением в Первый Кубанский поход, 12 февраля в станице Ольгинской, эти мелкие формирования объединяются в Сводно-Офицерский полк в составе 800 человек. Командование им принимает ген. С. А. Марков. После гибели генерала полк получает в его память имя «Марковский», а летом 1918 года, в походе на Москву, разворачивается в дивизию, носящую то же наименование. Отход к Новороссийску, переброска в Крым, бои на Пере-

копе и в Северной Таврии и так до дня эвакуации в Константинополь...

В книге отражены все этапы Белой борьбы на основании личных показаний больше чем ста прямых участников событий, а также на основании сохранившихся дневников и записей умерших Марковцев, по уцелевшим архивам и иным официальным документам. Весь этот материал был сведен воедино, тщательно сверен с трудами генералов Деникина и Врангеля и другими серьезными источниками. После этого обработанный текст в десятке копий был послан проживающим в разных странах марковцам для ознакомления и отзыва. Три года спустя, взявший на себя тяжелый труд по составлению книги подполковник одного из Марковских полков, В. Е. Павлов, согласовал поступившие многочисленные дополнения, поправки и критические замечания с первоначальным текстом, и только тогда, после одобрения своего рода «плебисцитом», рукопись пошла в набор.

Наряду с описанием боевых действий, в книге много места отводится состоянию духа бойцов — их настроениям, политическим оценкам, надеждам, разочарованиям. Перед читателем проходят живые образы людей, беспрерывно сменяющихся на посту служения родине. Достаточно сказать, что за первый только год своего существования (1918-ый) полк потерял в боях больше десяти тысяч человек при составе, редко превышавшем 1500 штыков.

Что особенно важно, читатель нигде не чувствует в этой книге подмены тогдашней атмосферы нынешними оценками, политическими взглядами и т. п. При чтении многих страниц невольно переживаются снова былые дни, настолько написанное просто и правдиво.

Конечно, не все оценки событий, лиц, настроений в том виде, как они даны в книге, были одинаковы у всех марковцев. Но так именно думали и чувствовали многие, если не сказать — большинство. Очень хорошо отсутствие в книге подчеркнутого пафоса, преувеличений, умолчаний. Нигде не прорывается и стиль политической «агитки», — даже там, где речь идет о противнике.

Книга читается с интересом. Первая часть заканчивается декабрем 1918 года, когда было завершено очищение от красных Северного Кавказа и Ставропольской губернии, где марковцы два месяца вели непрерывные бои в степи в лютую стужу с многочисленным противником. Вторая часть, охватывающая 1919 и 1920 годы, включая оставление Крыма, скоро поступает в печать.

ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ. «ПОСЛАНИЯ». Мюнхен. 1962.

Читатель сперва недоумевает: уж очень непривычны манера, тон «Посланий». Он отвык от улыбки в поэзии и может даже сказать: незачем русской музе улыбаться, ей есть что оплакивать. Но, понемногу, читатель смелеет и, невольно поддаваясь очарованию стихов Дукельского, готов с ним странствовать «на легком челноке искусства».

Напомню: Дукельский — известный композитор, музыкальный критик. Его псевдоним — Вернон Дюк. Итак, автор — гастролер в поэзии и, следовательно, — любитель, который занимается поэзией в часы досуга... и сам этого не скрывает.

Почти все его стихи написаны по поводу чего-нибудь, на какой-нибудь «случай»: это сатиры, эпиграммы и, главным образом, послания, жанры в наше время почти вымершие. Что же это такое, может быть частная жизнь, домашняя поэзия, до которой читателю нет никакого дела? Нет, это не так. Лирический герой Дукельского, двоюродный или даже троюродный брат Кузмина, имеет черты общие, знакомые — это русский эмигрант, скиталец с пестрой международной биографией, лицо всем нам хорошо известное. Юность — в Константинополе, потом Париж, Нью Йорк, наконец Калифорния, рай земной в Пасифик Палисейдс. Только удач у него было больше, чем неудач, что для беженца не «типично».

Дукельский умеет хорошо в стихах рассказывать, описывать. Упоминаются в *Посланиях* многие: Дягилев, Лифарь, Бертенсон, Прокофьев, Стравинский, Набоков, Корвин-Пиотровский, Марков. Это целая панорама творческой эмиграции на двух материках.

Предисловие к книге написал В. Марков и нельзя не согласиться с его критическим вердиктом: «...Дукельский не случаен, а в контексте русской зарубежной поэзии и необходим — для установления равновесия и напоминания о других путях».

Юрий Иваск

И С П Р А В Л Е Н И Я

В кн. 72 Н. Ж. на стр. 63 в стихотворении И. Чиннова 1-я строка должна быть: — «Я помню пшеницу, ронявшую зерна». В воспоминаниях И. Ильина на стр. 201, 15 строка снизу, фамилия должна читаться «кап. Стивини». На стр. 206, в строке 12 снизу, надо читать «нашему запивале». Кроме того на стр. 214 автор ошибся в отчестве А. В. Тимиревой, надо — Анна Васильевна. РЕД.

НОВАЯ КНИГА

ФЕДОР СТЕПУН
ВСТРЕЧИ

Достоевский — Л. Толстой — Бунин — Зайцев
Вячеслав Иванов — Белый — Леонов



«Уже давно не было такой интересной и живой русской книги, которая предлагала бы для размышления так много перспектив. Даже самые решительные противники идей Федора Степуна обычно признают его талант.»

(Вл. Варшавский, «Новый Журнал», кн. 70)



Издание Товарищества Зарубежных писателей.

Цена 3 доллара.



Заказы можно направлять по адресу
«Нового Журнала».

“Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л”

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАСHEВА

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1963 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
